МОСТ
ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ
КУБАТУРА
ЯЙЦА

ВИТАЛИИ КОРОТИЧ

МОСКВА • СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1982

С (Укр) 2
К 68

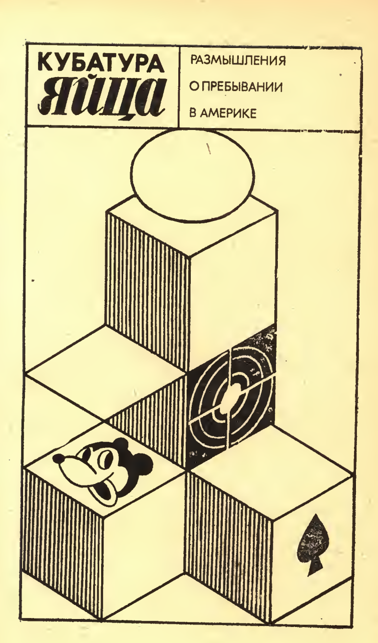
Известный украинский поэт Виталий Коротич в последние годы совершил несколько поездок по США, которые дали богатый материал для публицистнческого очерка «Кубатура яйца». В нем рассказывается о различных сторонах жизни современной Амернки, о желании простых американцев знать правду о Советской стране, о тех препятствиях, которые существуют на пути к взаимопониманню наших народов.

Очерк «Мост» напнсан на основе впечатлений автора о поездках по Венгрии и Чехословакии.

Книга рассказывает и о том, как, по словам автора, мы сами выглядим «со стороны».

Художник
ЭРНСТ АРОНОВ

К $\frac{4702590200-161}{083(02)-82}$ 312—82.


КУБАТУРА
яйца
РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ПРЕБЫВАНИИ
В АМЕРИКЕ

Несколько вступительных слов

С тех пор, как я закончнл писать эту книгу, прошло уже больше года. Если верить статистике, население планеты за истекший год, как обычно, увеличивалось на двести тысяч человек ежедневно, и сейчас нас куда больше, чем было не только год назад, но даже вчера. А завтра станет еще больше. И то, будет ли мир сохранен, смогут ли новые жизни продолжиться в собственный и планетный счастливый завтрашний день, в огромной степени зависит от того, насколько искренним, широким, доброжелательным станет взаимопониманне между народами и между людьми, составляющими этн народы.

Мир тесен. Причастность каждого нз нас к судьбе огромного мира и огромного человечества очевидна; вообще ценность любой нз человеческих жизней во многом определяется именно тем, насколько жизнь эта причастна к самым главным болям н радостям других людей. А мир ведь устроен многообразно и не всегда справедливо: десять тысяч человек ежедневно гибнут от голода, от невозможности купить даже самую простую еду; в то же время несколько десятков миллионов долларов ежечасно расходуются на вооружения; объявленные только лишь Соединенными Штатами и только за минувший год новые виды вооружений — среди них ракеты нового типа и бомбы усиленной радиации,— бесспорно, лишат хлеба, лекарств н радости очень многих. Не говорю уже о том, что по самому замыслу множество бомб и ракет нацелено нменно в нас с вами; нет абстрактного голода, н не существует абстрактных бомб — жнзнь н смерть конкретны, предметны, они всегда были такимн. Беды современного мира нельзя оценивать, уходя от соцнальной природы обществ.

Когда единственным продуктом, нмеющимся на свете в изобилии, стала взрывчатка, усилия нашей страны по разоружению, мирные ннициативы Страны Советов особенно доказательны и демонстративны. Когда все знают, что у нас никто не умирает от голода, пример

этот тоже социален и ярок; за шесть десятилетий своей истории мы очень предметно доказали, сколь справедливо может быть устроена жизнь общества, зачатого величайшей из революций — Октябрьской. Тем старательнее лгут наши враги, тем больше делают для того, чтобы разъединить, стравить, рассорить народы.

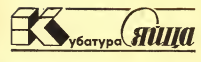
Но ложь бессильна. Народы устремлены к дружбе — это признают даже наши оппоненты. Влиятельнейшая американская газета «Вашингтон пост» писала однажды: «Если бы Белый дом поинтересовался результатами недавних опросов общественного мнения, то узнал бы, что две трети американцев хотят заключения с Россией соглашения об ограничении стратегических вооружений и что большинство из них высказывается против того, чтобы читать Москве нотации...»

Гонка вооружений бесчеловечна, злобна и провокационна; мне кажется, что любой из нас понимает это всем сердцем, и, пытаясь понять мир, никто из нас не желает даже представить себе его полыхающим. Помню даже не удивление — обиду свою (думаю, любой из вас ощутил бы ее), когда в США мне по-обывательски излагали иной раз пропагандистские мифы о «советской агрессивности». Чудовищность этой лжи непростительна. Я очень убежденно верю, что идеологические разногласия не должны завершаться военными столкновениями. Слишком уж тесен мир, и, вспыхнув, он может сгореть сразу весь.

Книга эта написалась взахлеб, в один присест, но долго вызревала во мне. Мне и прежде в разное время приходилось бывать в Северной Америке, и не раз Америка приходила ко мне в отзвуках ее собственных потрясений и политических зигзагов, в книгах своих прозаиков и стихах поэтов своих, которые я систематически перевожу. Америка приходила ко мне заокеанскими друзьями, которым я очень рад, и врагами, которых тоже немало. И что еще важно: пытаясь понять жизнь других, зачастую очень не похожих на меня людей, я лучше понимал свою жизнь — по контрасту; отправившись в путешествие по США, рад был ощутить в себе старое и новое знания, складывающиеся в книгу.

Минувший от завершения книги год утвердил меня во многих тезисах, объявленных в ней. Могут устаревать подробности впечатлений, но направленность вос-

приятия мира остается в нас постоянной. Это уже вопрос убежденности. Впрочем, обо всем коротко не скажешь, да и не надо стремиться сообщать скороговоркой о том, что волнует. Здесь — некоторые размышления о процессах, не всегда различимых на первый взгляд, но красноречивых и закономерных. Прежде всего это книга о том, как живут разные и далекие от нас люди; она ни в коем случае не исчерпывает такого сложного и многозначного понятия, как «образ жизни», но все-таки больше всего книга об этом. Знакомства и впечатления ограничивались, понятно, маршрутами и кругом встреч: был я приглашен несколькими университетами США для творческих вечеров и чтения лекций о современной советской поэзии. Тем, что запомнилось и что взволновало, показалось мне достаточно важным для разговора с вами, я и хочу поделиться. Итак — по порядку...



Только кажется, что все это очень просто. Попадая за границу надолго, один, я прохожу сквозь все те же испытания, к которым очень медленно привыкаю, да и то — не ко всем. Во-первых, мне бывает скучно без тех, кому я дома привык читать все написанное и говорить все, что думаю. Собственно, говорить то, что думаешь, надо по возможности всем, но есть много мыслей и слов, которыми хочется делиться с людьми самыми близкими, а таких никогда не бывает в избытке. Сходил в кино, прочел книгу, увидел картину в музее — с кем перекинуться словом? Во-вторых, неизбежное время уходит на отбор новых знакомых, старые, если они даже были, не сразу собираются вокруг. В-третьих, сам ритм и правила чужой жизни, устоявшиеся и хорошо усвоенные всеми вокруг, доходят до тебя не все одновременно — надо привыкать и к ним. Поэтому, например, первая из встреч, о которых я здесь рассказываю, могла бы и не вспомниться, случись она в конце путешествия, но произошла в начале и стала зацепкой, одной из тех, что помогут мне ввести вас в жизнь страны и людей.

Начинать всегда следует «ab ovo» — «от яйца», как говаривали древние римляне.

Представьте себе солнечный и очень красивый день в университетском городке Лоуренсе штата Канзас. В «Субмарине», забегаловке, прижатой на раздорожье к газону, я ожидаю заказанную яичницу и разглядываю своего собеседника Кейвина Каверса, веснушчатого рыжего малого в очках, с толстой папкой, из которой торчат глянцевые цветные фотоснимки.

В «Субмарине» мне нравится, но я обозвал ее забегаловкой, потому что не люблю здешних официанток: они не дают засиживаться и надоедливо спрашивают у посетителя, чего ему подать еще, пока тот не сделает новый заказ или не уйдет восвояси. Иначе в «Субмарине» можно было бы писать стихи и я назвал бы ее французским словом «кафе» или в крайнем случае другим французским словом — «бистро». Но единственно, что вправду было в «Субмарине» французским, так это ста-

рый граммофон с наклейкой «Патэ», разинувший коричневую трубу в сторону улицы. Граммофон не играл, и его держали для декораций. Еще для декорации здесь держали несколько афиш старых голливудских фильмов с очень соблазнительной Тедой Барой, одетой в несколько не очень широких ленточек, согласно жестким требованиям киноцензуры тех лет. Ленточки вовсе не скрывали того, что им надлежало скрыть, и оживляли атмосферу «Субмарины» с ее деловыми официантками.

Мы очень медленно пережевывали сэндвичи с индюшатиной, переложенные изумрудными стеблями неведомых мне трав, и ждали заказанных нами яичниц. Среднестатистический американец съедает двести восемьдесят семь яиц в год — это официально объявленный подсчет,— наш заказ был во всех отношениях вполне традиционен.

...Мне давно уже кажется, что Америка просыпается по утрам от хруста яичных скорлупок. Хруст этот по нарастающей катится от Нью-Йорка до Калифорнии, вслед за солнцем, а само солнце похоже на желток яйца, выплеснутого на сковородку. Американцы едят на завтрак просто яичницу, яичницу с беконом и яичницу с ветчиной; они поедают омлеты, яйца всмятку и маленькие бифштексы с желтками. Хорошо еще, что дело ограничивается куриными, реже перепелиными и — для любителей экзотики — черепашьими яйцами. Окажись яйца белоголового орла съедобными, я уверен, что всех их зажарили бы тоже, и державная птица с национального герба уцелела б только на банкнотах и генеральских фуражках. А так — мы с Кейвином Ваверсом ожидали заказанную яичницу, собирая по тарелке бутербродные крошки, неспешно беседуя на множество тем сразу. Поскольку дело происходило в центре университетского городка, то мимо «Субмарины» с аэродромным ревом пролетали мотоциклы с гордо восседающими на них очкастыми существами обоего пола, одетыми в каски всех армий и всех строительных организаций мира. На одном мотоциклисте был даже водолазный шлем, но Кейвин проводил его довольно безразличным взглядом, поскольку внутри шлема скрывалась голова сокурсника, парня, по мнению Ваверса, заурядного во всех отношениях, а значит, неинтересного. Быть заурядностью — непопулярно, особенно в Америке.

Одной из особенностей любого американца и сегодня остается настойчивое желание угадать цыпленка в яйце, рассчитать человеческую жизнь на два-три хода вперед, осмыслить ее в деловой перспективе, понять, кем завтра может оказаться твой сегодняшний собеседник, сослуживец или сокурсник. Культ личной инициативы остается незыблемым, как религиозная догма, и «селф мейд мен» — «человек, сотворивший себя», позаботившийся о себе сам,— официальный идеал; даже на званых ужинах хозяин любезно рекомендует гостям «хелп йорселф» — «помогайте сами себе». Принципы принципами, но в поисках способов их реализации американцы неутомимы. Мой двадцатитрехлетний собеседник тоже; он «хелпс химселф» — помогает себе. Студент как студент, биография как биография, сейчас очень много таких.

Кейвин Ваверс учится на четвертом курсе факультета журналистики Канзасского университета; специализируется в фотожурналистике. Сейчас его проблемы весьма конкретны и далеко не в первую очередь связаны с общетеоретическими вопросами. Кейвину надо выбиться в люди. По этой причине он деловит и не по-юношески сосредоточен,— надо сказать, что восторженный инфантилизм американским студентам не свойствен, особенно сейчас. При всех внешних наслоениях, при всех касках на головах и нагрудных алюминиевых гирляндах, вросших в моду, студенты великолепно умеют рассчитывать и считать. В жизни человеку надо выбиться так же, как цыпленку надо пробиться, проклюнуться из яйца. Выход в свет связан с точным расчетом; законами бытия надо овладевать смолоду, чем раньше, тем лучше.

Мой собеседник ежегодно платит за два университетских семестра около шестисот долларов, это за лекции, библиотеку, семинары. Все фотооборудование надо купить самому — у Кейвина два аппарата: узкопленочный «найкон» и «яшика», оба японские, со сменной оптикой, каждый обошелся примерно в тысячу. Жить можно в общежитии; комната с удобствами на двоих стоит сто пятьдесят долларов в месяц. Кейвин устроился лучше. Он с двумя друзьями — Чарли и Рэдом, симпатичными бородатыми фотожурналистами, арендует четырехкомнатный домик. В подвале ребята обо-

рудовали фотолабораторию и работают в ней посменно; аренда домика обходится по сто долларов в месяц с каждого. Еще пятьдесят долларов в год приходится платить за учебники. Итого весь университетский курс — пять лет — обойдется Кейвину тысяч в двадцать. Я нарочно привел здесь эту калькуляцию, потому что студент четвертого курса, юный и веснушчатый Ваверс, очень точно знает, сколько и за что он платит и сколько и за что в будущем станут платить ему. После окончания университета его никто не направит на работу, а если бы и направляли, то никто не взял бы в газету неизвестного фотокора,— в жизни американца, как я уже говорил, очень ценится умение приобрести деловой авторитет, пробиться, протолпиться, проклюнуться совершенно самостоятельно. Это — правило игры. Родители Кейвина небогато живут в соседнем штате Миссури; отец — социолог, мать подрабатывает уроками рисования, а единственный брат служит в армии, так что помощи ждать неоткуда. Все в его роду пробивались, как могли, пробьется и он. Легко ли? Трудно. Но трудно было и другим; когда цыпленок ищет выход из яйца, никто не надкалывает ему скорлупу серебряной ложечкой. Ложечку надо добыть самому (о самых везучих говорят: «Он родился с серебряной ложкой во рту»).

Когда в соседнем Канзас-сити происходил съезд республиканской партии, Кейвин мгновенно сориентировался, уехал туда, отказавшись на неделю от наперед оплаченных университетских занятий, и фотографировал, фотографировал. «Я профессионал,— говорит он,— и наверняка знаю, что иные лица, маячившие в кулуарах съезда, могут вскоре возникнуть в самых разных правительственных сочетаниях». Тогда-то он снимочки и продаст. Кроме того, у своих соседей по домику Кейвин учится мастерству съемки не репортажной, а художественно-прикладной,— Чарли и Рэд уже получили первые контракты в рекламных агентствах и неутомимо ищут новые ракурсы для модельерш, рекламирующих джинсы, предлагаемые здешним универмагом фирмы «Левайз».

...Я поглядел однажды, как ребята трудились. Очевидно, снимки будут слегка фривольны — так было заказано,— но в процессе съемки не было и намека на иг-

ривость: студенты работали. Они работали на фирму «Левайз» и на себя — вспотевшие под яркими софитами, утомившие модельерш, университетских же студенток (фирма заплатит и им). Одна стена в подвале, превращенном в фотостудию, была затянута черным велюром, другая — покрыта сияюще белым пластиком. На пол летели подушки из лоскутьев, ковбойские седла, взятые напрокат, трехгаллоновые стетсоновские шляпы, из которых давно уже не поят ковбойских рысаков. Все это срасталось в снимках — я взглянул в видоискатель резервной фотокамеры,— девушки улыбались, ставя остроносые сапожки на музейные седла, ребята падали на пол, взбирались по стремянке под потолок; шла работа, цыпленок проклевывался сквозь скорлупу, желтоватую, как стетсоновская шляпа из светлой замши.

Ах, как вы поскучнели, американские ребята, за последние годы! Даже не «поскучнели» — слово не то, а втянули головы в плечи. Я помню еще шумную пацифистскую заваруху шестидесятых годов: в университете штата Висконсин студенты втыкали цветочки в ружья национальным гвардейцам, а фотографы дрались телеобъективами на цепочках; в университете Кент убили четырех демонстрантов — это стало всеамериканским трауром для думающих и порядочных людей.

С правящей Америкой нельзя враждовать вполсилы — она скушала своих задумчивых бунтарей и своих волосатых бунтариков, пытавшихся совершить маленькие, частные революции, которых не бывает. Развелось множество студентов, не похожих на прежних,— их поддерживали и разводили,— подстриженных, бритых, чистящих зубы по утрам и не имеющих недозволенных мыслей,— деловых маленьких людей с большими планами. Интересно, что когда последний отряд канзасских хиппи, словно недобитое индейское племя, звеня ожерельями, ворвался прошлой осенью в зал съезда республиканской партии, Waверс очень удивился: он не ощущал этих ребят, не видел их прежде,— рассказывал мне о них с удивлением,— о плакатах, на которых было что-то написано; Кейвин не помнит, что именно: не прочел...

Позже, дома уже, я припомнил, что неотвязная мысль о человеческом одиночестве, мысль, не отпускавшая меня во время всей поездки, пришла именно в Лоуренсе, затопленном студентами городке.

Кейвин жил сам по себе. Планы его были предметны, обстоятельны и по-своему интересны, но был он сам по себе, и это не могло не бросаться в глаза. Мир вокруг сжался до немыслимых пределов — газеты, радио, телевидение засыпали обвалами информации,— но Кейвин был одинок, как первый из Колумбовых матросов, ступивших на американский берег. И не только он.

Все это было особенно удивительно, потому что происходило в стране, соединенной со множеством других государств и людей, в Америке, связанной с десятками стран-партнеров и стран-жертв, в Америке, где люди передвигались безостановочно, словно ртуть по картонке. И тем не менее.

Еще несколько десятилетий — не столетий — назад новости распространялись со скоростью всадника,— известия из Парижа, Петербурга или даже из Калифорнии шли до Канзаса год, если не дольше; все было где-то «за лесами, за горами, за широкими морями». Белл, Эдисон, Попов, Маркони и другие умные люди стянули мир путами проволочных и беспроволочных линий — уменьшили его до размеров горошины. Но расстояния между людьми зачастую оставались вне зависимости от возможностей телефона и телевизора. Несмотря на то, что газеты объясняли — каждая по-своему,— какие именно проблемы актуальны сегодня, формировали тревоги повседневности, люди далеко не во все времена смыкали свои заботы. В Америке это особенно ощутимо: даже общественные течения зачастую вспыхивали здесь, как моды, затрагивая лишь строго определенный круг, и затем слабели, так и не став общенациональными. Я подумал о том, что одинокий человек, одинокая страна — понятия философские, актуальные и трагичные. Америка не умеет быть сама по себе и не хочет быть, а многие ее подданные хотят и умеют. Это другая, чем у нас, социальная система, иное общественное измерение; когда я начал говорить с Ваверсом об этом, парень удивленно взглянул на меня, не понимая встревоженности вопроса.

«Кенгуру прыгает,— сказал он.— Антилопа бегает, сорока летает, рыба плавает. Каждый передвигается, как ему лучше».— «Но ведь они взаимозависимы. Даже в невиннейших антарктических пингвинах находят стронций-90, долетевший до них с неведомо где случив-

шихся ядерных испытаний. Ты читал у Хемингуэя: «Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один. Все равно человек один не может ни черта»?

Но Кейвин не читал Хемингуэя; проблема «иметь и не иметь» не вызывала в нем литературных реминисценций. О том, откуда я приехал в Канзас, он тоже знал весьма приблизительно; спросил, есть ли у нас агентства, в которых можно подработать на летних каникулах. Какие уж там пингвины со стронцием, какие уж там литературно-мировые проблемы — у Ваверса до них руки не доходили.

Кейвин Ваверс совершенно точно знает, что хорошие фотожурналисты зарабатывают и по двадцать, и по сорок, и даже по сто тысяч в год; он умеет считать чужие деньги и видит в этом великий смысл: они превратились в эквивалент положения и репутации, маячащих впереди. Размеры чужих заработков стали приметой качества, пока еще не обретенного.

Что же, сегодня Кейвин ездит в очень старом, очень маленьком и очень дешевом «фольксвагене» и в предчувствии «кадиллака», роскошных обедов нью-йоркского ресторана «Павильон» или хотя бы канзасского «Кроун центр» завтракает в дешевой забегаловке.

Итак, яичницу мы съели, перебирая цифры и другие подробности студенческой жизни Ваверса. Парень весь в долгах, и совершенно естественно, что он высчитывает, как расплатиться. Начав учиться в университете, он взял в банке девять тысяч долларов из расчета четырех процентов годовых; срок займа — десять лет. Прошло четыре года, инфляция сделала заемный капитал Кейвина далеко не таким надежным, как это могло показаться,— плата за обучение возросла, и даже фотопленка подорожала. Все же мой собеседник надеется, что постепенно он совершит все, дабы получить с государства за свои унижения и трудности. Отношения между американским студентом Ваверсом и Америкой сложились так, что обе стороны ощущают взаимную привязанность, но не прочь друг друга надуть. Это отношения, которые, условно говоря, называются деловыми, а на самом деле социальны, ибо человек дела — бизнесмен, говоря по-английски,— одна из основ американского общества, курица, несущая золотые яйца богатства ему и себе. Бизнесменом может быть и про-

мышлениик, выпускающий холодильники, и человек, торгующий ими, и тот, кто еще лишь собирается холодильник приобрести. Студент, фермер, писатель, рабочий тоже могут быть бизнесменами, все зависит от твоих взаимоотношений с окружающим миром и способов барахтанья в нем.

Стоп! Написав эти слова, я совершенио отчетливо ощутил, что забираюсь в теоретические дебри. Как же это я так? А дело, наверное, в том, что, прикасаясь к чужой жизни, иеизбежно пытаешься уразуметь законы, организующие эту вот самую чужую жизнь, раз уж ты назвался писателем. А вспомнив о бизнесе, можно вспоминать обо всем. Я ведь знаком кое с кем из делячествующих в изящной словесиости, считающих, что писательский профессионализм сродии профессионализму плотника, лихо заколачивающего гвоздики в деревянную стену. Так-то оно так, если ие учитывать, что литературные гвозди воизаются в очень болезненную, хотя и несуществующую, как выяснилось, человеческую душу. Золотое яйцо, сиесеиное деловитой курицей, может оказаться просто стеклянным шариком с амальгамой внутри. Игрушкой для несуществующей елки, бусинкой от иеианизаиных бус... Ах, уважаемый моралист, вам еще по Америке ездить и ездить, а вы уже раскладываете по лакированным полочкам даже грядущие впечатления! Как же это вы так? Американские студиозусы изменились — это было самым первым из потрясеиий,— ио Америка велика...

Даже поговорив с собой на разные нравоучительиые темы, я не могу восстановить своих впечатлений с первоначальной четкостью; на разговоры с первыми из моих студентов накладываются беседы со следующими, на впечатлениях от этого путешествия иарастает память о предыдущих. Все-таки хорошо, что мне встретился студент-журналист: другие бывали и не похожими на него,— я расскажу о них тоже, но все-таки Кейвин Ваверс был типичен — хоть портрет его на обложке печатай,— продукт изменившихся времен, деловой мальчик с миникомпьютером в кармане рубахи.

Мы сидели в «Субмарине», допивая по третьей чашечке кофе, и Кейвин был успокоен сиюмииутной сытостью, в общем ие самым характериым из студенческих ощущений. Ои раскрыл папку и раскладывал передо

мной фотографии своих модельерш-сокурсниц. Это были снимки, рекламирующие шарфы: длинные полосы красивой ткани казались невесомыми, они парили в воздухе, едва прикасаясь к телам девушек. Шарфы жили своей, независимой ни от кого жизнью, и мой собеседник гордился, что это он, студент Кейвин Ваверс, оживил их. Мотоциклисты в разноцветных марсианских шеломах пролетали мимо кафе. Модельерши казались частью странного, почти ирреального мира мотоциклистов, в котором выключен звук, и шафры растворялись в дымовых шлейфах «судзуки» с никелированными баками. (Кстати, «бак» на бытовом американском языке — это «доллар», а бензобак на том языке называется «танк»; что касается танков, то они мимо нас не ездили, но за двести пятьдесят тысяч долларов, уходящих на покупку одного стандартного «леопарда» с пушками и всем, что ему полагается, весь курс Кейвина можно было бы учить бесплатно целый год. И даже дольше. И еще остались бы деньги, чтобы купить всем курсовым отличникам в качестве поощрения по автомобилю, а неуспевающих студентов какое-то время кормить яичницей в «Субмарине». Такой вот поток ассоциаций.)

Мы беседовали о танках, учебниках, стихах и технике фотографической съемки — официантки нас не обижали, «Субмарина» становилась кафе. Впрочем, часы посетительского пика еще не настали, и именно поэтому официантки не проявляли направленной агрессивности. Они расслабленно стояли в углу, словно ковбои на ранчо, отпустившие мустангов на зеленые сочные лужайки и получившие время для отдыха. Кейвин Ваверс тоже чуть-чуть смахивал на ковбоя с рекламы, и в его манерах было что-то ковбойско-фермерское. Стиль поведения, едва ли не самый распространенный в стране.

Кстати, нет ничего необычного в том, что студент (он) и профессор университета, пусть даже временный, (я) вдвоем пришли в «Субмарину». Все это в порядке вещей, так же как приглашение профессорами студентов на домашние коктейль-парти (и наоборот; мне очень много раз приходилось бывать на студенческих вечеринках, где на равных веселились профессора). Одежный демократизм выглядит как массовый отказ от круглогодичных пиджачных пар (вместо них бьют все рекорды популярности «лезер-сьюты» — нечто вроде усо-

вершенствованных толстовок). Когда два человека встречаются и с радостным воплем хлопают друг друга по спинам, восклицая: «Хелло, Джим!», «Хелло, Джэк!» — это не говорит ровным счетом ни о чем. Ни о давности знакомства, ни об отношениях, ни о должностях обнимающихся людей. Из всех известных мне способов приветствия первый момент общения двух людей в Америке больше всего напоминает ритуальные объятия на тбилисском вокзале, после которых оказывается, что ты жарко перецеловался с людьми, пришедшими встречать не тебя. Ковбойские тычки в грудь и фамильярное похлопывание по заднему карману не означают в Америке ни того, что вы с собеседником стоите на одной социальной ступеньке, ни того, что вы с ним друзья до гроба. Просто так принято.

Существуют также привычки, которые мне совсем не по душе. Американцы, например, сплошь и рядом вкушают пищу, не обнажая голов, есть даже некий особый шик в том, чтобы сесть у стойки в шляпе, сползшей на брови. Кейвин Ваверс выковыривал из зубов остатки индюшиного сэндвича и делал это, по-моему, своей оранжевой шариковой ручкой — ничего постыдного в этом не было, считается, что можно. Многие разговаривают с дамой, не вынимая рук из карманов. И так далее. Порой все это образует манеры картинно-вульгарные, но не без игривости; если надо, все мои американские приятели умеют вести себя как на приеме у королевы, великолепно зная подробности «европейского этикета». Мы, скажем, с Кейвином были надежно разделены; панибратство наше оставалось сугубо внешним, и он (младший) обязан был ощущать это каждой клеткой своего тела до тех пор, пока мы не сравняемся. Американское панибратство очень поверхностно, а в нашем с Кейвином случае — как в десятках миллионов других — оно было деловым, ничего не обозначающим. Просто так принято. Сидели мы со студентом Кейвином Ваверсом в «Субмарине», а вокруг нас происходила очень своеобразная чужая жизнь. Настало время вставать из-за стола. Мы улыбнулись друг другу, и я расплатился. Кейвин спросил разрешения пофотографировать меня; он закатит мне за это такой же бал с яичницей...

Чужая жизнь строится по своим правилам,— ниче-

го странного, это как после лапты попытаться понять бейсбол — и похожая игра, да не та. А я ведь люблю приезжать в чужие страны, особенно интересен момент первого прикосновения к незнакомому бытию и первые моменты познания...

Попытаться понять. Утомиться от попыток, но попытаться понять, ибо в этом один из главных принципов человеческой жизни на белом свете — попытаться понять. Приходить в чужой дом доброжелательно и ненавязчиво, пытаясь понять. «Ну ладно,— говорил я себе,— вглядываясь. Да, Америка — иной мир, и его просто надо попытаться понять...»

На кафедре славистики Канзасского университета, где я читал лекции, один профессор заявил, что не желает со мной встречаться. Он не приходил на мои вечера и занятия, прятался у себя в кабинетике, увидев меня в другом конце коридора. На кафедре недоуменно пожимали плечами, особенно после того, как я попытался выяснить: что же за человек этот профессор, откуда такая злость? Может быть, какой-нибудь беглый бывший мой землячок или еще кто-нибудь из тех, кому советская власть прищемила хвост? Оказалось, ничего подобного, просто дурак. Обыкновенный молодой дурак англо-саксонского происхождения, родившийся и выросший в США, никогда не бывавший в Советском Союзе, но считающий, что встреча с «человеком оттуда» угрожает моральному здоровью и его, и остальной части нации. Впрочем, мыслительная ограниченность не зависит ни от географической широты, ни от возраста; многие студенты в Канзасе мыслят куда политичнее и глубже иных университетских профессоров.

...И Кейвин Ваверс, и все другие студенты, с которыми мне довелось разговаривать об их будущем, высчитывали свои перспективы в денежных единицах,— деньги регулировали отношения.

Можно назвать это любовью к бизнесу, можно фантазировать о курице, не только несущей, но и высиживающей золотые яйца; деньги делают деньги (бедность делает бедность). Человеческие достоинства и недостатки размножаются подчас простым делением, как амебы. В делах американцы неутомимы; ни один из моих североамериканских знакомых не хочет удовлетворяться достигнутым: игра по-крупному вросла в со-

знание, в историю и в душу народа. Сюда ведь не ехали наследные принцы и князья с гербами на золотых каретах; кроме негров, почти все прибыли сюда добровольно — лесорубы, механики, проститутки, солдаты, религиозные сектанты и хлеборобы, не нашедшие себе места на остальных континентах планеты. Практически каждый американец в третьем, четвертом, редко более отдаленном поколении — наследник европейских сорвиголов и бедняков, возмечтавших о деньгах без счета и еде до отвала. Я упрощаю очень сложный процесс и делаю это умышленно: в Америке уже выросли собственные философы, жулики, святые, изобретатели, негодяи — полный комплект, вполне собственные, ничуть не европейские. Еще Энгельс видел это, когда писал почти девяносто лет назад: «...Это именно и любопытно в Америке, что наряду с самым новым и самым революционным там преспокойно продолжает прозябать самое допотопное и устаревшее». Иногда Америка весела, иногда становится нудной, иногда же похожа на мальчика, увиденного мной в аэропорту Мемфиса, штат Теннесси. Маленький негритенок нес пять апельсинов; плоды не помещались в его ручках, и то один, то другой выпадал из объятий. Мальчик наклонялся, подымал и в это же время ронял еще один апельсин. Я захотел помочь и взял апельсин с пола, но собственник золотого плода с воем так ринулся ко мне забирать свое сокровище, что растерял все остальные апельсины...

Здесь свои правила всех игр и собственные знаменитые игроки. Их сортируют вскоре после рождения — по интеллектуальным индексам, родительским связям, школам, университетам, а затем они врастают в толпу и большинство должно пробиться сквозь нее самостоятельно, каждый до поры до времени проталкивается в одиночку. Недавно я прочел в одном из американских еженедельников, как дети дипломатов США, учившиеся по нескольку лет в московских школах, жаловались, что им не легко дома — их приучали к коллективизму, а это ведь для них словно потеря боксером защитного рефлекса. Куда уж: позанимавшись в танцклассе, трудно выступать в личном первенстве по дзюдо. А выступать надобно. Не раз и не два знакомые американцы без особого сожаления говорили о том, что тот или другой наш общий знакомый проиграл — лишился должно-

ти, работы, денег,— лишился чего-нибудь жизненно важного. Это значило, что некто более энергичный, ловкий и, возможно, более одаренный занял освободившееся место. Здесь жалеют редко и неохотно, а «лузеров» — терпящих жизненные катастрофы — не жалеют вовсе. Погибающего с голодухи, может быть, накормят в Армии спасения, в каком-нибудь благотворительном фонде могут дать немного одежды и денег. Но человек, униженно протянувший руку за помощью, мгновенно теряет в общественной стоимости: он сдался, выбыл...

В Лос-Анджелесе я смотрел по телевидению репортаж о первом утре после президентских выборов — Джеральд Форд уходил из Белого дома, где он узнал ночью результаты голосования. Репортеры подглядели, как из боковой двери один за другим выскальзывают музыканты, подняв воротники плащей: президент пригласил их поиграть на балу по случаю своей победы, а бал пришлось отменить. Последним, прячась за тумбу своего инструмента, вышел контрабасист. Люди, вместе с которыми я смотрел передачу, накануне голосовали за Форда и не делали секрета из этого. Но голосовали они вчера. «Ну и президент был у нас»,— заметила женщина, грустно покачав головой. «Никуда не годный,— согласился с ней муж.— Яйцо-болтун...» Это не считается беспринципностью — всего лишь нормальная реакция на «лузера»; кроме того, победитель прав, и да здравствует победитель!

Стоп! Я снова отвлекаюсь. С чего мы сегодня начали? Ну конечно же «ab ovo» — «от яйца».

Телевизор прекратил разговоры о президентских выборах, тоже утратив интерес к проигравшему, и на экране — внезапно, вспышкой — появился молчаливый человек с гибкими пальцами фокусника из варьете. В пальцах он держал желтоватое куриное яйцо со светло-коричневыми крапинками. Сосредоточенный человек покатал яйцо между ладонями, заполнившими телеэкран, и воткнул его в странного вида приспособление. У человека было всего двадцать секунд, потому что время телевизионной рекламы строго лимитируется, и вот за эти-то двадцать секунд он изготовил яйцо кубической формы и предложил его нам. Сосредоточенный человек перечислил множество преимуществ, коими обладают яйца кубической формы, если на минуту от-

страниться от достоинств, так сказать, государственного масштаба, то все равно для нас должно было стать бесспорным, что кубические яйца легче впишутся в современный интерьер, а вареные ни за что не скатятся со стола. Вот так. Изобрел машинку некий Стен Паргман из Лос-Анджелеса, и раз ее рекламируют по телевидению, значит, выпуск машинки окупается и вещь эта чрезвычайно полезна. Кстати, яйцо может выглядеть необычно не только снаружи: в каталоге рождественских подарков на 1977 год числится белая пятнадцатидолларовая машина размером с электрическую кофемолку — машина умеет смешивать желток с белком, не нарушая целости скорлупы. Машинку можно выписать по почте — номер ее по каталогу 902528. Кубатура яйца...

Колумб, открывший Америку в новые времена, не смог назвать ее своим именем, но зато «колумбово яйцо» запечатлелось в истории. Великий мореплаватель утолил заботы сановника, пожелавшего увидеть куриное яйцо стоящим вертикально. Генуэзец сделал все вполне по-американски: просто надбил яйцо с тупого конца и поставил его перпендикулярно столу. Случилось это в XV столетии на обеде у кардинала Мендозы. Так открыватель Америки обрел «яичную легенду».

Видите, как все точно. Известны имена изобретателей и героев. В качестве рекордного достижения зарегистрировано даже то, что некий Дуглас Л. Барч в ресторане города Мобил, штат Алабама, в начале мая 1975 года слопал за сто тридцать секунд тридцать два яйца всмятку. (Очень этим прославился Дуглас Л. Барч.)

(Еще одну историю, связанную с продуктами жизнедеятельности североамериканских несушек, рассказал мне в Киеве наш хороший певец Дмитро Гнатюк. К сожалению, он не знал имени главного героя этой истории, а она такова. Несколько лет назад Гнатюк гастролировал в Северной Америке, и разномастные антисоветские крикуны не раз грозились сорвать его концерты. Однажды, стоя на сцене, певец увидел, как в ложе напротив некий побледневший от волнения и страха юноша со взором горящим подымает вверх белое куриное яйцо, явно собираясь швырнуть его на сцену. «Я пел, глядя на него,— рассказывал мне Гнатюк,— и

вдруг увидел, как по руке юноши потекла бело-желтая масса: от волнения яйцеметатель раздавил скорлупу еще до броска. Глядя на него, я допел до конца, увидел, как юноша кинулся наутек из ложи, а люди, привлеченные странным запахом, глядели ему вслед». Увы, событие осталось не зарегистрированным среди рекордов и в полицейской хронике.)

Вот видите, сколько всего соединилось в одном — и не очень долгом — рассказе, начатом «ab ovo» — «от яйца», как две тысячи лет назад в своем произведении «Арс поэтика» предлагал начинать все повествования Квинтий Гораций Флакк, знаменитый римский поэт. Рассказ должен развиваться последовательно: ведь нельзя дважды войти в одну и ту же реку, как говаривали древние мудрецы.

Нельзя? Тогда снова давайте возвратимся из короткого путешествия по манускриптам Рима в новые времена, но не переводите ваши часы с начала эры на несколько столетий вперед: для примера, который я приведу, они не понадобятся,— можно попросту вышвырнуть их в реку времени сквозь аварийный люк авиалайнера. Того самого «конкорда», что был оборудован «Эр Франс» специально к встрече Нового года. Перед полуночным вылетом сверхзвукового самолета из парижского аэропорта имени де Голля пассажиры встречают Новый год, затем «конкорд» развивает скорость тысячу триста пятьдесят миль в час — это выше скорости, с которой вращается Земля. Посему на высоте одиннадцать миль над Атлантикой случится вторая полночь, и пассажиры встретят еще один Новый год. В вашингтонский аэропорт имени Даллеса «конкорд» прибывает в 9.30 вечера по местному времени — до новогоднего бала во французском посольстве два часа с лишним. Вот и все, что можно было сделать при помощи «Эр Франс» со временем и с собой за четыре тысячи восемьсот пятьдесят долларов. «Конкорд» похож на только что проклюнувшегося длинношеего птенчика. «Ab ovo» — «от яйца». Много всяких птиц на свете, и самолет — одна из них.

Люди по-разному зарабатывают и тратят деньги; люди ходят пешком, ездят на велосипедах и летают на сверхзвуковых лайнерах. Когда на десятках языков они в Америке рассказывают своим разноцветным де-

тям сказочку вроде: «Жили-были дед да баба, была у них курочка ряба. Снесла курочка яичко...»,— то имеется в виду, что американская курочка несет очень много яичек и каждому какое полагается.

Я здесь не о том, что люди живут по-разному,— все мы об этом знаем. Мне всегда была интересна реакция, с которой американские знакомые воспринимали неожиданную, нетрадиционную весть, пусть даже сообщение о встрече Нового года на «конкорде». Часть из них— те, скажем, кто работает в прогрессивной прессе,— восклицали нечто вроде: «У-у, буржуи!» — и в своей газете разоблачали все это с четких социальных позиций. Но значительную часть населения США составляют люди, зарабатывающие не много и не мало, они стоят одинаково далеко от миллионерства и от нищеты (от миллионерства, может быть, подальше) и мечтают взобраться по лесенке чуть выше. Динамичный американский бог всегда подмигивает им: вы, мол, ребята, кое-чего достигли — дуй дальше вверх. Пропаганда внушает, что золотое яичко лежит совсем рядышком — вот оно, осталось протянуть руку; «конкорд» пролетает над головами с удалым свистом, и кажется — следующий рейс твой. О чужом успехе сообщают словно о выигрыше в тотализаторе,— дело случая, мол, не больше. Американцам круглосуточно воркуют, что все неприятности вот-вот кончатся; им толкуют о зловредности коммунистов и другой публики, мешающей этому, и многие верят, слушая сверхзвуковой шум фортуны над головами. Обыватель массов, и, встречаясь с Америкой, я всегда удивленно вижу, сколько здесь при всей ее модерновости персонажей из ильфо-петровского одесского нэпа, а люди с философией прожектеров из Черноморска живут рядом с умницами, изобретателями, философами, храбрецами.

Это все интересно, но это другая жизнь, сложная, многослойная, которую необходимо понять, потому что она по соседству с нашей. Законы американского бытия отрегулированы до последней подробности; это чужие законы, но люди по ним живут, тонут в морях своих сложностей или выбарахтываются из них. Они плутают и порой совершенно серьезно думают, что Некто в красном хочет сбросить на них Большую бомбу; людям вбивают в головы немало всякого — геральди-

ческая птица кормит своих птенцов не одним только эликсиром дружелюбня... И все-таки нам жить на одиой Земле, где океаиы очеиь узки. Иной планеты у нас нет и не предвидится: человечество не в состоянии выбрать себе других соседей ни в космосе, ни на Земле.

...Скорость и точность реакций важны для всех. В американских школах есть тест, где ученики в течение десятка минут должны ответить на огромное количество самых разных вопросов; во многих случаях точиость ответа даже не предполагается: важиее быстрота и направлеиие реакции. Это ценится, потому что Америка очень любит выясиять, кто есть кто.

Американцев на свете больше двухсот пятнадцати миллионов, и все они разиые; говорят, что в стране рассеялось еще до десяти миллионов незаприходованных, нелегальио иммигрировавших мексиканцев, переплывших тайком пограиичную Рио-Гранде,— незакониые американцы, оии тоже все разные. Что же касается среднестатистического граждаиина США, с которым ни я и никто на свете не виделся, то оному синтетическому объекту сорок пять лет от роду, жене его сорок два года, у них двое детей, которым не исполнилось еще по двадцать. Вычислеииый американец выпивает шестиадцать чашек кофе в неделю, покупает ежегодно до пятисот килограммов товаров, немедленно идущих в дело,— еды, одежды. Каждые четыре года такой американец попадает в легкую автомобильную аварию, а каждые двадцать лет — в автомобильную катастрофу. Ежедневно он по три с половиной часа просиживает у телевизора и одиннадцать раз в год ходит в кино. Ежегодно пишет двести пятьдесят писем и восемьсот девяиосто пять раз звонит по телефону. А еще съедает за год сто два фунта сахара, сто двадцать шесть фунтов хлеба и уже упомянутые двести восемьдесят семь яиц...

На самом же деле каждый живет по-своему,— если складывать безработного с Рокфеллером, получается чепуха, а не статистика, но я пытаюсь рассказывать о подробностях чужих жизней — в них все важно. Да, едва не забыл одну из таких подробностей: поздней осенью, в Деиь благодарения, едва ли не каждая американская семья — практически без исключений, опираюсь здесь и на собственный опыт — ест жареного ин-

дюка. В не густо заселенной индейцами и еще не колонизированной Америке когда-то стаями водились дикие индюки. Первые переселенцы из Европы вдохновенно били их сапогами, палками и чем придется, да так усердно, что дикие индюки не сохранились даже в виде музейных чучел. Но выжили эмигранты, питавшиеся индюшатиной — первым даром незнакомого континента. Когда в 1776 году шли дискуссии о гербе новорожденных Соединенных Штатов, Бенджамин Франклин настоятельно предлагал, чтобы американским национальным символом стал дикий индюк. Но — ничего не поделаешь — в геральдическом соревновании победил белоголовый орел, а дикому индюку было уготовано место на этикетке восьмилетнего кукурузного виски, выпускаемого в штате Кентукки. Что ж, орел так орел,— был бы полет его разумен и благороден. Я не умею различать индюшиных и орлиных яиц, но пускай все они сохраняют в своей овальности беспрерывную жизнь. Ведь если то и другое яйцо изувечить, придав им форму куба, то они, согласно рекламе, замечательно впишутся в современные интерьеры, но будут мертвы и бесплодны. Думаю, что Америке это не нужно; люди обладают здесь рациональным умением строить и разрушать, обретать и терять, финишировать и стартовать, по сто раз начиная все сначала, «ab ovo» — «от яйца».

...В маленьком городишке хлебородного штата Канзас, где у шоссе стоят домовитые, наполненные элеваторы, а люди, если они студенты, приходят сюда из хлопотливой Америки подучиться и возвращаются в Америку работать в очень высоких и деловых домах,— многое можно увидеть и обсудить, потому что все здесь на виду. «Вот поедете вы в Нью-Йорк,— говорили мне,— в наш всеобщий проходной двор. Там все суматошнее и по-другому. Но не ограничивайтесь Нью-Йорком, у вас и так много пишут о нем, у нас тоже о нем пишут немало. Это ведь «найс плейс ту визит» — «славное местечко для посещения», не больше. Заезжайте в Нью-Йорк и возвращайтесь сюда пожить — в Лоуренсе слышно, как по утрам разбивают над сковородами яичную скорлупу. Мы не обо всем еще переговорили, вы же сами чувствуете, что разговоры только лишь начались...»

странные ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА

Очень интересно странствовать по маленьким американским городам. Это вовсе не провинциализм; само понятие провинции неинтересно мне, потому что прежде всего оно обозначает униженное состояние духа. Провинциалом можно быть во многомиллионном городе, а можно жить на отшибе и заставлять целый мир прислушиваться к себе; не надо же напоминать вам, что Лев Толстой, Фолкнер, Лакснесс или Пабло Неруда провинциалами не были, хотя и жили в провинции.

Позже я вспомню еще о встречах в американских городишках, где все отношения обнажаются и люди запоминаются каждый в отдельности, а не толпой сразу. Рожденный, воспитанный и выросший в старинном большом городе, я полюбил маленькие американские города, а величайший конгломерат таких городишек — Нью-Йорк.

Поверьте, что сказанное — не красного словца ради. Административно весь Нью-Йорк распадается на несколько районов, каждый из которых с европейский город: Куинс, Бруклин, Бронкс, Ричмонд... Но мы привычно зовем Нью-Йорком район Манхаттана с его небоскребными чудесами и статуей Свободы у входа в порт. Остров Манхаттан, откупленный за очень дешевую цену у индейцев, некогда живших здесь, колоритен, многоголос, а его скалистая земля ценится дороже, чем что бы то ни было, построенное на этой земле: квадратный дюйм ее, то есть квадратик, каждая сторона которого — в пять клеточек нашей школьной тетради для арифметики, стоит сейчас двадцать пять — тридцать долларов. Вы конечно же читали, что в Нью-Йорке живет больше итальянцев, чем в Неаполе, больше ирландцев, чем в Дублине, больше евреев, чем во всем Израиле; украинцев, по очень приблизительным данным, в Нью-Йорке тоже больше, чем, скажем, в Сумах. Но самое удивительное, что все эти национальные поселения внутри гигантского города четко зафиксированы, традиционно разделены и, проезжая сквозь

китайскнй район, где даже телефонные будкн построены в виде пагод, пуэрто-риканский нлн негрнтянский Нью-Йорки, немецкий Йорквнлль, читая вывески на польском, нспанском, венгерском или хиндн, не можешь нзбавиться от мысли о несмешнваемостн частей в здешней болтушке. Маленькие городки Нью-Йорка ошарашивают вас китайскнмн ресторанами (я даже храню один из счетов, выписанный по-китайски,— поди проверь...) нли забулдыгой, орущнм на перекрестке неприличную словацкую песню, которую все равно никто не может понять. Я пишу свою книгу для людей, многое об Америке прочитавших, в том числе о Нью-Йорке, державших в руках множество томов — от Америго Веспуччн до Валентина Зорина,— но забудьте на мгновенне о них, зажмурьтесь н представьте себе географическую карту, сжавшуюся до размеров почтовой марки, где все языкн и обычан соседствуют так, как было это возможно только на развалинах легендарной Вавилонской башни. Нью-Йорк нногда и кажется мне этой самой башней, но не растущей вверх, а растянутой по плоскостн.

Здесь допустимы всяческие акценты, и чаще всего никто не интересуется вашими манерами; я видел человека, писавшего на клумбу возле Линкольн-центра н оравшего, что таков национальный обычай. Впрочем, полисмен прервал это очаровательное занятне.

Тед Солотарофф, четыре поколення назад бывший бы Федей Золотаревым, потому что его предки прибыли из Одессы, трудится на Пятой авеню, в самом центре Манхаттана. Он главный редактор журнала «Америкэн ревью», всю жизнь в Нью-Йорке и не имеет о нем понятия как о целом. Разве что о своем районе, о квартире, где из окон спальни видна наступающая и разрастающаяся пуэрто-риканская зона города, о своей семье. Он знает о многом нз того, что происходит в окрестностях квартиры,— где столкнулись автомобилн, где гараж подешевле, где можно в воскресенье купить водку (по релнгиозным соображейиям спиртным в воскресенье не торгуют, но Тед атеист). Кроме того, Солотарофф прекрасно знает современную литературу Америки: его журнал печатает отрывки из книг, имеющих быть опубликованнымн в «Бентем букс» — огромном нздательстве, которому прннадлежит и журнал. Отно-

шение у Солотароффа к Нью-Йорку примерно такое же, как у меня, скажем, к московской гостинице «Россия», когда я в ней живу. Мне известно, что на четных этажах моего крыла расположены буфеты, а на правом и втором — бар, парикмахерская и ресторан. Пожив в одном номере какое-то время, я могу узнать, кто обитает рядом, а могу и не узнать, потому что живущий рядом человек занят совсем другим делом и мне не нужен. Так же, как, впрочем, и я ему. Гостиницы заселяются в основном людьми деловыми; Нью-Йорк — величайшая гостиница в мире. Есть в ней номера-люкс, общежития и ночлежки; есть в ней даже рестораны с национальной кухней и киоски сувениров из разных стран. Но особенно пышно расцвело здесь главное из гостиничных чувств — ощущение временности, неосновательности твоего пребывания на земле по двадцать семь долларов за квадратный дюйм. Я уже говорил, что люблю провинциальные городишки Америки — там есть некая основательность бытия. Нью-Йорк — конгломерат особенных городишек, движущихся в разные стороны, словно несколько цыганских таборов, на какое-то время поставивших свои шатры по соседству.

В Нью-Йорке полезно быть гостем, потому что многие крупнейшие музеи, абсолютное большинство театров Америки, ее главные издательства и газеты, наконец, магазины и барахолки располагаются здесь. Но жить в Нью-Йорке годами скучно и тяжело. «Чуть заводятся деньги,— говорит мне Тед Солотарофф,— я стараюсь хоть на несколько месяцев уехать отсюда. Мне, как, наверное, любому редактору, время от времени надоедают писатели — большинство американских литераторов обитает здесь, в Нью-Йорке,— надоедают разговоры о литературе и письменный стол в кабинете с неизбежной серой стеной брандмауэра за окнами. Маленький городок, расположенный вокруг моей квартиры, привычен и неинтересен, как всякая примелькавшаяся окрестность. Переезжать в картинно-богемный Гринич-Вилледж, так поражающий иных провинциалов, не хочется, потому что это довольно захолустное местечко в Нью-Йорке, населенное представителями разного рода искусств. Там очень много позеров, там громогласно рассуждают об изящной словесности, размашисто жестикулируя, картинно болтают на перекре-

стках,— все это забавы для пижонов. В Нью-Йорке надо заниматься своим делом и знать цену себе; переход из одного здешнего поселка в другой может оказаться маршем в полное забытье, понижением в должности, исчезновением из поля зрения той части Нью-Йорка, которая хоть как-то интересовалась тобой. Всеми сразу в этом городе никто не интересуется, и нет такого человеческого существа, включая президентов, астронавтов и знаменитых факиров, которым бы одновременно заинтересовался весь город. В Нью-Йорке, чтобы хоть как-то оказаться замеченным, надо быть яркой индивидуальностью и при том иметь немало голосистых друзей...»

Все верно. В Нью-Йорке читают гораздо больше, чем где бы то ни было в Америке,— книжных магазинов здесь множество, и литература разнообразнее, чем где бы то ни было. В каждом из нью-йоркских поселков читают свое — где Фолкнера, где Достоевского, где Болдуина, где Камю, а где и детективчики попроще, коммерческое чтиво или порнографию. То же самое с газетами: иные районы и даже улицы города выпускают собственные многостраничные периодические издания. В Америке вообще почти никто не читает по две газеты, в Нью-Йорке тоже; каждый — одну, у каждого — своя. Информированность избирательна, регинальна во всем: по разным национальным, имущественным, территориальным, вкусовым и прочим группам, я не знал, что людей можно рассыпать по такому множеству ящичков, задвигающихся в несхожие между собой комоды.

Все тот же Тед Солотарофф, прекрасный знаток литературы, рассказал однажды за кофе мне и популярному нью-йоркскому прозанку Доналду Бартелму историю о том, что его потрясло в Советском Союзе, а точнее — в городе Киеве.

Как-то утром Солотарофф, посещавший СССР по приглашению Союза писателей, решил починить свои туфли, износившиеся с непривычки,— по Нью-Йорку они обычно разъезжали в автомобиле, а здесь, одетые на стопы хозяина, подолгу разгуливали пешком. Пока сапожник приводил туфли в порядок, Солотарофф с Виктором Рамзесом, своим советским переводчиком, начал выяснять, естественно, на английском языке, во

сколько ему может обойтись этот ремонт. Сапожник прислушался к речи своего заказчика и поинтересовался, откуда же тот приехал в наши края. Тед сказал, что из Америки, и признался в своей причастности к литературе. Тогда сапожник спросил, знаком ли писатель Теодор Солотарофф с писателем Теодором Драйзером. Тед ответил, что в некотором роде знаком, читал кое-что. Тогда сапожник сообщил, что сейчас в третий раз перечитывает «Сестру Керри», а вообще-то дома у него есть собрание сочинений Теодора Драйзера и это его любимый писатель...

«Ты представляешь,— обратился Солотарофф к Доналду Бартелму,— чтобы нью-йоркский сапожник читал все твои книги?» Доналд резонно возразил, что он не Теодор Драйзер. «Ну хорошо, а можешь ты представить себе нью-йоркского сапожника, который прочел Драйзера?» Бартелм не мог. И я не мог, и Солотарофф не мог, и, самое главное, нормальному здешнему сапожнику пришлось бы долго объяснять, зачем ему надобно читать такие толстые и такие непростые романы, написанные бог весть когда. (В Нью-Йорке время летит очень быстро, и тридцатые — сороковые годы, не говоря уж о начале века, там относятся к периоду «бог весть когда»...)

Среднеподготовленный советский читатель знает американскую прозу не хуже, чем среднеподготовленный американский читатель знает ее же,— с этим не спорят и в США. Мы издаем у себя множество американской литературы; практически все серьезное, что появляется на книжном рынке Соединенных Штатов, выходит у нас лишь с небольшим опозданием. Наших же книг в Америке не издают почти совершенно, а собственные читают выборочно, притом каждую в своем городке. В каждом районе собственная мода на книги, и если роман Алекса Хейли «Корни» расходится сейчас в западной части Нью-Йорка, как жареная кукуруза перед футбольным матчем, то это вовсе не значит, что иные магазины восточной части города смогут продать больше пяти экземпляров «Корней», пусть даже эта книга стремительно приобрела общенациональную известность. Я же говорил вам, что этот город состоит из множества поселков, сжавшихся в одно целое, но разделенных нерушимостью незримых границ. В Нью-

Йорке вам просто более или менее деликатно дадут понять, что вы заблудились не в своей зоне. Один раз в районе девяностых улиц в меня запустили помидором: я совершенно забыл, что это пуэрто-риканский район, но ретировался после первого же предупредительного помидорного залпа. Согласно всей статистике, мне еще повезло: санкции могли быть куда более грозными — начиная с обыкновенного мордобоя...

А ведь можно же сходить в музей Гуггенхейма, где постоянно разворачиваются выставки новомодных художников,— это на перекрестке 5-й авеню и 89-й улицы. Совсем рядом — на противоположной стороне 5-й авеню, возле перекрестка с 82-й улицей, Метрополитен-музей с одной из богатейших в мире сокровищниц древнего и классического искусств. Возле 70-й улицы — замечательная живописная коллекция Фрика, вся 57-я улица в частных галереях. Это ведь я назвал только несколько сокровищниц скульптуры и живописи, расположенных очень компактно на Манхаттане. А есть еще галерея средневекового искусства — Клойстер; есть музеи естествознания, истории, мастеров-примитивистов. А в одном только Линкольновском центре на 65-й улице — знаменитая «Метрополитен-опера» и драматический театр штата Нью-Йорк; еще в двух шагах по Бродвею — целое гнездо разнородных театров, среди которых есть очень хорошие. Кроме того, имеются театры «вне Бродвея» и даже «вне вне Бродвея». Причем для посещения театров и музеев вовсе не обязательно быть человеком состоятельным — в большинстве музеев установлены дни, когда вход вообще свободный, а в некоторых театрах есть недорогие места, с которых все и слышно, и видно. Но жители городишек, составляющих неизмеренный Нью-Йорк (никто не знает, сколько местечек соседствует в этом мегаполисе, считается, что сегодня они населены более чем восемью, а возможно, даже пятнадцатью миллионами людей), не часто толпятся перед театрами по вечерам. Сколько я ни бродил по музеям Нью-Йорка, мне почти никогда не было в них тесно — и залы просторны, и посетителей не в избытке.

Что ж, верно: я не люблю толчеи случайных людей в музеях. Не люблю, когда художники становятся модными и никто уже не размышляет о том, зачем они,

просто надо увидеть. Случайные и невдумчивые зрители оставляют художника в одиночестве, даже стоя толпою вокруг него; уединение творца прекрасно, одиночество его — гибельно. Этрусским вазам из Метрополитен-музея скучновато за колоннами, сквозь которые они хотят разглядеть искреннего, несуматошного друга. Этрусские вазы оценены — они бесценны; бесценен Рафаэль, Леонардо тоже бесценен, и многие братья их — сквозь века (и «Герника» Пикассо, которую кто-то из нью-йоркских болванов прямо в пустом зале музея оросил струей красящего аэрозоля, бессмертна: просто в одном из странных городишек Нью-Йорка ее терпеть не могут). Ах, до чего богаты здешние экспозиции! В нью-йоркских музеях хорошо думается о вечности и одиночестве (я очень боюсь одиночества, всю жизнь бегу от него — до последнего своего мгновения бежать буду, до того, как неизбежно уединюсь), но здесь — несколько слов об одиночестве человека, чья жизнь давно и поучительно состоялась. Записываю эти слова после того, как в галерее «Забриски» на 57-й улице (восьмой этаж, вход в выставочный зал прямо из лифта) посетил экспозицию Александра Архипенко: цветные скульптуры.

Александр Порфирьевич Архипенко родился в Киеве, там же учился и перед тем, как эмигрировать в 1908 году, в Киеве же начал выставляться, показав несколько цветных скульптур. На первой его выставке, где изваянный «Мыслитель» был красного цвета, полицейский чин ткнул в гипс перчаткой, подозвал автора и вопросил, о чем мыслитель думает и почему он красного цвета. Позднее в своих автобиографиях Архипенко вспоминал этот эпизод многократно, рассуждая о специфике восприятия художественных символов нижними чинами полиции. Итак, в начале столетия Александр Порфирьевич из Киева уехал, пожил в Петербурге, в Москве, а в 1908 году подался за границу. В своих воспоминаниях Илья Эренбург пишет об Архипенко как об одном из авторитетнейших завсегдатаев знаменитой парижской «Ротонды». Много и хорошо писали о нем Вера Мухина, Игорь Грабарь; старые работы его сохранились в музеях (в Киевском музее украинского искусства одна экспонируется до сих пор). Но жизнь Александра Архипенко — сквозь творческие успехи и

неудачи, сквозь деловые и семейные пертурбации, сквозь пол-Европы, триумфально пройденной с выставками,— продолжалась в Америке — на корабле «Монголия» он прибыл в Нью-Йорк тридцатых годов. Ученики уже срывали аплодисменты; Мур, Кальдер, ставшие классиками современной скульптуры, заносчиво-благодарно кланялись Александру Архипенко. Сам же он, демонстративно чуждаясь политики, искал и строил в Нью-Йорке город для себя самого, с доступом для очень немногих; даже городок — для друзей.

Но города не было. Мне жутковато читать авторские карандашные надписи на эскизах Архипенко, где спутались русские, украинские и английские слова. Он, один из творцов нового языка скульптуры,— как сам считал, искусства для масс,— доживал в одиночестве и в бессловесности. Однажды сердце Александра Архипенко остановилось. Скульптора похоронили в нью-йоркском Бронксе, на кладбище Вудлавн. Работы остались — удивительные по дерзости, сродни живописи Пикассо, а по загадочной строгости — восточной керамике, поразительный сад, где столько корней... Но вот города своего не было у Архипенко в Нью-Йорке — ни у живого, ни у мертвого, я ходил по холодной и пустой галерее «Забриски», разглядывая удивительные архипенковские работы, и глаза болели. Ау, где ты, Киев, где ты, Москва?! Захотелось выпить с кем-нибудь за вечность Архипенко, но, кроме девушки с каталогами, что сидела в углу, никого в зале не было, а девушка ж на работе...

Нью-Йорк, пожалуй, больше, чем другие города США, позволяет тебе роскошь публичного уединения, накопив немало вполне уютных артистических европейских кофеен, где можно потягивать свежесваренный коричневый ароматный напиток и разговаривать с приятелями об искусстве. И все же это не было архипенковской «Ротондой» — всего-навсего привычные буфеты, разбросанные по этажам гигантской гостиницы: свой для номеров-люкс и свой для общежития. Где вы жили, Александр Порфирьевич Архипенко?..

Когда-то я еще раз нарушил правила и, остановившись на автомобиле в центре негритянской зоны, Гарлема, города в городе, зашел в маленькое кафе на 122-й улице. Несколько черных лиц поднялось навстре-

чу мне от чашек, и я не могу назвать их выражение дружелюбным даже сегодня. Полисмен неслышно подошел сзадн н взял меня за плечо; полисмен был вежлив: «Уходите отсюда, сэр. Ни вам, ни мне эти неприятности ни к чему...» Меня в Гарлеме совсем не хотели видеть.

Ах, как он демонстративно сияет, Нью-Йорк! Десятки миллионов электрических лампочек освещают его квартиры, сорок восемь тысяч светофоров мигают на перекрестках, полторы тысячи вагонов метро и сто десять тысяч лифтов развозят его обитателей по домам. Мы уже знаем, что такое энергетический кризис для Нью-Йорка; что такое моральный кризис, город узнаёт бесконечно и не всегда верит себе: горько это...

Ах, как здесь бывает весело! Вы и вправду не заскучаете, если отыщете в Нью-Йорке свой собственный городок, где можно будет спать, есть, развлекаться, ездить на автомобиле до работы и домой, а также на прогулки. В Нью-Йорке зарегистрировано около двух миллионов легковых автомобилей (правда, восемьдесят пять тысяч из них ежегодно крадут) — на каждый автомобиль приходится всего одиннадцать сантиметров тротуарного бордюра для стоянки, даже детскую коляску не запаркуешь на такой площади. Значит, не все машины останавливаются у тротуаров в одно время; часть живет за пределами города, часть — в подземных и многоэтажных гаражах, а часть ездит из одного нью-йоркского городка в другой, разыскивая причалы, притормаживая у почтовых ящиков, похожих на наши мусоросборники, выкрашенные в синий цвет. Автомобили кружатся как люди, заблудившиеся в пустыне. Я вам говорил, что люблю маленькие американские городишки,— все дело в том, что один из городишек непременно должен быть твоим собственным. Иначе эта масса домов, городов и людей превратится в пустыню, изуродует все твои реакции на мир и день за днем начнет вбивать в тебя безнадежность и злость. Не дай бог. Люди, выстроившие Нью-Йорк, много трудились, плоды их усилий впечатляющи и разнообразны, многие дома поразительны — нелегко было построить такое. Но для кого?

Впрочем, прн желании здесь каждый сыщет то, что искал. Любитель порядка выяснит, что в Нью-Йорке

около тридцати тысяч проституток, запрещенных официально, но тем не менее процветающих; деловой человек найдет здесь сто тридцать банков и две с половиной тысячи больших предприятий, но, к ужасу своему, узнает, что в городе совершается за год двести тысяч покушений. На территории в пятьсот двадцать квадратных километров — не так уж много — людей живет раза в три больше, чем в Норвегии, побольше, чем в Болгарии или Швеции; такой уж это населенный пункт...

В разговоре о Нью-Йорке цифры очень красноречивы — они выстраивают хоть примерное представление о городе как о целостности, во всех других измерениях он никогда не производит впечатления цельного.

А знаю ведь я города на свете, старающиеся сразу же сделать тебя старожилом и своим человеком, едва в них приходишь; таков для меня Париж. Лондон постоянно пытается поставить тебя на место, объясняет, где тебе следует ходить, а куда ходить не по рангу; по крайней мере он небезразличен. Нью-Йорку, если ты в нем не свой, на тебя наплевать.

...С моим американским гостем, провинциальным врачом, шли мы узкими улочками старого Киева и наткнулись на человека, прикорнувшего у тротуарной кромки. Американец вздрогнул и бочком отошел к стене; я наклонился к лежащему — человек был жив, но мертвецки пьян и единственно в чем нуждался — в добродушном ангеле-хранителе, который еще в течение двух-трех часов сбережет его от милиционера. Я оглянулся: американец с непонятной для меня прытью умчался на два квартала вперед — пришлось его догонять. «Ты знаешь, я редко бываю в больших городах и подумал сразу же, как поступил бы в Нью-Йорке,— сказал мне гость.— Я прежде всего решил, что человек, наверное, убит и теперь могут быть неприятности. А затем я подумал, что не следует в большом городе подходить к незнакомцу. Даже пьяному. Даже храпящему на тротуаре. Ты прости...»

В этом городе рождается сто тридцать тысяч детей в год, умирает восемьдесят пять тысяч человек, а три тысячи ежегодно исчезает неведомо куда, и никто их никогда не находит.

Я сам не раз видел, как люди не замечали друг друга, сталкиваясь плечами, падая на улице и проталкиваясь в автобус. Нью-Йорк не только объединял, но и разъединял их. Он не учил думать о вечности — разве что о Страшном суде: у большинства новоприбывших провинциалов возникала, думаю, именно эта мысль.

Треть города занимают старые постройки, из тех, что зовутся у нас «аварийными»,— ежедневно бульдозеры рушат несколько домов, а люди из них расползаются по соседним зданиям, словно так и должно быть. Словно бедный гаитянский или пуэрто-риканский поселок испокон веков выгорожен здесь, прикреплен к телу странного архипелага городов Нью-Йорка, где есть места очень сытые, красивые и богатые, а есть и попроще. Нью-йоркские города мигрируют, вторгаются друг в друга и снова расходятся, чтобы не встретиться никогда; Гарлем, легендарное негритянское гетто, был когда-то аристократическим голландским жилым районом...

А ведь Нью-Йорк молод, как и все американские города; на пороге прошлого века в нем жило менее ста тысяч человек; недавно я вычитал, что одного из героев американской революции захватили в плен и повесили в глухом лесу, как раз на том месте, где ныне зеленеет стеклами гигантская спичечная коробка здания ООН. Сейчас во многих районах Нью-Йорка на дереве повеситься невозможно — деревьев нет или это хилые заморыши, чудом выстоявшие в бензиновых испарениях. Знающие люди говорят, что достаточно полежать на уровне нью-йоркской мостовой в течение двух-трех часов — и толстый слой выхлопных газов удавит даже слона. Впрочем, слоны в центре Нью-Йорка не валяются, а пьяных собирает полиция и складывает штабелями в районе нижних улиц Манхаттана, знаменитом Бауэри — на самом низком из нью-йоркских этажей. Это уже последний из городов Нью-Йорка — город у выхода, Бауэри...

Нью-Йорк — это вещь в себе, всеамериканский проходной двор со своими законами и собственной внутренней жизнью; но даже для случайного визитера Нью-Йорк очень зрелищен — это всегда спектакль для пришельцев, где зрители и актеры разделены очень не-

прочным барьером и постоянно обмениваются местами. Мы говорили уже с вами, сколь интересен и разнообразен Нью-Йорк, если он ждал вас в гости или по крайней мере вы, не теряя времени, познакомились и подружились с ним на уровне своего гостиничного отсека, иначе ощущение будет жутким, ибо кажется, что Нью-Йорк пустынен. Обожжет ощущение, что ты этаким верблюдом ползешь сквозь пустыню от оазиса к оазису, а упадешь на песок между колодцами — никто и не наклонится. Все следы здесь засыпаны барханами времени — ведь и вправду представьте себе, сколько людей вошло сквозь этот город в Америку и прошло сквозь него незамеченными.

Пустыня не сохраняет следов; только что вспомнилось, как лежал я ночью в своей комнате на двадцать первом этаже дома, высящегося на углу 50-й улицы и 3-й авеню. Внизу выли полицейские машины; я подумал, каково же тем, кто живет десятью или — не дай бог — двадцатью этажами ниже. Третий ведь раз подолгу живу на этом континенте, а никак не привыкну. Но погодите, ведь это для моего блага полицейская сирена пугает разбойников (те, впрочем, не очень ее боятся); бытовых преступлений очень еще много — глупых, циничных, необъяснимых.

Сегодня, к примеру, метро возле нас не работало в течение получаса. Некто Ричард Пратт, сорока пяти лет, заскучал после полудня в гостинице «Кеймор» на 23-й улице, где он остановился несколько дней назад. В два часа дня вышел из гостиницы, спустился в ближайшую станцию метро на углу 23-й улицы и Лексингтон-авеню, увидел там стоящего на краю перрона тридцатипятилетнего Джулиуса Скалки, ожидающего поезда домой, в сторону Бронкса. Когда поезд приблизился, Пратт столкнул Скалки под колеса. Просто так столкнул. Убийца и жертва не были знакомы. Убийство скуки ради. Или почему?

Заниматься учетом нью-йоркских психопатий — дело неблагодарное и мало кому удающееся. В случаях, подобных сегодняшнему, меня больше всего поражало то, что были они привычны; небоскребы и дома пониже не пошатывало от удивления, город не испытывал желания обвалиться в Гудзон, а неподсчитанные миллионы людей бродили по улицам, наверняка зная, что

сегодня еще один из прохожих непременно угробит другого прохожего — просто так. Вот к этому «просто так» и не привыкнешь. Ни за что нельзя привыкать к этому. А ведь многие в Нью-Йорке не знают, что ежедневно происходит несколько интереснейших выставок; что в «Метрополитен-опере» идет «Аида» и в кассах есть еще недорогие места, можно бы и пойти; на Бродвее и вне Бродвея играют в театрах всё — от Чехова и Олби до веселого, малопристойного мюзикла «Волосы», десяток лет не сходящего со сцены. Только все представления и выставки разбросаны по городам Нью-Йорка, интересные книги, каждая из которых в бумажной обложке стоила не дороже двух-трех пачек сигарет, продавались рядом и в то же время за тысячу миль отсюда.

...Я же вам говорю — вышел на перрон, толкнул человека под поезд, поглядел, как железные колеса перемяли живую плоть. Хотел потом сесть в метро и прокатиться. Не вышло. Арестовали.

Или еще одна история, интересная для меня реакцией пострадавшей стороны. Была этой стороной стотрехлетняя Хетти Ирвин. Названная долгожительница переходила улицу в Бруклине. Двое мальчишек — двенадцати и четырнадцати лет — толкнули старушку на мостовую и забрали у нее кошелек с мелочью на два доллара. Шли по улице люди; автомобили объезжали старушку, которая выделывала невесть какие самозащитные фортели в объятиях двух мальчишек. «Если бы у меня был револьвер,— сказала бабуся дежурному полисмену,— я конечно же прикончила бы обоих...»

У нас пишут о разных нью-йоркских безобразиях, благо примеров множество; я выбрал те два из них, на которые, по-моему, в нашей прессе не натыкался. Ведь ужасно, что есть в Нью-Йорке такие вот маленькие злобные городишки, где старуху ударят во имя двух долларов — и никто не удивится: мало ли что случается в наших песках! Да какие там пески при всем при том — везде народу полно, магазины возле Таймс-сквер, в том числе книжные, работают круглые сутки, и старухи из других городков, побогаче той бруклинской, прохаживаются, и очень тоскливо доживающим женщинам. Если старухам становится очень страшно, они могут купить себе однозарядные пистоле-

ты или готового на все спутника противолоположного пола (был такой фильм у Джона Шлессингера «Полуночный ковбой» — о красивом высоком мальчике Джо, едущем в Нью-Йорк аж из самого Техаса в злое свое и старушечье одиночество; он часть индустрии по преодолению пустоты — недоброй, специфической).

А еще для обуздания одиночества можно купить днем и ночью механических соловьев в белых ивовых клеточках. Соловьи, как и в сказке Андерсена, сплошь китайского происхождения и свистят от батареек, заложенных в дне клетки.

Как-то я купил на сорок второй улице — средоточии всенощной торговли — даже не соловья, а камешек в клетке. Камешек лежит на мягкой подстилочке — обычный кусочек гранита с зашлифованными углами, и зовут его просто: «домашний камешек». Их уже продали больше двадцати миллионов только за последние полгода, это стало модным — иметь собственный камешек в клетке, менять ему подстилку, купать...

Люди, города — бывают они одиноки по-своему, но любое из одиночеств ужасно, любое — укор и вызов всему человечеству, потому что очень страшно, если человеческое существо, гомо сапиенс, погибает от безлюдья в окружении нескольких миллионов существ того же биологического вида.

Люди придумали множество способов избавляться друг от друга насовсем или на время; иногда при этом дается традиционное в Америке обещание: «Ай'л колл ю»,— что в расширенном переводе чаще всего значит: «Я тебе, мол, позвоню, старик. Ты ожидай звонка, но не очень рассчитывай на него,— дел без тебя по горло», или коротко: «Ит'с нот майн!», то есть: «Не мое это дело!» Можно поискать утешения и в одиночестве: на углу респектабельной Парк-авеню и одной из сороковых улиц я видел по вечерам невысокого азиата с грифельной доской. На доске было начертано: «Не уходя с улицы, здесь же, по 50 центов урок, обучаю восточным философиям — наслаждению в одиночестве». Демонстративно стоя спиной к прохожим, знаток восточных мудростей рисовал на доске формулы, среди которых фигурировали «жизненная сила», «простор» и «мысль». Слушателей я не видел ни разу.

Однажды по Амстердам-авеню мимо меня вихрем

промчался пророк в длинном черном пальто — он, живо жестикулируя, время от времени останавливался и вопил, что весь мир дерьмо и на днях он погибнет именно в силу своей дерьмовой природы.

Такого в Нью-Йорке можно наглядеться во множестве, была бы охота.

Можно спуститься в метро, запутанное, немытое, с тремя линиями, пересекающимися на разных уровнях, и поглядеть на людей, устраивающихся на сон грядущий по деревянным скамьям, расставленным в туалетах,— для утепления люди надевают на ноги мешки с рекламными лозунгами лучших универмагов Нью-Йорка и становятся похожими на размноженного героя повести Кобо Абэ «Человек-ящик». Люди эти неконтактны и скрыты в мешках, словно матросы, которых хоронят в океане.

Большинство моих нью-йоркских приятелей было ограблено хотя бы по разу; они относятся к этому едва ли не привычно, словно к дополнительному налогу, собираемому с них беспредельным и неухоженным городом — проходным двором страны (как будет прилагательное от слова «страна» — «странным проходным двором»?).

Но интересно, что именно в Нью-Йорке дольше, чем в других городах, задерживаются на экранах фильмы о чистом воздухе необитаемых островов и лесов — такие, как американский «Иеремия Джонсон» С. Поллока или советско-японский «Дерсу-Узала» А. Куросавы,— люди смотрят все это словно в окно, распахнутое в призабытый мир детских мечтаний, и красивый американец Роберт Редфорд или красивый русский Юрий Соломин, сыгравшие в фильмах главные роли, надолго запоминаются, обсуждаются в газетах и даже на поэтических представлениях. «Актер Соломин живет в большом городе?» — спросили у меня после литературного вечера. «Да»,— ответил я. «Роберт Редфорд тоже. Значит, все это выдумки...»

Так хочется поверить в зеленую приветливость необитаемых островов! Тем не менее, когда несколько лет назад американские авиакомпании начали рекламно бронировать места на первый пассажирский рейс к Луне, нью-йоркцы подали больше всего заявок.

Не буду и в этом месте педалировать на контрастах — все так очевидно; да и легко наблюдать контрасты в Нью-Йорке потому, что в этом городе случается больше дипломатических и великосветских приемов, чем где бы то ни было, а дома напротив Центрального парка по Пятой авеню — одни из самых комфортабельных. Дистанция от верхнего этажа Всемирного торгового центра до залюдненного подземного туалета в метро — как диаграмма.

В самом конце прошлого года на нью-йоркских экранах состоялась премьера широко разрекламированного фильма о Кинг-Конге: кинолегенда о гигантской горилле, влюбившейся в девушку и сражавшейся с вертолетами на крыше высочайшего здания города. Как ни пересказывай сюжет, он по меньшей мере примитивен и не годится в шедевры. Но что интересно: критики, психологи, социологи единодушно возопили после «Кинг-Конга», что все понятно — это фантастический образ чужака в Нью-Йорке, человека, потерявшегося в большом городе, неприкаянного в любви, жизни,— одинокого чужака, каких много.

Такие вот дела. Квадратный метр земли на Манхаттане стоит дороже, чем такая же площадь ковра тончайшей персидской ручной работы; карманный компьютер стоит почти столько же, сколько блок сигарет, а хорошие туфли — как два кассетных магнитофона. Джинсы обойдутся вам в такую же сумму, как простенький обед не в лучшем из ресторанов, а будничный «Нью-Йорк таймс» и авиаписьмо в Советский Союз стоят примерно одинаково. Три билета в кино равны по стоимости модной мужской рубахе, альбому из двух граммпластинок или большой бутылке хорошего шотландского виски. Это я к тому, что в маленьких городках Нью-Йорка все непривычно, и поиски единых и надежных критериев то ли в приметах быта, то ли в человеческих отношениях, как правило, малоуспешны. Нью-Йорк всеяден — это одна из основополагающих его черт; он любит умеющих приспособиться и сам уже не раз приспосабливался к процветанию и банкротству, к нежности, ненависти, заискиванию, безразличию и любви. Здесь бывали все собственно американские мудрецы и великое число мудрецов из других частей света; здесь же не раз ликовали болваны поистине все-

ленских масштабов. Ежедневно здесь рушат здания, чтобы на их месте ненадолго, на несколько десятков лет, возвести новые,— Нью-Йорк любит разрушать свою память; он не культивирует мемориальных досок, но разрешает желающим самостоятельно устанавливать памятники и мемориальные доски — за определенную мзду — хоть самому себе. На Таймс-сквере в магазине сувениров рядом с фотоплакатом, изображающим голого, в чем мать родила, розовенького и глянцевого, недавно смещенного государственного секретаря США Генри Киссинджера в натуральную величину (цена четыре доллара девяносто пять центов),— продаются еще сотни плакатов на любой вкус. За доллар девяносто пять центов (разумеется, плюс восемь процентов федерального и штатового налога) можно купить оранжевый лист, на котором черными буквами очень отчетливо напечатано «Оставьте меня в покое!» и сфотографирован человек, повернувшийся спиной к зрителям. Там же за те же доллар девяносто пять можно купить и плакат со знаменитыми словами американского философа Джорджа Сантаяны: «Кто не желает помнить прошлого, навеки приговорен к тому, чтобы переживать его вновь и вновь». Я же вам рассказывал — у каждого из городишек Нью-Йорка свои зрелища, и собственное чтение, и мудрость вполне своя.

Заканчивая эту главу, я переведу для вас слова одного из очень своеобразных и неоднозначных американцев, странника, экспериментатора, плохого политика и замечательного прозаика Джона Стейнбека. Вот что писал о Нью-Йорке, в котором прожил много лет, автор «Гроздьев гнева»:

«Если ты одеваешься с изысканной элегантностью — в этом городе живет, пожалуй, с полмиллиона людей, которые наверняка устроят тебя с этой точки зрения. Если ходишь оборванным — по крайней мере миллион ньюйоркцев таскает на себе старье еще похуже твоего. Если ты высок, то должен знать, что здесь сосредоточены самые высокие люди в Америке.

Если ты очень низкоросл, помни, что улицы Нью-Йорка кишат карликами. Если ты некрасив, заметь, что между двумя перекрестками ты встретишься с десят-

ком столь совершенных уродов, каких только был ты в состоянии вообразить. Если ты выделяешься красотой, можешь быть совершенно уверен, что все равно не победишь при такой, как здесь, конкуренции... Нью-Йорк страшный, уродливый, отвратительный город. Его климатом является скандал, его уличное движение граничит с психозом, соперничество здесь убийственное, люди — отбросы рода человеческого или, напротив, до такой степени похожи на ангелов, что подозреваешь в этом чей-то рекламный трюк.

Нью-йоркской полицией можно пугать детей. Запахов Нью-Йорка достаточно, чтобы отравить большое заморское государство. Этот город несносен, нормальный человек не должен здесь жить, а тем более работать...»

И тем не менее Джон Стейнбек прожил, повторяю, большую часть своей жизни в одном из странных городов Нью-Йорка, потому что, как заканчивал он приведенную мысль: «...если ты немного поживешь в этом городе, все другие на свете постоянно будут казаться тебе скучными».

Интересно приезжать в Нью-Йорк: он огромен, он и не таких видел; в нем можно разглядеть очень многое, просто разгуливая по улицам, будто идешь по неухоженному дому и, проведя ладонью по запыленной панели, увидишь вдруг, как оживает под пальцами теплая резьба, сотворенная мастером, чье имя забыто, по ореху, спиленному неведомо где и когда. В такой толпе, как здесь, можно оказаться разве что в центре Токио; но и таким одиноким, как здесь, можно быть лишь во сне (сон этот будет очень мучителен), где еще есть на свете такой человеческий муравейник? Маленькие нью-йоркские города просыпаются по утрам, расходятся на работу, засыпают по вечерам — миллионы людей, существующие на расстоянии протянутой руки друг от друга, слышащие дыхание друг друга и тем не менее зачастую друг друга не ощущающие. Когда подлетаешь к Нью-Йорку на самолете и видишь мириады его огней, думаешь о созвездии, каждое светило которого удалено на гигантское расстояние от другого, и только для наблюдателей все эти звезды существуют в одной плоскости, образуя ковши, колесницы и другие сочетания, столь приятные глазу.

Не знаю, как должен был выглядеть трехгранный дом высотой в милю, задуманный для Чикаго великим архитектором Франком Ллойдом Райтом. Это вне моих представлений о жилище; наверное, лишь в будущем человеческая фантазия разовьется настолько, что здания, где жители последних этажей видят птиц только сверху вниз, станут обычным делом. Пока же мой личный опыт жителя многоэтажных кварталов почти не помогает в осознании сегодняшнего отношения американцев к жилью.

Стив Паркер, любитель классического искусства, симпатичный славист из Лоуренса, штат Канзас, рассказывал мне, что жена его, Мари-Люс, француженка, очень хотела жить в доме старой постройки. Чета Паркеров долго приглядывала жилище для себя, пока не откупила самый старый из особнячков, существовавших окрест. Дому этому, висящему на горке у Кантрисайд Лейн, недавно исполнилось двадцать пять лет; по американским нормам это почти предельный возраст для ординарного жилого строения. Стив показывал его так, как во Франции демонстрируют уцелевшие средневековые замки, но в речи моего симпатичного приятеля нет-нет да и проскальзывала чисто американская тоска по некоему новехонькому бетонному чуду, начиненному всяческой электроникой. К старым домам чаще всего относятся словно к женщинам, уже побывавшим в замужествах; даже если среди прежних мужей были киноидолы и вожди индейских племен, в каждом очередном браке это не добавляет жене авторитета.

Мемориальные деревни существуют скорее как памятники годам колонизации Запада, стимуляторы патриотических мыслей: несколько неряшливых срубов из окрестных деревьев и фургоны, обтянутые полусферами тентов,— в каждом вестерне вы можете увидеть весь этот мемориальный джентльменский набор в действии — в Голливуде под Лос-Анджелесом выстроена лучшая из пионерских деревень всех времен, и когда

собирается много любителей поглазеть, свободные от съемок (или никогда не снимавшиеся) статисты устраивают на потеху им веселую стрельбу вокруг фургонов.

В Миннеаполисе, городе, красиво раскинувшемся на берегах обмелевшей Миссисипи, почти в самом центре Соединенных Штатов, я увидел вдруг в одном из чистых и дорогих жилых районов странную конструкцию, очень смахивающую на иллюстрацию к учебнику истории для пятого класса «Как добывали уголь при царе». Конструкция была буро-коричневого цвета, увенчивалась колесом с переброшенным через него канатом небывалой испачканности. Вокруг бурого сооружения на вбитых в асфальт палках сохли брезентовые сапоги и джинсы, имеющие такой вид, словно именно в них были колонизованы Средний Запад, Дальний Запад и, пожалуй, заодно с ними какой-нибудь Восток. Картину дореволюционной шахты из города Юзовка портили лишь «кадиллаки» и «олдсмобили», густо стоящие на идеально гладком и чистенько размеченном асфальте, окружив лакированным табуном растерзанные джинсы и сапоги на палке.

Когда, заинтересованный сооружением, я хотел покинуть автомобиль, из шахты к дверце ретиво бросился человек в адмиральской фуражке и в пуговицах, сиявших с кителя, словно маленькие планеты. Все выяснилось мгновенно: швейцар во флотоводческих регалиях состоял при лучшем миннеаполисском ресторане «Золотые копи». Несколько предпринимателей демонтировали позабытую и заброшенную золотоискательскую шахту, привезли ее в Миннеаполис, отстроили и открыли в ней фешенебельный ресторан. Вот такой вариант музейности оказался приемлемым — шахта с искусственным климатом внутри и с яствами, стоящими не дешевле когда-то добывавшихся здесь самородков.

Миннеаполисский архитектор, с которым мы вместе вышли из автомобиля, широко взмахнул ладонью вокруг: «Ты помнишь этот город? Правда, он стал красивее за последние годы? Строят новые дома — и мои проекты пошли в ход, фирма разрастается,— сейчас возводят не только питейные шахты, стали модными и многоквартирные дома в городе, теперь в них селится

и публнка побогаче, не то что прежде. Загородные дома так же популярны, онн даже возросли в цене, но многие хотят жить без хлопот в центре Миинеаполиса — покупают участок, заказывают проект, строят дом н живут. Генеральных плаиов застройки у нас практическн нет — в вашем поиимании,— поэтому дома разностнльные, иногда — бетоиные этажерки с удобствами, ведь лет через сорок — пятьдесят их сиесут, больший запас прочностн не иужеи. Строят на одну жизнь — свою, никто не возводит жилых здаиий на вечные времена. Что такое вечные времена? Было бы тебе удобио, раз ты накопил денег на определеиный комфорт и готов его оплатить...»

Джек — так зовут моего зиакомого архитектора — одни из авторитетнейших сейчас в Миииеаполисе проектаитов городских здаиий; он улыбнулся, взгляиул влево и указал на высокий дом, стоящий чуть в стороие от скоростной автотрассы: «Вот последияя из моих работ, хочешь, покажу? Я и сам бы не прочь пожить в том домике — он таков, что в огромиом Миинеаполисе ие нашлось еще полиого комплекта достаточио богатых людей, дабы здание заселнть. Человек я теперь ие бедный, ио дом выстроен для людей позажиточиее меня. Вся постройка обошлась предприиимателю в шесть мнллиоиов долларов, и он не успокоится, пока ие возвратит этн деньги. Квартиры в доме — от пятидесяти до трехсот тысяч долларов каждая. Плати — и жилье приιадлежит тебе навсегда».

Перед здаиием раскииулась большая автостояика, н серднтый швейцар следил сквозь стеклянную стену, кто загоняет автомобиль на места, предназначенные для транспорта обитателей дома и гостей их. Джек долго толковал со швейцаром, и тот — неторопливый, в черном, с кольтами иа бедрах, явио отставиой полисмен — выдал иам иаконец карточки-отмычки. Замки в доме отпирались не ключами, а пластмассовыми карточкамн размером с визитную. На прямоугольиой отмычке был зафиксироваи личиый код человека, имеющего честь здесь проживать; узкая щель на двери заглатывала карточку, н дверь отпиралась, еслн замок прочел на карточке то, что хотел.

Квартнры в доме былн одно-, двух-, трех- и четырехкомнатиыми; прн желаннн можно было несколько

квартир объеднннть в одну — проект предусматривал и это.

Даже завистливая фантазия Эллочкн-людоедки не могла бы выдумать ничего подобиого — всех этих стен, обтянутых белой кожей, кондиционеров, одораторов, миксеров н тостеров, вмонтированиых в панели красного дерева, выпрыгнвающих нз кухонной стены, звучащих стереомузыкой, разлитой где-то глубоко под акустическими плитами потолка или под персидскнм ковром пола. Итак, от пятидесятн до трехсот тысяч долларов — н квартнра ваша. Если даже учесть, что американцы, как правнло, считают экономнчным покупать жнлье, обходящееся не более чем в два — два с половиной годовых дохода, то самую дешевую однокомнатную квартиру здесь мог бы приобрести человек, зарабатывающий ннкак не меньше солндного профессора университета. В доме пока что поселяются богатые старики, продающне свои особнячки за городом и въезжающне в такие вот апартаменты — доживать. Здесь спокойнее — отставной полисмен с кольтами предельно строго фильтрует людей у входа. Для приемов оборудованы специальные залы на первом этаже, и вам вовсе не обязательно терпеть у себя в доме говорливых купцов и мастеров расколачнвать мейсенский фарфор. Здесь же, на первом этаже,— дверь, ведущая к плавательному бассейну, скрытому в глубине дома,— только для своих.

Ну, это крайность, такая же, как дом семьи Вандербнльт в Эшвнлле, штат Северная Каролина. В том доме двести пятьдесят комнат и парк вокруг — больше пятидесяти гектаров. Все это стоит 55 миллионов долларов и необычно для Амернкн так же, как и для остального мира. Не могут быть характерными н несчастные старухи, ночующие по туалетам в Нью-Йорке, и мой студент из Лоуренса Юрий Дуда, паренек украинского пронсхождения, родившнйся в Чнкаго, изучающий философню в Канзасе, а для жнлья арендующий комнатку под крышей у капризной старушки. Бабуся-домовладелица обклеила все помещения домика библейскими изречениями и запретила своему квартиранту принимать гостей. Обходнтся вся эта прелесть Дуде в девяносто долларов ежемесячно, не учнтывая счетов за электричество, которые старушка предъявляет отдельно.

А те, кому нечем платить за электричество? А те, кому нечем уплатить за ночлег? Зимой 1977 года мэр Нью-Йорка объявил о чрезвычайной программе помощи замерзающим; согласно ей при некоторых церквах Гарлема и нищенских окраин, прижатых к Гудзону или, сколь это ни странно, сосредоточенных вокруг Колумбийского университета, можно получить стакан чая, во временное пользование одеяло и грелку. В больших городах диапазон обеспеченности, устроенности особенно ощутим — в больших городах оседает основное количество людей с разбитыми судьбами; так на дне океанских впадин собирается больше всего кораблей, которые никогда уже не всплывут.

Я снова говорю здесь о подробностях, но они — из чужого образа жизни. Американцы деловиты до безразличия, до жестокости — замерзающему человеку могут помочь, а может он и вызвать не больше сочувствия, чем кошка под автомобилем; вселенная уменьшается до размеров Америки, Америка уменьшается до размеров собственного жилья. В Соединенных Штатах очень много Америк, и не все они способны на жалость; природа государства так же, как человеческая природа, может быть предельно эгоистична.

Культ удачливого парня необыкновенно последователен — ничего, если чья-то удача может временно законфликтовать с уголовным кодексом. Как правило, массово оцениваются результаты, а не путь к их достижению; Остап Бендер, мечтавший об Америке (правда, Южной), знал, где ему будет лучше всего. На американских плакатах, как правило, изображен широко улыбающийся человек, простоватый на вид, большерукий, очень симпатичный и ежеминутно готовый на все. Я почти не видел плакатов, на которых были бы изображены хотя бы два или три человека, чаще всего один...

До чего же поразительна внутренняя непохожесть этой жизни на нашу. Средние цифры обтекаемы, на них стесаны полюса; в среднем на каждого из американцев, например, приходится больше жилья, чем на статистического обитателя нашей страны; больше легковых автомобилей, больше гостиничных номеров. Но когда сорокадевятилетний кливлендский безработный Роберт Пруш вступил в зиму 1977 года, живя с женой Элен в

старом автомобиле, и знал, что никто не будет ни переселять его, ни лечить бесплатно, я уверен — было ему чихать на все эти статистики.

Я снова подумал, что нелегко оценивать такой сложный комплекс непривычных для нас явлений, как заокеанская жизнь. Когда в юбилейном, посвященном 200-летию США номере журнала «Ньюсуик» шестидесятилетний Томас Аквинас Мерфи, президент «Дженерал Моторс», компании с бюджетом, превосходящим бюджеты большинства европейских стран, сообщает, что в молодости какое-то время был безработным,— в этом есть чисто американское хвастовство: прошел снизу вверх все слои. В том же номере столетний Джордж Зервас пишет: «Я никогда никому не надоедаю. Никто не надоедает мне. Я их встречаю: «Доброе утро — доброе утро»...» И все. Это вполне американская декларация. «Я уже вышел из игры — вас не трогаю, не трогайте меня, мчитесь дальше, сегодня я вам не помеха». Здесь не принято жаловаться. Четыре года назад, во время очередных президентских выборов, сенатор, чьи шансы котировались очень высоко, не выдержал и заплакал от обиды во время телевизионной дискуссии. То, что в Европе могло бы растрогать зрителей, в Америке их возмутило. «Как — плачущий, позволивший себе расслабиться кандидат в лидеры?!» Сенатор выбыл из гонки...

Такова жизнь. Но уроки ее — чужой — не кажутся мне однозначными.

Мы живем в стране, возведшей любовь, внимание к человеку в основы своих политики и мировоззрения; несмотря на все недостатки, которых еще у нас довольно, мы очень добрая, нежестокосердая страна; об этом знают даже те, кто симулирует неинформированность. А давайте-ка подпустим к себе — вообразим на мгновение — жестокость, запрограммированную в капиталистическом мире... Иногда я умышленно ввожу в себя этакую американскую злость, чужестранный прагматизм и не всегда даже успеваю его постыдиться, когда думаю, что немало болтунов и бездельников, барахтающихся на поверхности нашей жизни, пишущих бесконечные жалобы, ничего не создающих, но требующих к себе и своему скулежу особенного внимания, терзающих людей наветами и нытьем, в Америке уже к соро-

калетию своему были б на дне социальной канавы. Официантка, грохнувшая тарелками мне перед физиономией, швейцар, без трешки «в лапу» не пропускающий в полупустой ресторан, токарь, посасывающий папироску в рабочее время,— все они повылетали бы со своих мест, и жаловаться было б некуда, и комнат с дверями, обитыми дерматином, куда у нас кое-кто бегает в поисках заступничества, не нашлось бы. Пьяный, вызывающий «скорую помощь», дабы поблевать врачу в крахмальный халат, заплатил бы и за халат, и за вызов. Прогульщик студент, еле-еле постигающий курс наук, забулдыга телемеханик — все они вылетели бы из американской центрифуги далеко на обочину, и никто бы не оглянулся в их сторону.

Сколько ж мы наплодили спекулянтов на доброте! Да, предоставляем жилье тем, кто в нем нуждается; лечим бесплатно, трудоустраиваем и учим,— но до чего же легко иные привыкли к этому! Не все еще так, как хочется, но если в Америке, в конце концов, человек ест то, за что может платить, то у нас, как побочный продукт государственной доброжелательности, развелись человечки, старающиеся поживиться и поживляющиеся в долг, ничего не делая, и странным образом иные из них вполне благополучны и сыты. Я знаю бездарных и ленивых мальчишек, которых за уши дотягивали до школьных аттестатов зрелости, дабы не портить каких-то там важных статистик, и почти принудительно втыкали им аттестаты в карманы. С восьмой попытки оные юноши, побыв краткое время на армейском довольствии и не снискав полководческих лавров, ничему не научившись как следует, поступали вне конкурса в какой-нибудь институт или техникум. Кое-как доползали до очередного диплома, принудительно направлялись на работу по специальности, приобретенной случайно, разбухали от злости и зависти к лучше устроенным и уважаемым коллегам,— не умея трудиться, писали доносы, мешали всем, но ведь жили же...

Государственная система, при которой часть населения постоянно находится под забором, бесчеловечна. Но я знаю в собственной стране таких людей, что, окажись они под забором, дело социализма только выиграло бы. Побочные — злобные и бездарные — продукты

гуманного общества не украшают его. А сочувствия заслуживают несправедливо оскорбленные, униженные капитализмом люди, чьи судьбы очень сложны,— следует анализировать их вдумчиво, не спеша и по отдельности.

Я пытаюсь уходить от торопливых суждений даже тогда, когда описываю конкретные встречи и беседы на американской земле. Так или иначе, описать увиденное бесстрастно просто немыслимо. Отбор примет, подробностей, лиц — все это индивидуально, и мне кажется, что интереснее заниматься не просто вспоминанием, а осмыслением, если пытаешься осознать явления сложные и великие, приметы бытия иных народов и стран. Собственно, и размышляю я вместе с вами, как же еще?

Одна из главных тем этих очерков — преодоление одиночества. Помните старинную историю о том, как всадники, отправляясь в поход, бросали по камню на одном из перевалов? Возвращаясь из похода, всадники забирали с перевала по камню. Оставшиеся камни были памятником невозвратившимся, погибшим, пропавшим без вести, растворившимся в одиночестве. Сколько б гор выросло в Америке, если бы все, ищущие счастья в этой стране, положили по камню, а те, кто нашел счастье и спокойствие для души, убрали бы свои камни из насыпи. Сколько бы неразобранных гор осталось?!

Здесь можно выиграть жизнь, можно проиграть душу, можно приобрести всемирную славу и можно умереть от стыда.

Я нарочно пользуюсь категориями нематериальными, потому что в игру идут и они — Америка давно уже не простовата, словно ковбой с рекламы сигарет «Мальборо»; Америка полюбит вас, если вы ей подойдете. А если нет?

Вот видите, сколько всего вмещается в одну главу, а мы ее начинали с разговора о человеческом доме, о жилищах, обретаемых людьми на время и навсегда. Раз так, то, пожалуй, пора рассказать еще об одном типично американском сооружении, высящемся на центральной улице Чикаго — той самой, что называется Мичиган-авеню. Дом похож на домну, он имеет форму усеченной пирамиды, весь черного цвета, и на его сте-

нах для прочиости то там, то сям скрещены массивиые балки. Но этот жилой дом достоин упоминаиия потому, что его иазывают «мегаструктурой будущего». В Чикаго есть, впрочем, и самый высокий иа свете дом — стодесятиэтажный небоскреб компаиии Сирса, торгующей по каталогам,— первые пятьдесят этажей принадлежат собствеиио компаиии, а все остальиые оиа сдает в аренду, в том числе огромному кафетерию, иа тысячу семьсот мест, ресторанам и бару, из окон которого даже трезвому наблюдателю город кажется похожим на щетку с иглами небоскребов, прижавшуюся к озеру Мичиган с восточной стороны. Самый высокий жилой дом в мире, семидесятиэтажная Озерная Башня, стоящая неподалеку от пирсов синего озера, представляется с небоскреба Сирса домиком довольно заурядиым, а к северу от нее чернеет за мостом через узенькую и грязную реку Чикаго центр Джона Хенкока, о котором и пойдет речь. Собствеино, речь пойдет скорее о типе домов, представленном такими жилыми зданиями современного Чикаго, как Озерная Башня, центр Хенкока или сооружениые иа несколько лет раньше близнецы — две круглые Флотские Башни. Пока они уникальны и для Америки, но в поисках вариантов завтрашнего жилья, вертикальных городов грядущих столетий, интересно прикоснуться к решениям, уже реализованным, уже известиым в подробиостях,— в дальнейшем рассказе я ничего не домысливаю.

Человек, живущий в одном из новых высотных домов на Мичиган-авеню или у озера Мичиган, по утрам слышит музыку. Это в указанное наперед время включилась стереофоническая система, упрятанная в стенах квартиры. Проснувшись, человек встает с так называемой «водяной кровати», создающей впечатлеиие невесомости, и нажимает кнопку: диктор очень кратко пересказывает все новости в интересующих жильца сферах — программы составляются направлению для каждого; новости включают в себя информацию о погоде Снаружи и о новостях в Доме.

Окна в квартире не открываются — боязнь ветра на большой высоте и кондиционер оставляют окнам лишь витринную функцию. Температура и влажность круглый год поддерживаются на одном и том же уровне, заказанном жильцом при вселении. Впрочем, мелкие

поправки он может вносить ручным регулятором, установленным на стене. В указанное жильцом время ему доставляют завтрак из домовой кухни; если он хочет, может опуститься скоростным лифтом в один из домовых кафетериев и позавтракать там. То же самое и с обедом — могут его привезти в квартиру, а можно — как обычно и поступают американцы — съесть его в одном из ресторанов небоскреба. На первых пяти этажах кабинеты врачей разных специальностей, банк, торговые предприятия всех профилей — от универмагов с одеждой до продовольственных магазинов, там же — центры обслуживания, принимающие на себя практически любые ваши заботы — от пришивания пуговицы до приема гостей.

Как сообщает проспект дома, на пятом этаже можно зарегистрировать брак; в больнице на шестом этаже есть также все условия для рожениц и новорожденных; ясли — на тринадцатом этаже, детский сад — на четырнадцатом, а школа — на десятом. На втором этаже крематорий и погребальные службы. В доме, разумеется, есть гаражи, кинотеатры, библиотека, бар, где для помешивания коктейлей выдают палочку с изображением небоскреба. Есть еще разные подробности: в некоторых домах имеются гимнастические залы, бассейны, а когда я заходил в гости к знакомому, живущему во Флотской Башне, то увидел рядом с рестораном прекрасный крытый каток. Иногда бывает внутреннее телевидение — это давно распространенная забава, особенно в больших американских гостиницах и многоквартирных домах; какое-то время жил я в гостинице неподалеку от небоскреба Хенкока — на телевизоре у меня через день сменялась карточка: «Вы можете увидеть два новых цветных художественных фильма. Нажмите такую-то кнопку и поставьте переключатель каналов так-то. К вашему счету будет добавлено два доллара за фильм. Спасибо».

Все это очень дорого, по цене доступно не многим, очень удобно и очень необычно. Жилые дома высотой в две трети Останкинской телебашни функционируют, строятся: они возможны. Появились у жильцов высотные неврозы — болезни, прежде поражавшие верхолазов и летчиков. Была описана «небоскребная болезнь»,— считается, что причин ей много, между ними

называли и ту, что около пятидесяти тысяч тонн стали, составляющей каркас каждого из обитаемых небоскребов (или даже семьдесят шесть тысяч тонн — в деловом небоскребе Сирса), значительно искажают воздействие привычного магнитного поля Земли на живущих и работающих в таких домах. А еще болезнь приобрела типично американские акценты и стала похожей на ту, которой подвержены жители противоположного полюса социальной структуры — долголетние узники тюремных одиночек. Оказалось, что люди, зажатые между облаками и бетоном, люди, которые — пока что теоретически — могут родиться, вырасти, выучиться, проработать всю жизнь и умереть, не выходя из небоскреба,— люди эти изнывают от одиночества. Одиннадцать тысяч четыреста девяносто пять окон небоскреба Джона Хенкока задраены наглухо, звукоизоляция в домах идеальна, все мелодии, разливаемые стереосистемой, отобраны таким образом, чтобы никакие ощущения, кроме бодрости, не возникали у жителей небоскреба.

И тем не менее... Магнитное поле Земли — вещь, бесспорно, важнейшая, но есть, оказывается, на свете еще голоса птиц, шум травы, плеск воды в горном ручье, мокрый снег, прилипающий к бровям, и, наконец, поле — но не магнитное, а просто поле, где растет кукуруза, бегают не знавшие седла жеребята и стоят домики, в которых настежь открываются окна и слышны голоса, недоступные бетонированной акустике небоскребов.

Меня по всему, что я сочинил в жизни, никак нельзя обвинить в пейзанстве, да и видел я в штате Нью-Мексико среди полей с красивыми жаворонками разваливающиеся домишки, в которых ни за что не согласился бы жить беднейший из чикагских негров. И все же как будет завтра? Где же та самая оптимальная середина, которую вот уже многие поколения людей не умеют найти, пройдя сквозь пещерное обитание, сквозь первый двадцатиэтажный небоскреб, сооруженный две тысячи лет назад в нынешнем Йемене, и сквозь опыт легендарной башни из Вавилона, сквозь дома-крепости Сванетии и Тибета, сквозь незапирающиеся хижины из прутьев и пальмовых листьев жителей Новой Гвинеи, через эскимосские йглу, нейлоновые палатки полярни-

ков и кожаные шатры кочевников? Завтрашний мир не возникнет завтра — его проектируют и сооружают сегодня люди, выдумывающие вертикальные города небоскребов и горизонтальные поселки особнячков. Ну конечно же — и мы вспоминаем об этом — архитектура капитулирует перед образом бытия; все разговоры о зодческих новациях бледнеют рядом с тем, как в гетто Чикаго, Нью-Йорка или Вашингтона (в столице США уже больше трех четвертей населения — негры, и понятие черного гетто звучит тут весьма условно; в Нью-Йорке — каждый четвертый, в Чикаго — каждый третий житель негр) в одной комнате без удобств растут, едят, спят по четыре и по шесть человек. Архитектурная и социальная перестройка городов срастается в одну проблему.

Говоря о том, сколь огромны и разительны перепады между бедностью и богатством, устроенностью и неустроенностью в США, я всегда ощущаю это как доказательства безусловного факта — сколь талантлив, трудолюбив, изобретателен человек труда и сколь жесток капитализм. При нынешней своей социальной организации Америка, умеющая проектировать и строить великолепные жилища, никогда не позволит, чтобы все ее дети жили по-человечески. Небоскреб великолепен на блестящей улице гигантского города; небоскреб страшен, если глядеть на него из трущоб. Но думаю, что великие сооружения Америки всегда будут гордостью народа ее.

...А тем временем американцы меняют свои квартиры очень часто — они путешествуют. В Соединенных Штатах люди очень редко привязываются территориально к одному месту на карте. Сформировав свое население из приезжих, страна эта практически никогда не останавливалась в передвижениях; можно говорить о главных направлениях человеческой миграции, но не о том, что она, скажем, возникла лишь в последние годы. Черное население смещается с юга на север (я приводил уже данные о некоторых больших городах), белое — с востока на запад. (Только с пятидесятых годов население Калифорнии удвоилось, в штате Невада утроилось. В Аризоне, где стоит архитектурная школа Франка Ллойда Райта, население в течение девяностолетней жизни зодчего возросло в сто пятьдесят раз — с

девяти тысяч до миллиона трехсот тысяч.) Каждый третий молодой человек после восемнадцати лет раз в году меняет местожительство; даже после сорокапятилетнего возраста супруги — каждая десятая семья — раз в году переезжают. Многие мои друзья в Соединенных Штатах раз в несколько лет присылают открытки, сообщающие о смене адреса,— существует специальная форма для таких извещений,— но причины переезда не сообщаются почти никогда: это столь буднично и естественно...

Заработав деньги, человек переезжает в район поприличнее; обеднев — в район попроще; сменив работу — на новое место; разыскивая работу — скитается по стране. Наконец, просто странствует по Америкам и по свету. Вы, наверное, и в нашей стране обращали внимание на американских старушек, стайками обступивших экскурсовода; особенно много путешествуют крайние возрасты — старики и молодые; оседлость — относительная, американская — наиболее присуща людям, которым около пятидесяти.

Когда едешь по американским шоссе, очень часто встречаются целые поселки из трайлеров — еще один, чисто здешний вариант жилья. Трайлеры — вагончики размерами от нашего «рафика» до железнодорожного пульмана — стоят, сбившись в кучи, привязанные, словно лошади на привале, к низеньким столбикам, чуть высящимся над асфальтом. Выродившиеся (переродившиеся?) фургоны первых переселенцев.

Столбики, к которым трайлеры прикручены, содержат в себе электрический кабель и выход водопроводной трубы, к которым фургончик присасывается немедленно — разумеется, за определенную плату, от доллара в сутки и выше. На трайлерных стоянках есть центры обслуживания и сторожа, что (особенно последнее) для одиноких странников небесполезно. Издали все это смахивает на цыганский табор — с бельем, сохнущим между столбами, с кострами на специальных площадках.

На перевале, по пути из штата Юта в Неваду, там, где скоростное шоссе номер 70 сращивается с шоссе номер 15, поворачивающим на юг, я увидел на смотро-

вой площадке трайлер с номерными знаками горного штата Колорадо. Трайлер был прицеплен к еще крепкому «бюику» 1971 года, и возле него стояли двое умытеньких, седеньких американских старичков. Я представился; старички заулыбались, но когда я им совершенно честно признался, что могу где-нибудь написать о нашей встрече и разговоре, фамилию свою решили на всякий случай не называть.

Жил старик со своею старухой у самых Скалистых гор, в красивом курортном штате Колорадо, недалеко от Денвера, так что и большой город был под боком. Старик работал в Джорджтауне счетоводом у Вулворта — подсчитывал прибыли и убытки в дешевых универмагах, куда чаще всего заходили случайные люди,— Джорджтаун расположен неподалеку от Вейла, если ехать по этой же семидесятой дороге, а Вейл — курорт знаменитый: туда даже президенты заезжали раз в год покататься на лыжах с горки. Были ли у супругов дети, я не узнал — американские дети очень рано отделяются от семей, уходят, и родители зачастую не знают, где находятся их чада,— об этом со стариками не всегда следует разговаривать.

Три года тому назад глава семейства вышел на пенсию, продали они со старухой свой домик, положили деньги в банк; домики в модных горнолыжных окрестностях очень подорожали. С тех пор странствуют. Приглядывают домик попроще, но поудобней, в котором можно было бы дожить свои дни; вот надо бы съездить в штат Айдахо — это как раз по дороге номер 15, через Солт-Лейк-Сити на север: в каталоге пишут, что есть там такие домики. Минувшую зиму провели на мексиканской границе — сэкономили на отоплении и на теплых вещах, надоели все эти обогреватели еще в Колорадо. Но в Нью-Мексико слишком уж жарко, и ей (старик кивнул на старушку) не нравятся мексиканцы, очень они шумят. Трайлер стоил три года назад около пяти тысяч; сейчас такие продаются по семь с половиной. Путешественники очень гордились некогда сделанным удачным приобретением и предложили мне его осмотреть.

Трайлер и вправду был очень удобен. Фургончик размерами с полтрамвая был внутри обит мягкой тканью, под которой скрывалась отопительная сеть, ра-

ботающая от автомобильного аккумулятора, а при потребности — автономно, на дизельном топливе. Была там газовая плита с баллоном, кран с мойкой, работающий либо от водопровода, либо от цистерны, скрытой в потолке фургончика. Был диван, раскладывающийся в огромную мягкую постель поперек трайлера. В заднем отсеке душ, туалет — все очень компактное, удобное, по заверению хозяев, исправно функционирующее.

Старички сказали мне, что по дороге они встречали целые автоколонны сельскохозяйственных сезонников и строительных рабочих, странствующих таким образом,— только по номерным знакам автомобилей можно было определить, кто откуда приехал, из каких мест начал свой путь в поисках капризной удачи. Никого ни о чем не спрашивали: у каждого собственные дела, к старичкам отношения не имеющие. Встречались, как правило, у бензоколонок: там всегда можно получить бесплатно карту, купить «кока-колу» или «севен ап» в жестяной банке и воспользоваться дармовым туалетом, дабы не перегружать собственный.

Вообще в Америке можно жить, не только не выходя из небоскреба, но и не выходя из автомобиля. Есть магазины «драйв ин», где покупки совершаются из автомобиля, церкви «драйв ин», кинотеатры «драйв ин». Моллюски в разноцветных коробочках движутся по автострадам, заливают в себя бензин у автозаправочных шкафов; чуть-чуть приспустив окно, принимают сквозь него поднос с пищей; сквозь ветровое стекло видят птиц, скачущих по обочине...

Погодите, о птицах ведь мы уже вспоминали. Когда разговаривали о «небоскребной болезни» и человеке, отделенном жильем от мира. Знаете, что в рассказе стариков удивило меня? Что за три года путешествия в трайлере они не завязали по-настоящему важных для души знакомств, не обогатились местностями и людьми, без которых трудно было бы жить дальше. Птица за ветровым стеклом и человек, едущий по шоссе рядом, одинаково безразличны. Журналист? Ну ладно, покажем ему наш симпатичный трайлер, познакомимся — и до свидания, журналист-писатель, незачем тебе знать нашу фамилию, не твое это дело. «Айда в Айдахо!» —

написал я пальцем на запыленном боку «бьюика», впряженного в фургончик; тут же стер — секрет стариковского маршрута да останется с ними. Мы нежно пожали друг другу руки, и я уехал,— думаю, что минут через десять путешественники обо мне и не вспомнят; они не обременяли памяти, старикам хотелось дожить поспокойнее — ни одного вопроса они мне не задали, да и мои вопросы ограничили до самых простых.

Америка передвигается в самолетах, автомобилях, лифтах, поездах и еще бог весть в чем. Америка вся в движении, и нет ей покоя; американские домики громоздятся друг на дружку и становятся небоскребами, опускаются на колеса и мчатся по зеркалам шоссе, окружают себя деревьями и становятся хижинами в лесу. Иногда домики разбиваются, и человек, внезапно видимый отовсюду, становится голым, как садовая улитка без ракушки.

Американцы строят интересно и много: города возникают на конъюнктурах, мгновенно разрастаются и скоропостижно хиреют; люди перемещаются из города в город, из штата в штат — грохочущие повозки первых колонистов никак не станут историей, бронзовые кони на монументах выглядят как живые. В Америку ехали поодиночке, реже — семьями, совсем редко — деревнями; маленькие частички великих и малых народов мира существуют подчас, словно географическая карта, изорванная в клочки, из которых очень непросто восстановить образ планеты, покачивающей всех нас одновременно на терпеливых боках.

Любят говорить в Америке о «зданиях века», перелистывая альбом с небоскребами; о «скандалах века», вспоминая про Уотергейт; о «фильмах века», просматривая ленты Гриффита, Эйзенштейна или Кубрика; о «преступлениях века», называя так ограбление вагона с деньгами или убийство президента. Когда пресса формирует размеры каждой сенсации, все становится особенно ясным. Но в гостиничном коридоре тихонького мотеля «Тревел Лодж» возле Лоуренса случайный сосед, с которым надо было разминуться, увидел в руках у меня газету со статьей об очередном «событии века» и сказал мне слова, которые я запомнил и записал: от

соседа попахивало спиртным, как эликсиром откровенности. «Знаешь,— сказал он,— преступление века не в том, что президента ухлопали. Противно, конечно, и по-человечески жалко, но президент будет новый. Преступление века в том, что человек человека не всегда слышит и видит; ведь самые страшные — преступления против человечности...»

Человек был немолод и разговаривал, глядя прямо перед собой; я пропустил его в узеньком проходе возле ящика со льдом, зачерпнул из ящика холодных кубиков, сколько было мне надо, и возвратился в номер.

Здесь я попробую суммировать свои, так сказать, академические впечатления, не то чтобы все, но, во всяком случае, такие, которые были характерны для всей поездки. Поэтому глава вполне может получиться достаточно рассудительной и серьезной, как подобает главе, сочиненной профессором.

Впрочем, в Америке профессоров очень много. Едва ли не все школьные учителя ходят в профессорах разного рода, да еще и преподаватели университетов, зовущиеся профессорами традиционно: очень много в Америке профессоров, не меньше, наверное, чем у нас писателей и журналистов, вместе взятых, и это лишний раз свидетельствует о том очевидном факте, что звание само по себе не говорит еще ни о чем. Некоторые из американских бродяг величают себя ангелами, но крылья у них все равно не растут.

То, что в Америке званиям не поклоняются, нашло, наверное, отражение в огромном количестве директоров, президентов и председателей, профессоров, премьеров и даже королей (король юмора, король нищих, король фруктов), существующих и действующих в стране между Тихим и Атлантическим океанами.

Я просто был обязан написать такое вступление к главе, потому что терминологические разъяснения надлежит сделать уже вначале — это старое и хорошее правило, позволяющее избегать путаницы в привычных читательских представлениях. Какое-то время мне довелось преподавать в университетах, а значит, я был профессором,— и слово это, начертанное на афишах, предварявших мои выступления, вовсе не профанировало высоких титулов моих киевских, московских или тбилисских друзей, обремененных соответствующими документами и профессорствующих с полным знанием своего дела и положения в обществе. К моему титулу было, надо признаться, добавлено уничижающее словечко «гэст» — «гэст-профессор», то есть профессор в гостях — приехал, мол, и уехал, а нам дальше работать.

Теперь, когда я попытался ввести свой титул в систему уже существующих за океаном, сразу же скажу вам, что профессорство было интересным, и, надеюсь, небесполезным для обеих сторон. Студенты и разного рода американские профессора приходили на мои вечера и лекции без опозданий, задавали много вопросов и сами охотно отвечали на вопросы, возникавшие у меня. Ситуация облегчалась тем, что на многих моих лекциях — в Канзасе, к примеру,— присутствовал Джеральд Майклсон, председатель департамента славистики, по-нашему это вроде как заведующий кафедрой и конечно же профессор.

Если говорить очень серьезно, то я благодарен Джеральду Майклсону прежде всего за то, что он давно понял, насколько важен для американцев разговор о советской литературе и советской жизни, насколько много в Соединенных Штатах людей, желающих нового знания о далекой от них стране — во всех смыслах далекой,— непредубежденного знания, жажда которого естественна в человеке. В американцах желание знаний о Советском Союзе выболело, и, неутоленное, оно по-разному восполняется людьми из разных слоев общества. Моя признательность таким людям, как Джеральд Майклсон, организовавшим выступления, была связана и с их деловитостью. Лекции о советской литературе и творческие вечера одного из советских поэтов (то есть мои) ни в коем случае не носили характера очередного политического мероприятия (в каковые — при некотором желании американской стороны — они легко могли обратиться). Мы разговаривали откровеннейшим образом, предъявляя друг другу претензии, объясняя их или отвергая в дальнейшем, но беседуя и споря, как правило, очень конструктивно и конкретно. Так или иначе, русский язык сейчас, пожалуй, единственный из иностранных языков, изучаемых в США, популярность которого хоть понемногу, но возрастает, а ведь американцы ни за что не усердствовали бы в постижении бесполезных наук. Только не легки эти штудии.

Я просмотрел книги, расставленные по полкам на факультете славистики, служебную библиотеку самого Майклсона, и поразителен был этот коктейль из советских учебников, американских пособий, случайных книжонок, усердно рассылаемых антисоветчиками, много-

томного Маяковского, с трудом раздобытого профессором в Ленинграде, и сочинений беглых княгинь, балующихся стишками в парижских апартаментах и публикующих оные стишки за собственный счет. Знание о нашей стране американец — даже профессор — может добыть, лишь просеивая гигантские мусорные кучи дезинформации, сортируя зерна самого разного рода, которых в итоге может набраться и на жемчужное ожерелье, и на корм петуху. Нас издают неинтересно и мало. То, что переводы американской литературы составляют седьмую часть всех зарубежных переводов, выпускаемых в СССР, примером для заокеанских издателей — увы! — не стало, и страдают от этого прежде всего американские же читатели — мне говорили об этом во многих частных и общественных библиотеках со всей искренностью.

Впрочем, будем реалистами. Можно было бы удивиться, найди я на полках у канзасских славистов библиотеку, аналогичную тем, что имеются на литературных кафедрах наших университетов, и наоборот. Миллион факторов, учтенных и не учтенных нами, тому причиной. И все-таки в конце концов, когда я оставлял в подарок университету советские книги, привезенные мной в сугубо частном порядке, подумал: а почему мы не рассылаем некоторых книг прямо из издательств по зарубежным университетам? В самой Америке такая практика обычна: редакции, издательства, даже некоторые авторы сразу же предназначают часть тиража для пропаганды (или, скажем спокойнее, для рекламы). Я интересовался в библиотеке Канзасского университета — огромном, великолепно оборудованном книгохранилище — фондами. Что же, огромное количество самой разной литературы университет получил в дар,— при этом почти всю антисоветчину. Стоят, например, «диссидентские» сочиненьица в общем алфавитном порядке, пальцами не захватанные: я просмотрел формуляры и убедился, что за два-три года у иных визгливых книжиц было по единственному читателю, а у других не было вовсе. А их же присылают, раздают, презентуют, проталкивают и вообще делают с ними все, что необходимо, дабы книга все-таки встала на университетской полке. А все советские книги закуплены университетом у СССР за валюту. А может, и нам порасходоваться

бы — рассылать многое за границу бесплатно — не обеднеем. Я знаю, что существует интенсивнейший книгообмен и система книжных даров, используемая нами. Но, как убеждался я, этого мало; ведь даже популярнейшая «Литературная газета» никогда не относилась к своей «дармовой рассылке» с убежденной серьезностью — пусть, мол, выписывают...

Вот и получается, что специалисты по советской литературе, особенно будущие студенты, советской периодики не читают, даже самой тиражной. Выписывают они не много, библиотеки тоже не балуют своих посетителей, а жаль...

Итак, я выступал в университетах штата Канзас, а затем в университетах других американских штатов. Слушали очень хорошо; все, что из моих сочинений переводилось на английский язык, слушатели предварительно прочли — американцы любят встречаться с людьми, которых они хоть немного знают. Традиционный их прагматизм породил некую таблицу сравнительных ценностей, согласно которой в Соединенных Штатах воспринимаются гости. Такой уж это чужой монастырь со своим уставом.

Если ты совершенно никому не знаком, на сочинение верительных грамот или их уточнение уйдет неизбежное время; этому не следует удивляться — людей здесь принимают на веру весьма неохотно. И многие вопросы задают не для выяснения истины о чем-то, а для выяснения истины о тебе. (Совершенно естественно, что меня проверили «для доследования» — «на диссидентов», «на Никсона», «на хиппи», и с каждым моим ответом, чем искреннее он был, тем легче складывалось продолжение отношений. Я уверен, что, окажись я в Канзасе через год, мне задали бы примерно те же вопросы, как задавали их и прежде, дабы оценить возможные изменения, случившиеся во мне...)

Любая американская аудитория разношерстна, разнообразна по своим убеждениям и вкусам,— попытки потрафить ей заведомо обречены на неудачу, ибо из двадцати слушателей пятеро могут придерживаться одной точки зрения, семеро — другой, а восемь человек вовсе никакой не иметь.

Самое обидное, если говорить об основной массе моих слушателей — от океана до океана,— это незнание

элементарных вещей о нашей стране, растворение главного в массе деталей, причем такой вот американский незнайка явно не с неба свалился, а был умышленно сконструирован, выстроен, воспитан.

В утешение мне — и доказательно — говорили, что американцы мало знают о Франции, Испании или соседней Латинской Америке; утешение, конечно, слабенькое, если еще учесть всю специфику незнания о нас. Разношерстность аудиторий определялась, как правило, тем, что часть слушателей нахваталась враждебной нам информации, часть, не веря слишком уж явным вракам, выдумала собственный образ Советской страны, а основная масса попросту удивлялась, получая любую информацию о СССР, ибо никакой не имела.

Если бы я жил в США постоянно, то, очевидно, тоже б не многое о нашей стране знал. Откуда? В газетах (даже очень солидных) единственной информацией из СССР в многостраничном номере может оказаться сообщение о том, что такая-то жена американского дипломата в Москве выписывает питание для своей маленькой дочки из Голландии.

Или: милиционер остановил на улице американского подданного мистера Смита и сделал ему какое-то замечание.

Или: шибко популярному среди западных журналистов «диссиденту» такому-то отказано в приеме в Кремле. И так далее.

Я убежден, что все упомянутые события (если их за события считать) могли случиться. Но, становясь единственной информацией из нашей страны за день, они приобретают звучание несоразмерное, и, естественно, меня вопрошали, как же там щелкают беззубыми челюстями советские детки, лишенные голландских харчей; как же быть американским туристам, если милиционеры хватают их на каждом шагу; как же это так, что в Кремле никого не принимают.

То, что значительная часть американской прессы застыла именно на таком давно осмеянном мыслительном уровне времен «холодной войны», чести ей не делает. Я нарочно сказал здесь не «американская пресса», а «часть», ибо сам давал интервью нескольким газетам, выступал по радио. Когда у журналистов в штатах Висконсин или Канзас я спрашивал нечто вроде «Как же

вы это так — и не стыдно?» — мне отвечали: «Мы в Москве корреспондентов не держим, информацию о вас получаем централизованно — с аккредитованной у вас публики и спрашивайте...» «Спросишь с них, как же!» — говорил я сам себе, даже не обижаясь уже, а удивляясь, что во времена, когда космические корабли стыкуются на орбитах, а по Луне разъезжают электромобили, знание о жизни на огромной части земного шара пребывает у большинства американцев на вполне доколумбовом уровне.

Не я первый пишу об этом и очень боюсь, что не я последний. Довелось мне встречаться с множеством умных американцев, которые не хуже меня понимали, что, хочет этого кто-нибудь или не хочет, завтрашняя планета должна быть такой, где разные народы будут мирно жить рядом; вариант сообщества, шесть десятилетий назад предложенный нашей страной, нагляден. Можно не любить его, можно не принимать, в конце концов, но ложь и дезинформация никогда не принадлежат к достойным методам выяснения отношений.

Биография Америки очень сложна. Представители множества наций, рассеявшихся по США, ищут свое место на свете, и скрываемый от них советский опыт не становится менее убедительным от утаиваний.

Исподволь, незаметно людей можно приучить ко всему. Совершенно бесспорно, что советский школьник знает о Соединенных Штатах много больше, чем американский студент знает о СССР; но, рассказывая о том, кто, чего и сколько издает у нас об Америке или из американской литературы, я ловил себя иногда на ощущении, что некоторые мои слушатели воспринимают все эти речи как аргумент для утверждения в своем патриотическом неведении.

«До чего же мы интересные! Все знают нас и читают! Вот будете вы интересны — и вас почитают...»

Но таких мастодонтов было, к счастью, не много.

Интересовались либо вечными материями (третьекурсник Гэри Рой написал по-русски во вполне грамотной контрольной работе: «Я просто современный человек. Я искатель мудрости»), либо конкретными темами, как Джон Уайт. Джон, чернокожий студент, посещал мои занятия в Лоуренсе; фамилия у него была стран-

ная — Уайт,— очевидно, один из плантаторов несколько веков назад позабавился, дав его предку фамилию-кличку Белый.

Джон Уайт был похож на многих черных студентов, которых я видел ежедневно,— копна волос с мелкими пружинками прически «афро», в которую после лекций можно втыкать шариковую ручку (так студенты и делают), большегубое лицо выходца из Африки...

Оказалось, что не из Африки. Отец Уайта — армейский офицер, образованный человек — служил в Западной Германии и там женился на немке. Двадцать пять лет назад у белокурой и белокожей мамы родился мальчик, которого нарекли Джоном. Он рос среди немецких детей и начал учиться в немецкой школе. Когда отец вышел в отставку, семья Уайтов переехала в США и поселилась на тихой ферме Среднего Запада. Джон работал на фермах, трудился, выпекая булочки в здешней пекарне; приобрел некоторую материальную самостоятельность и пошел в слависты.

«Почему, Джон? — спросил я.— Что тебя привлекло в советской литературе? Как ты решаешься стать первым чернокожим славистом в Соединенных Штатах?»

«Это правда, чернокожих славистов у нас нет и специалистов по советской литературе не много,— ответил студент.— Но еще в Германии меня заинтересовала ваша культура и ваша жизнь. Чернокожие студенты не очень любят меня: я ведь неведомо кто — полунегр-полунемец. А я говорю, что надо бы им подучиться, как у вас живут и работают русские и нерусские вместе,— вы же Союз, правда? Прав я, что хочу побольше узнать о вас? Мне ведь надо...»

Конечно же я считаю, что все принявшиеся за изучение советской культуры глубоко правы. Надо быть оптимистом, вчера еще в США несравнимо меньше студентов стремилось к углубленному знанию о нас. Когда девять лет назад я сюда приезжал впервые, абсолютное большинство моих американских знакомых даже не догадывалось, что в Советском Союзе есть культуры, творящиеся на других языках, кроме русского. Сегодня для них откровением было уже то, что наша литература создается на семидесяти шести языках, и слушатели записывали себе в тетрадки названия хотя бы

первых по массовости десяти — двенадцати из них. Даже элементарные сведения о литературах Украины или Грузии, Латвии или Казахстана воспринимались с такой благодарной заинтересованностью, что я мог быть только признателен тем университетским профессорам, которые организовали мои выступления, и тем студентам, что ощутили потребность в них.

Все мои впечатления от собственных литературных вечеров в США находятся на перекрестке радости от встреч с людьми заинтересованными и добрыми — с шумными аудиториями, друзьями, которых хотел бы видеть у себя дома, и обиды за то, что столько злости и лжи выстроилось высокими стенами между народами наших стран.

Я вообще уверен, что любой народ сам по себе не бывает злым или добрым, шовинистическим или равно любящим всех. Душевное устройство нации социально, и чтобы в американцах — многоязыких и мультитрадиционных — воспитать неуважение к какому-либо народу, надо очень долго и очень гадко стараться.

Скажу чистую правду: привыкнув в Америке скорее к национальному безразличию, чем к шовинизму, я очень болезненно ткнулся в этот самый шовинизм в городе Медисоне, столице штата Висконсин.

Выступил я в Медисоне на двух творческих вечерах, встретился с самыми разными аудиториями, походил немного в поэтах-профессорах неизвестных моим студентам литератур и, выяснив примерный круг вопросов, радовался преодолению пропастей взаимного отчуждения, вырытых между нашими странами весьма усердными и умелыми канавокопателями. Тем обиднее огорошил меня громко заданный — выкрикнутый — вопрос: «Почему все украинцы антисемиты?»

Поскольку я сам украинец, то чувствовал себя оскорбленным сразу несколько десятков миллионов раз. Попробовал ответить тотчас же, что не понимаю и не принимаю вопроса, а дома у себя с одинаковой энергией даю по физиономии мерзавцам, изощряющимся на тему о том, что все грузины торгуют мандаринами и вином в розлив, все русские хлебают лаптями щи, а все евреи взяточники и жулики.

Шовинизм мерзок в любой стране, а в моей он побежден революцией и наказуем по закону, я сказал об

этом. Но вопрос был повторен так, будто я имел дело с глухим: «Почему все украинцы антисемиты?»

Человек, задавший вопрос, перечислил места еврейских погромов, случившихся в царские времена, рассказал очень громким голосом — не мне, на аудиторию — о Петлюре, Махно, Бандере. Даже Бабий Яр был упомянут как место избиения евреев в столице Украины, а памятник, всенародно возведенный в Бабьем Яре, обвинен в том, что на нем нет надписи об уничтожении евреев в Киеве. Человек рвался проверить документы у мертвых; он не слушал, когда я пытался рассказать о подлой царской черте оседлости, о классовости преступлений против наций, о собственном отце-украинце, арестованном гестаповцами в Киеве, о евреях, которые прятались в украинских домах — и в нашем,— потому что враг был общим и никогда не было большего преступления, чем натравливание нации против нации. Говорил я о Бабьем Яре: о советских военнопленных, партработниках, партизанах всех национальностей, поставленных под одни пулеметы с евреями. Попытался даже рассказать о киевлянине Шолом-Алейхеме и о том, скольких еврейских поэтов переводил я на украинский язык. Человек перебил меня и повторил свой вопрос с упрямством кукушки из ходиков: «Так почему все украинцы антисемиты?»

Ах, как прекрасно я понимал, что вопрос не адресуется мне. Я знал, что профессор Генри Шапиро — так звали человека с вопросом — умышленно сеет в аудитории дезинформацию и злость, недовольный добрым тоном нашего разговора. И еще я знал, что в течение долгих лет профессор Генри Шапиро, преподающий сейчас в университете штата Висконсин, заведовал в Москве корреспондентским пунктом Юнайтед Пресс, распространяя информацию о нас по всему свету. Уж не он ли многие годы внушал моим слушателям, что киевляне пьют кровь еврейских младенчиков?

Не хочу больше об этом: добрых людей мне встречалось в Америке гораздо больше. И когда в бульварных газетках рисуют кровожадного комиссара с охапкой бомб в руках, я счастлив знать, что все меньше людей верит таким картинкам. И писаниям на уровне этих картинок.

Профессор Майклсон, чье имя я вспоминал в этой

главе,— датчанин по происхождению («Как ваш Даль, составивший бессмертный Толковый словарь»,— смеется Майклсон). Он одним из первых в Америке ввел основательное изучение советской литературы на кафедре в Канзасском университете.

Майклсон и его коллеги настойчиво ищут путей более глубокого и плодотворного знания, это стало профессиональным и жизненным принципом не только для них.

В Соединенных Штатах как нигде, пожалуй, важна роль профессора — или уж называйте преподающего человека как угодно. Стандартных учебников в этой стране практически никогда не существовало даже в школах; только для постижения школьного курса истории, например, существует больше двух тысяч различных пособий.

Тем выше значение человека, рассказывающего первым, первым направляющего внимание и ответственность слушателей своих.

Америка огромна. Переезжая из штата в штат, я ловил себя на мысли, что эти города, рощи, шумные университеты так далеки от моей Родины, так не похожи на наши и тем не менее близки мне. Люди, с которыми я встречался и перед которыми выступал; аудитории, где чужой язык пульсировал в гортани, отдавая мне самые важные слова для разговора о главном,— это было непростым и недоверчивым миром, все лучше понимающим, что ненависть убийственна и сеятели ее — враги.

Дезинформация — тоже ведь разновидность ненависти и страха; замалчивание — разновидность дезинформации.

Я начинал эту главу с терминологических уточнений и заканчиваю ими; есть ведь слово, очень авторитетное за океаном,— «знаток», то есть человек, хорошо разбирающийся в избранной области знаний, специалист.

Со всей убежденностью заявлял я на выступлениях, что нельзя считать себя знатоком современной советской поэзии, например, без знаний о Бажане, Тарковском или Абашидзе, Слуцком, Ахмадулиной, Марцинкявичюсе и Сулейменове, Кулиеве, Вациетисе, Севаке или Чиладзе, Виеру, Зиедонисе, Чарквиани, Каноате и

еще многих, многих, многих советских литераторах, о которых мои слушатели, как правило, понятия не имели.

На этот раз я побыл в профессорах всего лишь два месяца и знаю, что не успел рассказать даже малой части всего, кажущегося мне столь важным для взаимного познания. Умная, думающая Америка — я выступал преимущественно перед такой — все интенсивнее записывает своих детей в начальные классы великой школы взаимопонимания и дружбы.

Дорога строится. Как на всякой дороге, здесь тоже порой взвизгивают тормоза и вмятые машины сбиваются в кучу — кто-то соорудил завал, кто-то нарушил правила, кто-то швырнул бревно поперек осевой линии. Преодолеем и это.

В Финиксе, штат Аризона, после выступления в университете мне сказали: «Здесь бывали уже поэты из разных стран — и советские; мы живем в сердце пустыни — видели? — но и в песках деревья проросли, люди поэтов слушают — все пустыни преодолимы...» Ведь вправду все пустыни преодолимы; вера эта прекрасна, стоит для нее жить и трудиться.

После такого, очень серьезного заявления я позволю себе закончить главу историями повеселее.

В Уэлене на Чукотке мне показали как-то очень красивую лайку с голубыми глазами и независимым колечком пушистого хвоста. Имя у лайки было довольно странным — Диверсант,— и я удивлялся ему, но узнал, что лайка перебежала на советскую территорию из Америки по льду.

Когда я рассказал об этом своим американским слушателям, они никак не могли поверить, что лайка, даже американская, в состоянии пересечь океан. Никто не помнил, что ширина Берингова пролива всего лишь несколько десятков миль. Тогда я нашел в своей папке американскую карту автомобильных дорог — все на ней было нарисовано точно, и сомнений в расстоянии больше не оставалось. «Да,— сказал один из моих студентов,— проморгали собачку с таким знанием географии...— Помолчал, подумал и сказал уже серьезно: — Я недолго поработал на Севере. Там в пурге и в ночи люди точно выяснили, что поодиночке выжить нельзя. Всегда, когда назревает опасность, народы ищут под-

держки друг в друге. Вот пойду я на американский берег Берингова пролива, посвищу — может быть, лайка вернется и расскажет мне о том, что люди узнают и воспринимают столь трудно, такой дорогой ценой...— Взглянул на меня и добавил: — Вам же говорили, что это не только с вашей страной так? Вон Пьер Элиот Трюдо, премьер-министр соседней Канады, только что протестовал, так как у нас его официально назвали канадским президентом...» Что с другими странами бывает по-всякому — это факт; только что, бывши в Чикаго, вычитал в воскресном выпуске солидной «Чикаго трибюн» сообщение туристской фирмы, советующей съездить в Вену: «Теперь там все меню печатаются и по-английски, а не только на австрийском языке, как раньше...»

И все же — на всех языках сразу: «австрийском», «австралийском», «аргентинском» и «американском» в том числе,— надо говорить о взаимопонимании, мире и необходимости жить, сотрудничая, а не воюя. Да разверзнется слух у глухих, да замолкнут все те, кто не прав...

В последнем издании «книги мировых рекордов Гинесса», очень популярного в США справочника, зарегистрировано, что мужчиной, бракосочетавшимся больше всех других (из жителей стран, где принята моногамия), является американский гражданин, некий Глинн де Мосс Вольф, официально вступавший в брак девятнадцать раз. Впервые он женился в двадцать три года, а последний (пока) раз — в шестьдесят один. Американский же миллионер Томас Ф. Менвилл, умерший десять лет назад, женился тринадцать раз, с последней из жен, двадцатилетней Кристин Папа, он сочетался в шестидесятипятилетнем возрасте. Среди женщин рекорд брачной неудержимости тоже принадлежит американке, барменше из Лос-Анджелеса Нине Эвери, к сорока восьми годам разводившейся шестнадцать раз. На суде барменша жаловалась, что пятеро мужей (включая последнего) ломали ей нос, а это само по себе может возбудить отвращение к жизни в супружестве.

И в то же время Соединенные Штаты далеко не однозначны в матримониальных вкусах своих подданных — по количеству разводов им очень далеко, скажем, до Швеции: в США разводов случается — на сто пар, вступивших в брак,— почти столько же, как в Дании, имеющей в этом смысле репутацию самую респектабельную. И даже развеселые женихи и невесты вроде названных мной вначале не в состоянии повлиять примером на множество американских семей. В конце концов, та же «Книга мировых рекордов Гинесса» сообщает, что супруги Холден из штата Кентукки отпраздновали 7 мая 1972 года восемьдесят третью годовщину со дня своей свадьбы.

Если измерять личную жизнь американцев параметрами, привычными для нас, то окажется, что в стране вполне достаточно счастливых супружеских пар, воспитывающих детей, следящих за своим домом и вообще живущих, как большинство известных нам супругов на свете. Среди моих американских знакомых у большинства семейная жизнь сложилась вполне традиционно;

лишь один из них женился дважды, но и это не выходит за пределы норм — ни статистических, ни моральных. Итак, уже в начале главы я позволю себе заметить, что институт брака сохранился пока в Америке, несмотря на многоязыкие смачные репортажи о немыслимом американском разврате, едва ли не вошедшие уже в «порноиндустрию», подчас сочиненные ну прямо-таки с точки зрения потрясенного конотопского гимназиста, впервые увидевшего голую тетю, или президентского проповедника Билли Грехема, возопившего публично: «Грех грядет на род человеческий, отравляя кровь нашу...»

Я здесь не о грехе, хоть разговор о нем всегда весьма интригующ, особенно для публики непорочной. Я подумал сейчас, что лишь в Нью-Йорке, скажем, по статистике, около миллиона совершенно одиноких людей. Все грехи в моем представлении бледнеют перед грехом доведения человека до ненужности; подумалось: откуда ж столько одиночеств у людей пожилых, если в молодости всем так развратно, беззаботно и весело?

Всем? Так развратно, беззаботно и весело?

Если вам придется быть в Нью-Йорке, то, конечно, вы непременно прогуляетесь в центре — по Таймс-скверу и 42-й улице, а может быть уйдете и глубже, в странные просеки нижних улиц Манхаттана, где на прилавках, за витринным стеклом магазинов и неисчислимых зрелищных заведений обнаружите та-а-акое!

...Сразу же сообщу вам, что, насколько мне известно, люди занимались любовью в течение всей истории человечества, вопросы пола интересуют каждое поколение и в каждой стране, но всюду решаются по-своему. Я знаю биографии неудержимых гуляк, выросших на бесплодных, казалось бы, барханах пуританизма, и знаю великих скромников,выживающих при всеобщем разгуле.

Но в Соединенных Штатах порнография стала промышленностью, бизнесом, товаром, настойчиво предлагаемым каждому. Интерес к ней иными торгашами стимулируется так же, как интерес к новым идолам развлекательного дела,— но скольких отучивают от думания, объясняя, что жизнь прекрасна лишь в эротических ее проявлениях! Когда-то за армией возили девиц легкого поведения; во время американского кризиса тридцатых годов в места скопления безработных доставляли «партнерш для танцев»; новый взрыв порнографии

совпал с новым кризисом. Здесь все не просто. Когда голые девицы разостланы по многим обложкам, нельзя забывать, что подписывал эти обложки в печать вовсе не пылкий и впечатлительный юноша. Скорее всего издатель был некто пожилой и глубоко безразличный к девическим прелестям. Но девиц подбирали, дабы повлиять на вас, кем бы вы ни были. В журнальчиках попроще — все совсем откровенно, а «Плейбой», скажем, платит высочайшие гонорары и печатает у себя не только глянцевитых красоток, но и обширные интервью с Джеймсом Эрлом Картером или Жаном-Полем Сартром. Начнете с интервью, а прочтете все — в следующий раз поищете что-нибудь подобное.

Так что все здесь неоднозначно. Количество непристойных журналов может свидетельствовать не только об игривости издателей, так же как продажа водки в розлив не сигнализирует о том, что к власти пришли алкоголики. После сказанного я считаю своим долгом подтвердить сведения о том, что на нью-йоркских улицах имеются порнографические магазинчики и кинотеатры, где вам в цвете и на широком экране покажут все, до чего могут додуматься люди, считающие, что самое важное в человеческом организме расположено не выше, чем на метр от земли. Мужчина с женщиной контактируют в этих фильмах с какой-то яростной изощренностью, не размыкая объятий даже в позах, недопустимых не то что нравственными законами, но и законом всемирного тяготения. Лица не запоминаются, поскольку лица почти никогда не участвуют в действии; я же вам сказал: все события — на метр от земли.

А между тем, стоит оглянуться в кинозале, и вдруг понимаешь, что рядом с тобой собралась очень странная публика. Несколько забулдыг с сизыми, как перья у почтовых голубей, органами обоняния; старичок со старушкой — по отдельности,— вздыхающие невесть о чем; кучка туристов — в большинстве городов, даже американских, такого ведь не увидишь; проститутки, разглядывающие потенциальных клиентов. Короче говоря, малопристойные нью-йоркские зрелища специфичны и пока еще не стали самыми популярными в стране, хоть влияние их на духовное меню народа бесспорно. Порнофильмы, порнопредставления — порнография вообще — одна из характерных примет общества, но вытекающая из об-

раза жизни, а не определяющая его. Впрочем, об этом мы еще поговорим.

Позже я перескажу вам несколько встреч с эдакими «жрицами секса», которых развелось великое множество,— вчера еще в Америке, населенной потомками пуритан, ничего подобного не было; когда в 1959 году африканский фольклорный балет приехал для выступлений в Нью-Йорк, с ним хотели расторгнуть контракт, если танцовщицы не облачат свои обнаженные черные перси,— некоторые детали цивилизованных дамских нарядов до джунглей в то время не доходили. Теперь все это кажется невероятным даже в сдержанном Канзас-Сити — давайте сходим поужинать в кабачок на канзасской улице Мейн, дом 3114. Пока мы будем что-нибудь там такое потягивать да пожевывать, перед нами для стимуляции аппетита разденутся догола три девицы; если мы будем есть и пить не спеша, они разденутся под музыку еще и еще — с половины десятого вечера до половины второго ночи девицы раздеваются по четыре раза каждая. Зовут девиц Лисичка, Пурпурная и Вороненок — имена, как видите, самые разудалые. Вороненок сейчас свободна,— хотите, пригласим ее к столику?

Возможно, вы уже догадались, это смуглая женщина с прической смоляного цвета. Ей двадцать девять лет, после окончания Колорадского университета получила степень бакалавра социологии, была замужем, развелась. Усталая женщина, подтянутая, красивая, хоть с избытком грима на лице и на шее,— после выступления она оденется в нормальное платье и снимет краску с лица. Да, выступает в стриптизе давно, начала в старших классах школы, потому что хотела учиться дальше, а денег на оплату университета не было. Впрочем, после окончания университета золотой дождь тоже не хлынул — подрабатывает здесь, пока не найдется что-нибудь получше. Ну конечно же зовут ее Донна, никакой она не Вороненок, все это так... От родителей — имя и смуглость, а кличка — от владельца этого кабачка. «Я не проститутка,— говорит Донна,— никогда никого к себе не водила, иначе зарабатывала б не по двадцать пять долларов за вечер, а по тысяче и полторы тысячи в месяц, как другие. Одиноко. В зале собирается человек десять — пятнадцать, не больше, преимущественно это подвыпившие немолодые мужчины. Я раздеваюсь под

песенку «Почувствуй мое бедро, прикоснись к моей коже...», а сама не гляжу в зал и слушаю музыку. Раз как-то взглянула, увидела за столиком жену с мужем и предложила мужу выйти на сцену, чтобы помочь мне раздеться. Жена его завизжала: «Нет! Нет!» — и бросилась наутек. Может быть, на ее месте и я бы так поступила. Мне б хотелось, чтобы она стояла на сцене и раздевалась, а я сидела в зале с мужем и комментировала ее. Ничего, за деньги и она бы делала все как следует. Вы выиграли сегодня — все вы, кто в зале. Может, и у меня будет шанс..»

Бедная брюнетка, не вышедшая в социологи; таких интервью можно бы насобирать множество, потому что каждый человек раздевается по собственной надобности — тому пришла пора купаться, этому заработать хочется, а еще одному так тоскливо и страшно, как только может быть голому среди волков,— вот этого-то мне и жальче всего.

Ну конечно же есть огромная, находящаяся вроде бы вне закона армия проституток. В Нью-Йорке даже вполне серьезно обсуждается закон о легализации проституции, чтобы как-то проконтролировать и взять под надзор орду веселых девиц. Впрочем, они тоже не все такие уж развеселые — несколько лет назад некий доктор Давид Рюбен выпустил в Америке книгу, в которой, кроме всего прочего, проанализировал результаты опроса представительниц древнейшей профессии. Оказалось, что по преимуществу это очень одинокие женщины с несложившейся жизнью, со многими чисто медицинскими нарушениями сексуальных норм, мечтающие, как правило, о собственной семье и единственном мужчине на свете, которому надолго понадобится довольно изуродованная женская судьба. Мне думается, что когда мы пишем о разных отклонениях от привычных моральных категорий, то, увлекшись, не всегда вовремя вспоминаем судьбу Сонечки Мармеладовой, Катюши Масловой, горьковских и купринских героинь, чьи жизни очень точно анализировались классиками. Музыка в кабаках громко играет и сегодня; перед иными из кабаков, а то и просто на улице маячат юноши с поднятыми воротниками, предлагающие рекламные листовочки, гарантирующие, что за десять долларов можно войти в кабачок и вытворять с женщинами, ждущими внутри, все, чего вашей душе

(или что еще диктует желания?) угодно. Пусть кто-нибудь попробует убедить меня, что такая торговля вразнос делает одиноких мужчин (а я не представляю, кто войдет в кабачок, кроме них) и женщин (вы вправду можете подумать, что хоть одной нормальной женщине радостно от таких встреч?) менее одинокими!

А в Соединенных Штатах сейчас около пятидесяти миллионов взрослых одиноких мужчин и женщин всех возрастов, не вступающих в брак, живущих самостоятельно, зачастую старящихся в одиночку. Ну конечно же «гаудеамус игитур», как пелось по другому поводу в призабытом студенческом гимне,— «веселитесь же, пока молоды...». А когда немолоды?

Я знаю в Калифорнии, в Техасе и других штатах районы многоквартирных домов, населенных преимущественно молодыми людьми, не поспешающими со вступлением в брак: автостоянки среди небоскребов, музыка из окон, залы для ресторанов и танцклассы, бассейны, спортплощадки, кое-где даже искусственные катки. Постепенно в этих центрах концентрируется все больше женщин, прикоснувшихся к одиночеству,— разводы, жизнь не сложилась. По статистикам всего мира, американским в том числе, разведшиеся мужчины во много раз чаще вступают в новый брачный союз и уходят из развеселых домов для одиноких; остаются женщины. Мужчины тоже остаются — опускающиеся в пустоту, где каждый сам по себе; можно выписывать десяток журналов с голыми бабами (можно даже с голыми мужиками, «Плейгерл»), ну и что?

С некоторых пор во всем, что касается вопросов пола, американцев научили быть любопытными. Иногда они, любопытствуя, суетятся, как деклассированные старухи из довоенных коммунальных жилищ. Направленно публикуются репортажи об интимной жизни в многоквартирных «холостяцких домах», студенческих общежитиях и на фермах, в негритянских гетто и в Белом доме (один из первых вопросов, заданных на официальной пресс-конференции жене новоизбранного президента, был о том, спят ли она и мистер Картер в одной, общей постели или в двух разных). Психологи пишут, что порнография направленно порождает неосознанную привычку к взгляду сквозь замочную скважину, особый род любопытства, страсть к подглядыванию. Любопытство это

пронизывает множество анкет, исследований, научных, полунаучных и вовсе не научных пособий, часть из которых с тараканьей энергией разбегается по всему свету.

Эти учебники — тоже часть проблемы, впечатлениями от которой делюсь в этой главе. Они расползлись по свету и стали универсальны, словно девицы легкого поведения, у которых глаза собак с живодерни. Учебники секса составляются с дотошностью поваренных книг или пособий по токарному делу. Стиль их и материал я даже не могу назвать циничным — там нет и намека на этакую игривость; скорее уж это стиль самоучителей начала века, где объяснялось, как самому построить собачью будку. Иллюстрации приводили на память давно призабытые муляжи моих медицинских штудий; все это имело такое же отношение к любви, как огуречный рассол имеет к Черному морю,— соль есть в обоих растворах, но...

Все это часть разговора о том, что мир может быть пустынен, когда вспоминаешь его в своей одинокой постели, стынущей в холодном углу; тогда, когда мир превращается в сплошную жаркую постель, он тоже бывает пуст.

Человеческая близость может приносить радость, а может усугублять одиночество. Когда вначале я сказал, что американская семья выжила во всех этих пертурбациях в своем традиционном виде, то должен теперь добавить, что и она выглядит совсем не похоже на вдохновляющее и ставшее легендарным сообщество времен колонизации континента.

Американские женщины, упорно сражающиеся за свои права, начали приобретать их гораздо раньше, чем европейские суфражистки,— в 1872 году женщина уже выставляла свою кандидатуру на пост президента США, в 1916 году первую американку избрали в конгресс, а в 1925-м женщина стала губернатором штата Вайоминг. Образ храброй спутницы с карабином Винчестера через плечо широко популярен — на фоне переселенческих фургонов времен колонизации Запада. И в Америке я видел чаще, чем где бы то ни было, как отцы семейства купают детей и готовят завтрак по воскресеньям. Очень много американских женщин работает — больше и дольше, чем в Западной Европе. Они выполняют квалифицированную работу и воинственно

воспринимают все попытки профессиональных принижений. Мой добрый знакомый, профессор-медик из Калифорнийского университета, ежедневно провожает жену на службу и моет посуду, оставшуюся после завтрака, прежде чем уйти самому; все это естественно и привычно. С времен колонизации есть очень много легенд о храбрых и любящих женах,— и когда женщины сражаются, в очередной раз требуя бо́льших прав для себя, мужчины редко шутят по этому поводу. Даже те из вас, кто следил за судьбами американских президентов, могут сказать, сколь заметны всегда в общественной жизни бывают президентские жены — именно как соратницы, а не просто украшение дома и семьи. И все-таки порнография развилась в среде, где пуританизм сохранял крепкие корни, а женщина традиционно считалась больше подругой дней суровых, чем товарищем забав. Все меняется...

Впрочем, американские семьи разнообразны. Есть президентская семья, есть эмигрантская и есть негритянская; есть фермерская семья, семья из так называемого «среднего класса» и семья очень богатая. Все это планеты из собственных галактик — контакты между различными кругами общества весьма ограничены, особенно в больших городах. В сельских местностях неизбежны контакты между, скажем, фермерскими семьями и семьей врача, но сферы забот и в этих рядом живущих семьях пересекаются в очень немногих точках. Практически в каждом кругу семей собственный мир и свои правила, но даже вопреки ожиданиям общего тоже немало.

Как бы там ни было, все живут поблизости друг от друга, в одной стране, и на людей очень своеобразно и незаметно последовательно воздействуют время и структура общества, в котором они растворены. Многое сходно, и притом все послойно — развлечения, работа, радость, беда и порнография тоже. Попробую пояснить.

Подъезжая к аризонскому Финиксу, я увидел на обочине трайлер без автомобиля. Голубой домик не выглядел столь уж новеньким, и занавески на окне были довольно помятыми; на стене трепыхался матерчатый транспарант: «Массажное заведение Дженни», а на двери висела табличка: «Свободна». Видите, как все

просто,— заходите, и Дженни вас помассирует за десятку. В самом же Финиксе, в очень дорогом баре при гостинице «Билтмор», где стаканчик кока-колы стоит не меньше полутора долларов, а потолок похож на золотой, на меня оценивающе взглянула девка, покачивающая плечами в страусовом боа. Девка была из того же «профсоюза», что и Дженни с трайлером, но блудила конечно же только с очень богатыми людьми, останавливающимися в «Билтморе». Каждому свое: по устойчивой статистике, половина американских мужей к сорок пятому году жизни уже грешит на стороне,— одним помогла в этом Дженни, другим — аризонская дива. Результат, как вы понимаете, был вполне одинаков; секс уравнивает, человеческие туловища очень похожи и не запоминаются надолго — тем более в такой суматохе.

Когда я рассуждал о ликующей порнографии, то пытался связать ее суетливый расцвет с общими приметами заокеанского житья. Америка изменяется послойно — так с ней бывало всегда,— но в порнографии затаена некая уравниловка, потому что голый миллионер, если задуматься, очень похож на голого нищего с Бауэри (если того, разумеется, причесать и вымыть). Деморализация подкрадывалась к стране с разных сторон; утюг общего морального кризиса прошелся сразу по всей ткани нации и не разгладил ее складок, а утвердил их, загладив накрепко. Не буду здесь заниматься долгими общими рассуждениями, как стремился избегать их в других местах своего рассказа, но интересно, что больше трети опрошенных в США мужчин и женщин сказали, что нашли в порнографии и в индустрии сексуальных развлечений прежде всего способ избавиться от напряжения, вызванного сложностями в работе или личным беспокойством, не дающим уснуть. Бизнес отыскал и убедил потребителей. Порнография оболванивает людей — это бесспорно, но только ли она? Так случалось уже не раз и не только здесь — на голых баб заглядывались, когда от забот в глазах мельтешило. Не думаю, что для многих американцев порнография стала чем-то незаменимо важным в жизни, но бесспорно, что она оказалась способом выпускания паров из общественного котла с резко повысившимся давлением. В этом месте я вновь отсылаю вас к социоло-

гическим исследованиям, а сам приведу лишь слова бывшего президента Никсона, сказанные им пять лет назад в послании к конгрессу: «Шестидесятые годы стали периодом великой агонии — агонии войны, инфляции, быстрого роста преступности, ухудшения положения городов, возникновения надежд и последующих разочарований, возмущения и недовольства, которые в конце концов приводили к насилию, к тяжелейшим за целое столетие гражданским беспорядкам. В последние годы истекшего десятилетия страна была настолько сильно разорвана на части, что многие спрашивали себя, можно ли вообще управлять Америкой».

Такого духовного смятения страна еще не знавала; переменить это непросто. Все было словно истерика.

« О чем ваши стихи? — спросили очень известного поэта Аллена Гинзберга, одного из бардов калифорнийских хиппи на вечере в Сан-Франциско.— Что сейчас главное в вашей поэзии? В вашей жизни?» «Оголенность»,— ответил Гинзберг. «А все-таки?» — переспросили из зала. «Оголенность!» — заорал бородатый поэт, взобрался на стол и начал рвать рубаху на своем кругленьком брюшке, спеша раздеться догола.

Американский драматург Эдвард Олби сказал мне как-то очень точную мысль о том, что с каждым «витком» изощренности порнографических ли, иных ли средств, которым надлежит вызывать читательское сверхвозбуждение, порог читательской восприимчивости деформируется с устрашающей быстротой. Упрощая пример, можно сказать, что если сегодня вы повергли зрителей в шок, продемонстрировав разрезание киногероя на три части при помощи кухонного ножа, то завтра вам придется резать его на восемь частей при помощи электропилы, а послезавтра уже бог весть что придется, ибо правила игры, в том числе порнографической, установлены не вами. Это социальные правила.

Социальные кризисы неразрывно связаны с кризисами личностными. Коль уже общество приняло порнографию в себя и дало ей развиться, оно должно было в своей болезни созреть для этого, как царапинка на коже созревает в абсцесс. Когда гной порнографии начинает

пропитывать собой даже политику (печатаются книги об интимной жизни президентов; несколько сенаторов на служебные средства нанимали себе в секретарши профессиональных проституток), это угрожающе. Выплеснувшись на киноэкраны и страницы книг, порнография нигде не способствовала созданию шедевров,— напротив, искусство тлеет изнутри, в сердцевине, прогорает насквозь; только ли искусство? Короче говоря, я не утверждаю, что порнография приводит к немедленному обалдению общества, но то, что она откровенно способствует такому обалдению,— очевидный факт. Воспитание дураков — одно из наиболее жестоких, бесчеловечных занятий; порнография входит в него составной частью. Об этом немало рассуждают и пишут сами американские интеллигенты, которых уже страшит образ гражданина с осоловевшими, стеклянными глазками; всех порядочных людей должен страшить: ведь испокон веков солдатам, которых собирались лишить последних способностей к активному мышлению, прямо к линии фронта привозили спиртное и гулящих девиц...

...Новоявленное бесстыдство оказалось очень скучным. Из человеческого общения изымались многие подробности, казавшиеся несущественными вначале, но резко сказавшиеся потом,— человеческое тело становилось анонимным, как незнакомый автомобиль; оно становилось волнующим само по себе, не затрагивая ума, лица, души обладателя. И здесь, по-моему, сработал великий закон, действующий и в сфере искусств: «Безликость не выживает». Безликость умеет быть шумной и суматошной, но все это до поры до времени, срок бытия безликости краток и неволнующ, а порнография прежде всего безлика. Она еще многое поуродует — она уже немало опачкала,— но порнография входит лишь одним из кристалликов в многоклеточный организм огромной страны, устроенной очень сложно.

Страна занемогла, и множество проявлений оказалось у болезни ее. Семья страдала как одна из клеток ослабевшего государственного организма; она не гибла в пароксизмах разводов и не корчилась под неприличными анекдотами. Но переставали стыдиться крайностей, пробовали «жить сообществами», в развеселых газетках

предлагали меняться супругами или, словоблудствуя, с лихим цинизмом обсуждали разные разности, не снившиеся авторам романов, считавшихся порнографическими еще в пятидесятые годы. Одна молодая женщина застенчиво пожаловалась социологам: «Я так себя глупо чувствую. Мой приятель хотел бы, чтобы мы как-нибудь повеселились втроем или вчетвером, а мне ужасно неудобно. Наверное, в сущности, я не столь либеральна, как хочу казаться». Ну конечно же основная масса людей живет-поживает, как прежде, но то, что можно публично выговаривать себе за нежелание заниматься любовью (назовем это так) втроем или вчетвером,— тоже весьма показательно. Иные семьи существуют фактически, но не спешат с регистрацией брака; возраст людей, узаконивающих брачные отношения, очень повысился, но во многих случаях люди так и не узаконивают ни своих общностей, ни их результатов. В прошлом году в Вашингтоне был впервые установлен весьма странный рекорд. У незамужних женщин родилось за год четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь детей, у замужних же — четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь, то есть «незаконных» детей родилось больше. Хотите подробностей? Сорок шесть процентов «безотцовщин» родилось у мам, которым нет девятнадцати лет, двести младенцев — у пятнадцатилетних матерей, сто пятнадцать — у женщин (сложно у меня с терминологией), которым пятнадцати не исполнилось, а четверо — у двенадцатилетних...

Я не хочу вздымать во гневе руки и осуждать нравы — цифры красноречивы без комментариев; мне страшно за детей, которые будут так расти,— или кто-нибудь из вас думает, что пятнадцатилетние мамаши смогут воспитать тайные плоды неосознанной страсти? Что я наверняка знаю — большинство из девчушек, поспешно расставшихся с невинностью и произведших себе собственные куклы, не побежит топиться с горя в реке Потомак. В Вашингтоне у меня несколько лет назад произошла — и запомнилась — встреча, которая с большой долей вероятности позволяет прогнозировать будущее энергичных молодых мам.

Свернул я в проулок, сокращая дорогу к гостинице, и наткнулся на стайку разноцветных (впрочем, преобладали черные) детей; было похоже, что шестиклассники

возвращались из школы и остановились посекретничать. Я широко улыбнулся им, еще хотел по затылку какого-нибудь погладить — очень уж симпатичные были детки. Но стайка расступилась и вытолкнула навстречу мне чернокожую девчушку — едва до нагрудного кармана мне ростом, совсем маленькую, в цветастом платье-халатике. Девчушка рывком распахнула халатик — под ним ничего из одежды не было — детское тельце шоколадного цвета. Улыбнулась она вполне профессионально и, протяжно, по-южному выговаривая слова, пообещала мне множество удовольствий. Девочкин эскорт стоял вокруг с очень серьезным видом — правые руки в карманах. Смешнее всего бы я, наверное, выглядел, начни их стыдить; не придумал ничего лучшего, как молча пройти сквозь детишек — словно сквозь тростник: ни один не был выше моих подмышек.

...С тех пор как я узнал приведенную здесь официальную статистику вашингтонских деторождений, нет-нет и подумаю: а чем виноваты дети, что будет с ними? Осколки сексуального взрыва улетели в будущее, дальше что?

Ну, что касается слова «дальше», то оно не всегда было популярным в Америке. За последние десятилетия авторитет и значение размышлений о будущем возросли, но американцы традиционно с трудом привыкают к понятиям и вещам, которые невозможно взвесить, измерить или потрогать. Я уже писал, что Америка в последние годы постарела, у нее убавилось уверенности в себе и подчас прибавилось суетливости. Но в то же время ведь именно сейчас, как никогда прежде, можно почувствовать, что жители Соединенных Штатов уже не ощущают себя, как правило, беглыми европейцами, африканцами, азиатами,— заработаю, мол, денег и уеду домой... Теперь Америка все больше обрастает собственными детьми, американцами насовсем, болеющими за свою родину, мучительно размышляющими о ней. О морали говорят много, но честные люди ищут мораль, соизмеримую с главной мировой болью. В Медисоне возле мотеля «Парк Мотор Инн», я видел демонстрацию против приезда в город сотрудника ЦРУ, желавшего прочесть лекцию о своем участии в пиночетовском путче. Этот самый сотрудник, некий Дэйвид Эттли Филлипс, кричал о морали; о морали скандировали демонстранты;

о морали бурчал дежурный полисмен в вестибюле; о морали попискивали старушки, которые не могли протолпиться на лекцию к цээрушнику сквозь ряды протестующих. Америка очень сложно переживает свои моральные кризисы, страдая от собственной душевной боли, от муки прикосновений к пустоте. Путь этот очень сложен и видим со стороны; вчера еще заваливавшая мир портретами белозубых, мускулистых парней, легендами о следопытах, пересекающих континент, славными продуктами своих неутомимых ума и рук, Америка вдруг принялась рушить легенды о себе самой. Порой даже переписывались образы героинь, навсегда вросших в увлекательность рассказа о покорении новых земель; унижение женщины — это всегда страшно, и ни одна нация не может себе позволить такой роскоши без угрозы потерять собственное лицо. Это ведь патология, злая выдумка, мазохизм, когда какая-нибудь сучка заявляет с глянцевых страниц прекрасно сверстанного ежемесячника, что нормальную женщину могут интересовать в джинсах только два места — спереди, где замок-«молния», и сзади, где накладной карман с кредитными карточками. А ведь американские женщины, кроме всего прочего, придумали джинсы и научили мир носить их — как они терпят эти пощечины? Ну ладно, все это, конечно, не стало — не могло стать — главнейшим из лиц Америки, но оголенность внезапно состарившейся страны хлынула на ее витрины и глянцевые обложки. Все взаимосвязано; порнография духа — по терминологии Андрея Вознесенского — болезненная для каждого, кто желает добра великому народу Америки, прежде всего для самих американцев. Ну конечно же можно пойти по той логике, что люди хотят платить, и они получают то, за что платят,— словно суп из хвостов кенгуру или сладких муравьев по-кантонски. Но Кеннет Тайнен, англичанин, ставший одним из организаторов постановки на Бродвее порнопредставления «О! Калькутта!», говорит очень точно: «Это подарок для усталого путешественника — в чужой стране, где он не знает языка и ни с кем не знаком. Я считаю, что это абсолютная социальная необходимость для людей, которые некрасивы, одиноки и стары...» Но «О! Калькутта!» идет вовсе не для уродливых стариков; просто путешественники, больше трех с половиной веков назад сошедшие на берег Аме-

рики с легендарного парусника «Мейфлауэр», очень устали за минувшие с тех пор годы — в нескольких поколениях. Корабли приставали к незнакомому берегу один за другим, но люди, сходившие на берег, зачастую узнавали такие одиночество и отчуждение, каких не встречали в оставленных своих бедных заокеанских домах. Как-то я разговорился об этом с довольно известным в Штатах поэтом Виктором Контаски. Из переводимых мной в течение многих лет американских стихов я почерпнул очень точное впечатление о том, насколько человек здесь бывает отчужден от земли, на которой строит свой дом, от птиц и зверей, населяющих эту землю. От других людей тоже. Земля Америки бережет свою непокорность — ее деревья посажены кем-то незнакомым тебе, в ее земле не похоронены твои прадеды, хозяева этой земли уничтожены тобой, европеец, и, умирая, они не рассказали ни о чем. Америка переполнена своей непокорностью, своим неподчинением пришельцам — земля ее покоряется, лишь будучи изрезанной, вздыбленной, разверзнутой; ее бизоны покорились лишь после гибели, ее индейцы вовсе не покорились. Виктор Контаски показывал мне пейзажные стихи, где деревья вцеплялись в одежду, стремясь ее разорвать, а ручей уходил сквозь ладони жаждущего. Дело в расстоянии между человеком и окружающим миром. Я знаю стихи о расстояниях между человеком и миром очень почитаемых мною современников — Теодора Ретке, Кеннета Петчина, Сильвии Плат, Роберта Лоуэлла,— пострадавших от одиночества на отчужденной земле (Сильвия Плат кончила самоубийством). Роберт Лоуэлл пишет о самом населенном городе западного полушария так (когда-то я делал свободные переводы этих стихов, и здесь — отрывок):

Одинокий человечек стоит, заглядевшись вверх словно
орнитолог,
а затем опускает взгляд на снег цвета перца и снег цвета соли
и сметает снег с барабана, на который в лучшие времена
наматывали, бывало, знаменитые электрокабели Вестингауза,
покуда тот барабан не оказался на свалке.
Человечек вряд ли откроет Америку,
беспрерывно считая цепи проклятых грузовых поездов
из тридцати штатов.
Они трясутся и позвякивают, как старый металлолом.
Человеку очень непросто сохранять равновесие,
и поэтому он глядит вниз,

посылая взгляд свой дрейфовать с битым льдом,
плывущим по реке Гудзон к океану,
словно разрушенная складушка-мозаика...

Человек, о котором написано многими писателями и так много, очень одинок, ему скучно, и он страдает от этого. Америка полна секретов, ему недоступных; и вдруг окно в один из интимнейших уголков бытия распахнулось настежь. Общество лишалось одного из последних оплотов своей интимности, выставив напоказ зрелища и толстые книги, за которыми дедушка человечка тайком от бабушки и пуританской таможни когда-то ездил в Париж. Новая порнография стала возможной в среде очень разъединенных людей: старые книжицы из Парижа о разных полупридуманных Мими и Коко — это одно, а безразличное обнажение перед людьми, с которыми ты встречаешься ежедневно,— совсем другое. Здесь — другая символика, и внезапно ощущаешь, что — символика боли. Ну не может же вправду фотография голого зада считаться признаком великой интимности. Голый человек беззащитен; голая земля беззащитна; голое дерево беззащитно; мне всегда кажется, что чужая обнаженность требует помощи. Когда нагота становится демонстративной и вызывающей, она тоже нуждается в помощи; у библейских страдалиц отрастали косы, скрывавшие их наготу, дарившие в беде хоть этакую защиту. Пленных раздевали догола — победители всегда оставались одетыми; на обнаженном теле видны все шрамы и все тайные знаки — всем ли надо их видеть? «Студенты-проказники» бегали голышом по территории университетов — мода на такие пробежки вспыхнула и тут же погасла в начале семидесятых годов. Человеческая нагота многообразна — разница между обнаженными Ренуара и голыми девками из порнографического журнала такова же, как между созвездием Рыб и маринованной селедкой из банки,— это ясно. Когда-то французские короли удостаивали приближенных высшей чести — присутствовать при своем одевании. Нынче приглашают на раздевание — и это тоже тоскливо.

Между тем и здесь все идет к ясности; американский голяковый бум, которому еще в конце шестидесятых годов пророчили неудержимое развитие, понемногу пошел на спад. Даже не то чтобы на спад — попросту люди

очень быстро поняли, что их желание обновления одним оголением не будет удовлетворено. И вот вместо сверхциничных появляются романы сентиментальные, вроде «Истории любви» Эрика Сегала,— пышным цветом распускается старозаветная пошлятина с целующимися голубками. Мода определила круг своих потребителей и вширь уже не идет: настало время задуматься.

Американская нагота многолика — кто расскажет мне все о ней? Издеваться или — слюноточиво и сально — любоваться обнаженными вряд ли честно; нагота навсегда ранима и полагается на чужую порядочность даже подсознательно, в любом случае. Это беда, а не забава,— даже хихикать надоедает. Древние по необразованности считали, что, протыкая булавкой чье-то карикатурное изображение, можно угробить оригинал; сегодня карикатуры с булавками никого не убивают и не в состоянии никого убедить. Человечек, о котором писал Лоуэлл, стоит на мосту через Гудзон, ему тоскливо, он готов прыгнуть в грязную воду; коснется он воды сразу же или вначале ударится о порнографический плакат, плывущий поверху,— все равно утонет.

Мы сидели с добрым моим американским приятелем и пили кофе. «Ты вправду против сексуальной революции?» — спросил он. «Знаешь,— ответил я,— мне не нравятся некоторые термины. Не люблю определения «сексуальная» революция, потому что в моей истории и, кстати, в американской слово «революция» воспринимается совсем по-другому. Я не люблю даже модного термина «тотальный футбол», потому что слово «тотальный» навсегда связано для меня не с игрой, а с ужасом минувшей войны. Но это детали. Одиночество голого человека не имеет никакого отношения к счастью...» — «Так-то оно так,— ответил мне американский приятель,— да неохота иногда размышлять о высоких материях. Надо упрощать мир».— «Надо,— согласился я.— Но так ли уж прост мир, обращающийся к тебе голой спиной? Быть может, ему просто нет до тебя дела?» — «А я его похлопаю по спине и спрошу,— улыбнулся мой собеседник.— Одно из двух — или он ответит, или пошлет подальше».— «Одно из двух,— согласился я.— Но ведь и раньше он повел бы себя точно так.

Мир остался, как был,— просто одежд на нем поубавилось».— «Мир остался, как был. Вот кофе подорожал...»

В ресторанчике было не много посетителей: день только начинался. В углу стояли столы со снятыми скатертями, словно мебель здесь тоже совершила стриптиз и не одевалась со вчерашнего вечера; лицо у официантки с утра было усталым и голым — без капельки грима,— оно отдыхало до полудня по крайней мере; нагой контрабас зябко стоял в углу на эстраде, неуклюже запахиваясь в расстегнутый зеленый чехол.

ГОЛОС незнакомой птицы

Этот дом, предназначенный для художественных выставок, был открыт через несколько месяцев после смерти автора проекта. Строился он мучительно долго, потому что все было непривычным в замысле здания-музея. Франк Ллойд Райт, и раньше проектировавший сооружения самых неожиданных форм — в последнее время треугольные, шести- и восьмиугольные,— решил создать этот дом круглым. Он хотел, чтобы внутри здание было объемным, и заполнил его спиралью — посетители из вестибюля должны сразу же подыматься на лифте под крышу, а затем незаметно для самих себя приближаться к выходу, опускаясь по виткам спирали ниже и ниже. Дом Гуггенхеймовского музея (так называется здание Райта на нью-йоркской Пятой авеню) похож на раковину садовой улитки, поставленную вертикально — входом вниз. Сооружение Франка Ллойда Райта вполне уникально и любимо в Нью-Йорке, наглядевшемся на всякие зодческие проделки; люди простили архитектору даже то, что стены музея вогнуты и нормальные плоские полотна трудно расположить вдоль спирали внутри ракушки. Но музей очень престижен; высокая честь — быть выставленным в помещении, спроектированном Райтом. Мемуаристы рассказывают о невысоком старненьком господине с длинными седыми волосами, спадавшими из-под шляпы на воротник; господин в пятидесятые годы надзирал за строительством, живя совсем рядом, в гостинице «Плаза», расположенной у Центрального парка. Фамилия старичка была Райт.

Так случилось, что первое здание его проекта, увиденное мной, было именно музеем Гуггенхейма в Нью-Йорке. Внутри и снаружи спиральный дом поразителен; увидев только его, можно понять, что Франк Ллойд Райт был великим архитектором. Мне тем легче утверждать величие Райта, что тезис этот является общепризнанным и книги зодчего, сооружения, спроектированные им, дома, только еще задуманные,— все это вошло в архитекторскую классику. Не хочу слишком углубляться в зодческие тайны — среди вас есть лучшие

знатоки, тем более что Райт строил жилые дома странного вида и соборы, похожие на африканские муравейники; возвел в Токио гостиницу «Империал», выстоявшую в небывало мощных землетрясениях, и спланировал дом высотой в одну милю, которого никто, разумеется, и не собирался строить.

При всей необычности иных замыслов Райта, при всей непохожести его строений на те, к которым люди успели привыкнуть за тысячелетия, прежде всего поражает уважение архитектора к природе. Он умел объединять строения с пейзажем таким образом, чтобы они не оскорбляли друг друга, а дом прирастал к холму, лишь чуть возвышая его и делая еще выразительней; здания же, распластанные в пустыне, пришли б в мир ее, тоже не деформируя природу. Он пытался сочетать многие элементы архитектуры государства Майя, японское зодчество, уроки староримской и корейской архитектур, опыт североамериканских индейцев,— он верил, что в огромной семье человечества есть немало знаний, одинаково необходимых для всех. В конце тридцатых годов Франк Ллойд Райт приезжал в СССР, много и тепло писал и говорил о нашей стране, а в трудные времена начала «холодной войны» стал одним из организаторов известной нью-йоркской «Конференции деятелей науки и культуры за мир во всем мире», противостоявшей убийственным ветрам тогдашней «охоты за ведьмами», возглавленной в США неким Маккарти, сенатором от штата Висконсин, кстати, земляком Райта.

Мне довелось пожить в Медисоне, столице Висконсина, уютнейшем городе, прославленном своими сырами, а не политическими скандалами; о Маккарти понемногу призабыли. Когда я постепенно углублялся в поля и леса штата — ближе к Плейну, Спрингс Грин,— местам, где Райт родился в 1869 году, работал, а через девяносто лет был похоронен, то видел могилу великого архитектора, над которой нет особенно впечатляющих памятников, благо вокруг нее реставрируются, ветшают, посещаются туристами и пребывают в забытьи — живут обычной своей кирпично-каменной жизнью — дома, проросшие из проектов Франка Ллойда Райта. Дома, где он во всех комнатах, кроме ванных и спален, ликвидировал заслонки дверей и сплошные стены — разгерметизировал помещения жилых зданий, объединяя их, рас-

секая разве что короткими перегородками, не затрудняющими передвижения из комнаты в комнату и сливающими площади дома в одно целое. Так сливаются в одно целое разные части окружающего нас мира, где лес не отгорожен от реки высоким забором, а небо не отделяется от луга непроницаемым потолком. Райт, одним из первых оценив факт появления железобетона и крепчайших марок стали, создал крепления совершенно нового типа и несущие конструкции, преобразовавшие очень многое в самих принципах планировки. Ну ладно, надеюсь, вы не ждали от меня лекции по архитектуре — просто я позволю себе удивляться и ахать в вашем присутствии, рассказывая о том, что очень люблю. Ведь Райт — целая эпоха в архитектуре, да и жизнь его была эпохой.

Родился он и умер на совершенно не похожих планетах; при рождении Райта никто не имел понятия не только об электронике, но даже о бытовом электричестве, фантасты робко предвещали появление подводных лодок и самолетов с паровыми двигателями — только ли это? На французском троне восседал император Наполеон III, а сорокашестилетний генерал Улисс Грант, один из героев Гражданской войны, только что стал восемнадцатым президентом США. Когда через девяносто лет Франк Ллойд Райт умирал, во Франции, забывшей о своих королях, на всеобщих выборах президентом был избран Шарль де Голль, генерал Эйзенхауэр правил в США как тридцать четвертый их президент; Австро-Венгрии, бывшей в молодые годы Райта великой державой, уже давно не существовало, а социализм, когда-то едва зарождавшийся в его современном виде и даже в молодости Райта малоизвестный в Америке, стал государственной системой на огромной части земного шара. Человек этот принял в свою жизнь самые страшные войны, известные человечеству, и тем убедительнее подвижничество Райта, никогда не строившего казарм, крепостей и даже скучных контор.

Райт стремился строить небывало удобные и столь нужные людям жилища, клубы, церкви, театры, где люди могли бы собираться вместе,— жизнь его была поразительно целеустремленна, хоть, надо сказать, архитектор не всегда был в ней удачлив. Мечтая объединить зодчих разных наций и творческих школ в едином

сообществе, строя для этого дома — вначале в родном своем Висконсине — Восточный Талиесин, а позже в штате Аризона — Талиесин Западный, Франк Ллойд Райт страдал то от кредиторов, преследовавших его всю жизнь, то от жен, с которыми ему катастрофически не везло (а может быть, не везло женам — характер у архитектора был, говорят, не сахар), даже от пожаров, периодически уничтожавших дома; судьба его не щадила.

Женившись после шестидесяти в последний раз, Райт завещал супруге надглядывать за архитекторским сообществом, плотно сгруппировавшимся вокруг него в штате Аризона, где неподалеку от красивого и мертвого — камни в пустыне — города Финикс разросся Западный Талиесин. Архитекторы из разных стран — японцы, филиппинцы, американцы, египтянин, ирландец и еще бог весть кто — работали там, объединенные уважением к покойному Райту и принципам его школы. Проекты выполнялись то тем, то другим из архитекторов, но деньги разделялись поровну на всех. Все работы по перестройке, уборке, озеленению Талиесина решались на общих собраниях, в которых могли участвовать с правом совещательного голоса и ученики — молодые архитекторы, съезжавшиеся в Талиесин отовсюду и остававшиеся там при условии, что они сдадут вступительный экзамен и готовы заплатить сообществу две с половиной — три тысячи долларов в год за свое обучение.

Марка сообщества Франка Ллойда Райта котируется на архитекторских рынках достаточно высоко, но тем не менее оно нуждается в постоянной рекламе и в новых знакомствах — для этого сообщество издает немало альбомов со своими проектами, брошюры, даже видовые почтовые открытки. Кроме того, сообщество охотно приглашает к себе для чтения лекций тех, кто кажется ему интересным или полезным. А также устраивает приемы.

С приема я и начну. Американские приемы бывают самыми разными, но главное, что их объединяет,— количество; приемов в Америке очень много. Приемы устраиваются после лекций и творческих чтений, просто вечером дома, чтобы освежить знакомства и завязать новые; приемы устраиваются по поводу отставки и по поводу назначения на пост и т. п. В деловом, дипломатическом мире, в мире искусства приемы бесконеч-

ны — каждый по своим правилам, каждый что-то да значит. Чаще всего это несколько блюд с бутербродиками, тарелки с печеньем, бутылки белого и красного вина, водка, виски, вода, толпа вокруг всех этих яств и, где только возможно, хозяева приема, мечущиеся среди гостей, многих из которых они толком не знают. На большинство полуофициальных и неофициальных приемов можно приводить с собой неприглашенных друзей, можно приходить без особого приглашения самому. Но на иные приемы...

Приглашение на прием в Талиесине было оттиснуто на полукартоне с золотым обрезом и выглядело как визитная карточка господа бога. Идти надо было, строго соблюдая правила одежды и поведения,— таково условие.

Прием остался в моей памяти бетонными и гранитными стенами распластанных домов Талиесина, где в нишах горели факелы, выхватывая куски пространства, огнем окрашенные в оранжево-золотой цвет. Подрагивали каменные драконы, и старинная японская керамика, вмурованная в стены среди аризонских камней, выглядела фантастически. Самураи, увековеченные в зеленой глине, скалились очень сердито: европейская музыка, доносившаяся из помещений, по-моему, раздражала их. Музыка была им непонятна, словно высокий голос незнакомой птицы, прилетевшей издалека.

Архитекторы играли на скрипочках. Я пишу именно «скрипочках», а не «скрипках», потому что музыкальные инструменты казались очень маленькими в огромных архитекторских ладонях, испачканных грифелями. Архитекторы играли старинные английские квартеты, а затем пели Генделя. Слушателей было не много, но обязательным условием участия в концерте или присутствия на нем — так же как для приема — являлись фрак либо смокинг — вечерний костюм, манеры великосветского вечера...

Я сидел в притемненном зале, где амфитеатр зрительских кресел круто вздымался кверху и слушателей было очень не много: в центре Ольгиванна-Йованна Лазович-Райт, а вокруг не больше пятнадцати — двадцати гостей из Финикса и архитекторов, не занятых в данный момент музицированием. Архитекторы уходили на сцену и возвращались с нее — циркуляция между зри-

тельным залом и площадкой для представления была постоянной; Франк Ллойд Райт в конце жизни мечтал построить профессиональный театр, где этот принцип был бы основополагающим. Даже выстроил маленький вариант такого театра где-то в Техасе — лабораторный вариант, а настоящего так и не дождался...

То, что построено здесь, в пустыне штата Аризона, было комплексом домов самого разного назначения, но главным смыслом поселка оставалась организация коллектива архитекторов разных стран — сообщества Франка Ллойда Райта,— для этого задуман был и возведен весь Западный Талиесин. «Талиесин» — старинное уэльское слово, и значит оно «сияющая вершина». Ну что же, вершина так вершина, хоть вокруг шуршали пески, украшенные зелеными телеграфными столбами поразительных мексиканских кактусов,— никаких вершин поблизости не было, если не считать гряды коричневых холмов, выстроившихся неподалеку. Очевидно, слово «вершина» было употреблено в переносном смысле.

Вечерами ежесубботне архитекторы разных стран, съехавшиеся в Талиесин (всего их здесь живет сорок, но тридцать считаются учениками, и положение учеников, естественно, самое студенческое), устраивают приемы. На приеме, как я уже сообщал вам, обязательны вечерние туалеты, в программу приема входят совместная трапеза и концерт. Еще в программу приемов входит вдова великого архитектора Райта, старуха черногорского происхождения со странным двойным или даже тройным именем Ольгиванна-Йованна. В начале приема вдова полулежит на помосте, покрытом белой шкурой, издалека очень похожей на медвежью; на вдове закрытое вечернее платье со шлейфом и массивная цепь с очень большим крестом, делающим миссис Райт похожей на боярыню Морозову с одноименной картины Сурикова. Миссис Райт не улыбается в начале приема, когда ей представляют гостей и каждый гость получает по бокалу коктейля из рук архитектора сообщества, коим вменена в обязанность ежесубботняя барменская деятельность. Не улыбается миссис Райт и позже, в очень длинном затемненном зале, где стены из дикого камня и кованые люстры, стараясь подарить собравшимся поменьше света, стыдливо скрывают, что в них ввинчены новомодные электрические лампочки. Мис-

сис Райт не улыбается, когда ей приносят куриную ножку и все присутствующие вслед за миссис принимаются за обгладывание таких же куриных ножек, поднесенных каждому. Запиваем белым вином; отхлебывая из бокала, миссис Райт тоже не улыбается. Все это похоже на ритуальную трапезу в бомбоубежище, потому что бетонный потолок зала весьма низок, а молчащая вдова основателя сообщества не располагает к легкомысленным разговорам в этих торжественности и полумраке. Впрочем, разговоры за столом ведутся,— разумеется, в допустимых пределах («Вы поэт? — спросила у меня соседка слева.— Ах, как это интересно, должно быть!» «Скажите, это место называется Талиесин? — наклонился я к соседке справа.— Какое странное слово...»). После трапезы, как я уже сообщил вам, происходит концерт, после которого Ольгиванна-Йованна Лазович-Райт удаляется почивать, а гости предоставляются сами себе. Часть гостей при этом страдает, ибо на территории Талиесина строго запрещено курить. Не будучи в состоянии выносить безникотиновый ритуал, я украдкой выбрался под сень ночных аризонских кактусов, пренебрегая всеми гремучими змеями, пумами, тарантулами и другими свирепыми животными, которыми пугали меня здешние старожилы. Куря в рукав смокинга, под кактусом скрывался знакомый мне адвокат из Финикса; я щелкнул зажигалкой (никогда не видел, чтобы американцы прикуривали от чужой сигареты) и сунул сигареты себе за пазуху — между белой манишкой и сияющим шелковым лацканом. Жизнь по чуждым нам великосветским законам с непривычки очень трудна.

Я вздрогнул оттого, что за моей спиной кто-то зычно высморкался; оглянулся и чиркнул огоньком зажигалки. «Погасите,— прошептал архитектор, пряча носовой платок во фрачную фалду.— Угостите сигаретой, а то я — даром, что пустыня вокруг,— продрог от всех этих ритуалов. Насморк начинается — спасу нет...»

Миссис Райт сладко спала. Желтые аризонские звезды сияли над нашими головами, словно огоньки чужих сигарет, и незнакомые мне птицы вскрикивали на соседних кактусах неожиданно громкими голосами. Противно визжали койоты, затравливая одного из рыжих

кроликов, которых здесь великое множество и которых резвые койоты поедают без всякого сожаления. Я знал, что вслед за голосами степных волков неизбежно раздастся детский, высокий, затравленный крик обреченного длинноухого беглеца,— никогда не мог привыкнуть к этим вскрикам и не то чтобы не любил их — даже боюсь. Поэтому я затоптал сигарету в песок и двинулся к зданиям Талиесина, почти незаметным в ночи.

Ритуал, установленный здесь, выглядел очень великосветским, но ритуал был напряженным, как всегда это случается, когда присутствующих не покидает ощущение, что они принимают участие в игре, не все правила которой ими изучены досконально. Ну, скажем, я был явным парвеню, и мое присутствие оправдывалось разве что приглашением, посланным мне сообществом Франка Ллойда Райта — для лекции и дискуссий. Поскольку я все равно жил в расположенном поблизости городе Финиксе, проблемы расстояния тоже не существовало, и сообщество не расходовалось на билет для меня. Выступления были назначены на ближайшие дни.

Сообщество объединяло архитекторов, а не дипломатов; это живя в Нью-Йорке можно потереться по роскошным залам и значительно улучшить свои манеры: в городе у Атлантики происходит (как утверждают всезнающие статистики) по 8,81 дипломатического приема ежесуточно. В сообществе Франка Ллойда Райта происходит один прием в неделю, день и время его, круг приглашенных — все это известно заранее и наверняка; здесь невозможны ошибки вроде той, которую совершил однажды немецко-американский ракетный конструктор барон Вернер фон Браун в столичном городе Вашингтоне. Барон, чьи ракеты некогда уничтожали Лондон и намеревались разрушить Нью-Йорк, был человеком немолодым и очень занятым. Спутав день, он отправился на прием в эквадорское посольство не тогда, когда прием был устроен, разыскал резиденцию посла Эквадора и, на радость репортерам, долго возмущенно жестикулировал перед испуганным лицом супруги посла, которая, не ожидая визита, не успела даже избавиться от бигуди. Барону фон Брауну во внеочередном дипломатическом приеме было отказано, и я думаю, что

в Эквадоре долго еще опасались ракетной бомбардировки, а также арестовывали левых либералов, бесспорно причастных и к этому межгосударственному конфузу, и ко всем остальным.

В Аризоне такого быть не может. Здесь нет эквадорского посольства и все проще. Когда на следующий день утром я встретился за чаем с архитекторами и учениками-архитекторами, то увидел, что пальцы у градостроителей еще больше почернели от грифелей; были архитекторы преимущественно в джинсах и в комбинезонах из джинсовой ткани, облегавших их куда элегантней, чем дирижерские фраки и смокинги с лацканами, блестящими, словно локти на курточке второгодника. Я даже не мог найти среди них того, кто вчера спрашивал у меня с предельной серьезностью, дозволено ли ношение бороды в обществе развитого социализма. Лица у всех были одинаково глубокомысленны и заинтересованы одинаково: дело в том, что в Западном Талиесине впервые видели человека, приехавшего из Советского Союза и способного, как архитекторы считали, рассказать им нечто связное о нашей жизни и советской культуре.

Разговаривали мы интересно и долго. Вместе с точно поставленными вопросами об интернационализме — о сочетании в нем особенностей мышления и творчества разных народов, о проблемах градостроительства в нашей стране и о том, какие виды жилья — многоэтажные дома или особняки — более распространены у нас, вопросы бывали и странные — вроде вчерашнего о бороде. Причем у меня ни разу не возникало ощущения, что я разговариваю с людьми, очень далекими от жизни или занятыми невесть чем и вопрошающими от барской скуки. Нет, архитекторы ничего не знали совершенно непредвзято и честно, они имели о нашей жизни такое же представление, какое у меня есть, скажем, о питании осьминогов или размножении сусликов. У меня спрашивали, долго ли надо ждать разрешения на поездку из Киева в Ленинград; правда ли, что людей, слушающих джазовую музыку, сажают в тюрьму, можно ли поступить в университет, не будучи членом партии,— и еще у меня спрашивали о вещах не менее глубокомысленных и не менее обидных порой. Это был особый род обиды — я с удивлением разглядывал архитекторов, ни-

чего, к примеру, не знающих о Софии Киевской или даже не слышавших о том, сколько раз — в двадцатом только столетии — сжигались иные советские города, со всеми их архитектурными памятниками, с людьми, живущими внутри этих памятников и вокруг них. Чужое незнание так же, как знание,— всегда результат процессов, очень точно запрограммированных в обществе. Знаек с незнайками Америка формирует на потребу себе и всегда ведает, сколько ей надо тех или других. Незнание, которого не стыдятся, особенно пагубно; я процитировал архитекторам старые слова великого американца Теодора Драйзера о том, что «опасно жить без правды, а сейчас особенно опасно не знать правды о Советском Союзе...». Да что там, не только о моей стране — о Драйзере не все знали.

На первый взгляд, незнание в Америке бывает не агрессивным, а кокетливым, но внешняя смиренность этого незнания не менее жестока. Мы еще к этому возвратимся, разговор наш много раз будет прикасаться к однажды задетым темам, потому что все в жизни так — темы срастаются — война, мир, незнание, ограниченность, талант, ответственность, любовь, ненависть и еще многое,— от преобладания одной из составных частей зависит характер всей смеси. Это я снова чуть не начал долгий теоретический разговор из тех, что неизбежно провоцируется такими вот размышлениями, но лучше уж я расскажу вам еще об одном приеме.

Прием этот — один из многих, достойных веселого пересказа, но я избрал именно его, потому что он связан с темой, обсуждение которой мы (все равно) начали.

Вначале несколько общих замечаний. Я уже рассказывал, но это важно запомнить: в Соединенных Штатах неприлично и даже опасно быть «лузером» — тем, кто проигрывает,— но, с другой стороны, необходимо быть «джойнером» — тем, кто к чему-нибудь принадлежит. Клуб, компания, общество, куда тебя приглашают, дом, в котором ты живешь, или квартал, где стоит твой особняк,— все это имеет огромное, часто решающее значение. Так же, как и приемы, на которые тебя приглашают. Несколько лет назад в Нью-Йорке состоялся один из приемов наивысшего ранга — такие даются не каж-

дый год, тем легче найти упоминание о них «в анналах» и восстановить необходимые эпизоды.

Прием был дан маркизой де Кева в честь внучки генерала Франко — Марии дель Кармен Мартинес-Бордю. Для этой цели маркиза арендовала пригородный ресторан «Николай и Александра», оборудованный в русском стиле — с самоварами по углам и самодержцами на стенах. Американских официантов, одетых, согласно стилю, в косоворотки и сапоги бутылками, заменили американские же фрачные джентльмены; все это было не случайно, ибо гости оказались как на подбор, таких сапогами не сразишь. Пожаловали на прием Рокфеллеры, была жена Генри Форда и настоящий, живой астронавт в штатском. Были княгиня Зинаида Волконская (да-да, из тех самых), доктор Кристиан Барнард и не менее дюжины кинозвезд во главе с Элизабет Тейлор. Был Фрэнк Синатра и мадам (еще не вдова) Жаклин Аристотель Сократ Онасис (как ехидничали репортеры, только Платона недоставало в имени потускневшей Жаклин Бувье, в предыдущем браке — Кеннеди). Было на приеме и некоторое количество дипломатов, среди них — для разнообразия — и несколько черных. Тут-то княгиня Волконская подошла к послу одной африканской державы, человеку, поучившемуся в Сорбонне и пожившему во многих столицах, и замялась, покачивая тонкой ликерной рюмочкой. Дипломат, достаточно воспитанный и повидавший немало, немедленно повернулся к даме. «Простите,— спросила княгиня,— были ли ваши предки людоедами?» По-английски княгиня говорила с некоторым акцентом, и, выяснив, что ей легче общаться на французском, африканский посол вежливо улыбнулся и сообщил по-французски, что конечно же, мон шер княгиня, все предки до одного были людоедами. «Вы себе представьте,— заметил посол, одернув фрак,— что мой дедушка ужасно любил покушать человеческие почечки».— «А вы как?» — похлопала ресничками княгиня. «Редко,— ответствовал посол.— Вышло из моды. Разве что так иногда погрызу косточку-другую, но люблю, чтобы с мясцом чуть-чуть, и к этому обязательно надо ворчестерширский перечный соус». Внучка генерала Франко вмешалась в разговор и спросила, не шутят ли уважаемые гости. «Ах, что вы,— взмахнул рукой дипломат,— какие же, простите, могут быть шутки...»

В анналах нью-йоркской светской хроники этот случай сохранился как милая чепуха, и никто не подумал, что люди, в умственном отношении находящиеся на одном уровне со своими бальными туфельками, вовсе не заслуживают того, чтобы их неграмотность привлекала чье-то внимание. Американцы порой относятся к собственному и к чужому незнанию кокетливо, словно к некоей достойной черте богатейших своих натур; стесняться ее, мол, нечего — вот мы такие.

Суммируя свои впечатления, могу сказать, что, как правило, американцы к собственным недостаткам вообще относятся очень своеобразно — уж что-что, а комплекс неполноценности им не грозит. Многие мои американские друзья ощущали за собой право критиковать всех на свете, но смертельно обижались, едва в их присутствии начинали критиковать Соединенные Штаты.

Вьетнамская война, уотергейтский скандал значительно усилили критицизм в Америке, но по-прежнему мне встречалось немало людей, считавших, что не принимать Соединенные Штаты хоть в чем-то может лишь моральный урод или платный агент враждебной державы. На бамперах некоторых автомобилей виднеются плакатики со звездно-полосатым флажком и лозунгом: «Люби Америку или убирайся!» Все это бывает похоже на церковный католический брак без разводов и семейных дискуссий — и страшновато. Потому что с таких вот развеселых подробностей и начинается шовинизм: потому что нельзя любить Америку, не любя другие страны и не желая о них знать; потому что Соединенные Штаты должны задуматься, как же это они, пославшие две станции «Викинг» для выяснения, есть ли жизнь на Марсе, все никак не поинтересуются жизнью во многих регионах Земли. То состояние, которое теоретики нарекли сегодня в Соединенных Штатах «моральным кризисом», во многом и связано с внезапным кризисом веры в страну и — вторжением мира в столь долго пребывавшую в добровольной самоизоляции американскую среду; так люди, пострадавшие от наводнения, начинают размышлять о том, почему прорвало плотину...

«Вы странный человек и максималист,— сказал мне один из главных архитекторов сообщества Франка Ллойда Райта египтянин Камал Амин.— Я вот закончил архитектурную школу в Каире, в 1951 году приехал в

Америку, женился и с тех пор живу здесь. Делаю проекты для разных стран, в том числе для Египта, много езжу, много работаю, но хоть бы раз у меня спросили о пирамидах или о том, как сегодня мой народ — не всегда успешно — пытается спастись от голода и беды. Ни разу. Я знаю, что вы вглядываетесь в Америку с интересом и симпатией, переводили многих американских поэтов на свой язык,— здесь же этих поэтов не знают. Здесь, в Талиесине, мы проектируем дома. Где-то еще, может быть, в десяти или в ста милях отсюда, изучают поэзию, но ничего не знают о Райте и всех прочих архитекторах на свете. Еще где-то — дальше на запад, в Калифорнии,— строят ракеты, чтобы разрушать дома, а в соседней Неваде испытывают под землей ядерные заряды. Уверяю вас, что там люди не знают о нас с вами и совсем не желают знать. Это страна одиноких профессионалов; помните, как в восточной притче — один слепой держал слона за хобот и говорил, что слон похож на трубу, другой трогал ногу слона и считал, что слон похож на большую тумбу, а третий держал слоновий хвостик и кричал, что слон похож на веревку. Здесь все считают, что мир похож на Америку, а где не похож, так это трагическое недоразумение. Смиритесь с этим...»

Камал Амин вытянул ноги вдоль тигровой шкуры, расстеленной у него на полу, и вздохнул. «Вот эта шкура из Индии,— сказал он.— Я купил ее там за большие деньги, потому что тигров становится все меньше — вот-вот добьют. Думаете, хоть один из моих коллег заинтересовался судьбой тигров? Все допытывались, почем шкура, и каждый хочет иметь такую же. Вот и все».

...Когда-то Франк Ллойд Райт составил проект дома высотой в одну милю. Этот 528-этажный дом так и назывался: «Высотой в милю». Вместо лифтов в здании должна была действовать вертикальная железная дорога, сочиненная архитектором, а ядерный реактор снабжал бы дом электроэнергией. В доме планировалось оборудовать гараж на пятнадцать тысяч автомобилей и посадочные площадки для ста пятидесяти вертолетов. Райт называл дом «высоким городом будущего» и пытался представить себе несколько десятков тысяч людей, работающих, живущих, рождающихся и умирающих в нем. Естественно, что дом не был выстроен — не только потому, что никто еще не умеет строить такие

дома. Просто немало американцев живет сегодня в собственных домиках, и я, кстати, вовсе не считаю, что это плохо. Архитектура всегда капитулировала перед образом жизни; мие кажется опасным другое — что домики стоят очень далеко друг от друга, порой не докричишься. Люди как-то очень легко и быстро привыкли к мысли о безграиичии своей планеты, о том, что ее коитииенты тоже безграничны, а жизнь на Земле вечиа. Мы ие всегда решаемся вплотную подпустить к себе мысль о том, что впервые за свою историю земной шар готов уже покоичить с собой, нафаршироваиный ядерной и всякой другой взрывчаткой. Люди обязаиы вплотную вглядываться друг в друга, видеть друг друга, слышать: это не от скуки уже, это — чтобы жить. И когда страиные ночные птицы американской пустыни орали у меня под окном, как полоумные, я подумал, что, возможно, они иепременно хотят передать что-то очень важное русским, украинским или грузииским пернатым, да я их ие понимаю. Возможио, и столбообразиый кактус хотел что-то передать моим каштанам и сосиам, да я ведь тоже не поиимаю — ни сосен, ни каштанов, ни кактусов.

Главные на свете проблемы все более всеобщи. Но слишком уж часто люди, интересующиеся политикой, должиы быть в Америке или профессионалами, или смириться с репутацией чужаков. Все же взаимопоиимание народов — самая важная из возможных политик; я прислушиваюсь к тем американцам, которые напряженно интересуются нашей жизнью, и вспоминаю слова Эрнеста Хемингуэя, однажды посланные им в Советский Союз: «Простите, что я заговорил о политике: стоит только мне заговорить о политике, меия считают за дурака. Но я зиаю, никто не препятствует дружбе наших двух страи...»

Этим и закончу главу.

Я решил разделить эту главу надвое. Путь через пустыни Невады и Аризоны был долог, а все увиденное в пути было неоднозначным. Черная лента шоссе, врезанная в пейзаж, очеловечивала его, напоминала о том, что прошли здесь многие люди — очень разные и в разные времена. Дорога раскручивалась у меня под колесами, как рулон кинопленки,— казалось, вложи ее в проектор и такое увидишь...

Глава эта разделена на две части, потому что даже на пути сквозь пустыню я встречал так много самых несхожих между собой проявлений тамошней жизни, что хочу написать хотя бы о нескольких из них. Я не люблю город Лас-Вегас и попробую объяснить, почему именно. Большинство американцев, которых я знаю, бывали в Лас-Вегасе, но тоже его не любят, хоть он неизменно популярен, такой звенящий и светящийся...

Когда я впервые подъезжал к Лас-Вегасу ночью на автомобиле, он запомнился мне прежде всего как сфокусированный пучок яркого света, от которого болят глаза; считается, что огни центра города видны, как небесное зарево, еще за тридцать миль, но об этом, впрочем, я узнал позже. Вначале же, когда приезжаешь из темноты Невадской пустыни — сквозь горы, сверху вниз,— поражаешься внезапно возникшему сиянию, в котором есть даже нечто мистическое. Можно вспомнить к случаю, что некоторые великие религии родились именно в пустыне,— при всей неожиданности такой ассоциации в дальнейшем она может оказаться не столь уж далекой от истины: происходящее в Лас-Вегасе смахивает порой на отправление религиозного культа. Город этот очень американский, и не надо, мне кажется, делать вид, что люди приходят туда тайком (а я читал у нас и такое), стесняясь этой обители порока и не разговаривая о ней в приличном обществе, на службе или в присутствии дам.

У Лас-Вегаса один из самых загруженных аэропор-

тов — имени Маккарэна, одно время даже планировалось его резко расширить, в ущерб калифорнийским,— люди прибывают в город во множестве, больше, чем по пятнадцать миллионов визитеров ежегодно. Представляю, если б они начали стесняться своих посещений, что за конспирация бы в Америке развелась. Повторяю, город этот очень американский — по своей истории, своей психологии, по строительству, по мечте, из которой возник он. Что касается будущего — увидим, это ведь город сиюминутный, о грядущем и разговаривать не желающий; геологи уверяют, что за последние двадцать лет Лас-Вегас осел на целый метр — из-за опустошения водных резервуаров под ним. К радости моралистов, считается, что когда-нибудь Лас-Вегас провалится под землю и повторится история с великими городами древности, которые были погублены за грехи,— они зовутся Содом и Гоморра...

Впрочем, в трехсоттысячном Лас-Вегасе около ста пятидесяти церквей, больше на душу населения, чем где бы то ни было в США; они могли бы, пожалуй, отмолить любые грехи, если бы занимались делами богоугодными, а не хлопотали по делам венчальным и бракоразводным, усугубляющим и без того сомнительную репутацию города. Дело в том, что в большинстве американских штатов развод связан с огромными расходами на адвокатов, с издержками, выплачиваемыми по суду, и мучениями моральными — любопытством прессы, разинутыми ртами зевак. В Лас-Вегасе достаточно прожить несколько недель подряд, и ваш брак можно будет расторгнуть на веки вечные — было бы согласие сторон. Здесь же с великой легкостью благословляются новые браки — стало даже модным бесхлопотно жениться в Лас-Вегасе, где существуют, таким образом, все виды азартных игр, включая матримониальные.

Шоссе № 15 влекло меня сквозь ночную пустыню с кактусами, дорожными указателями и кроликами по обе стороны полотна. Не знаю, занимались ли кролики азартными играми,— если нет, то они были единственными существами в окрестной пустыне, которых любопытство или желание мгновенно разбогатеть не вели к Лас-Вегасу. Причем я уверен, что появись этакий маленький рыжий невадский кролик за столом для рулет-

ки, на него бы не обратили внимания и разрешили бы делать ставки, а крупье в смокинге изысканно-безразлично взглянул бы на длинноухого, объявляя выигравшие номера. В слот-машинах вращались бы нарисованные глянцевые морковки, недоступные пустынному обитателю, и...

Нет, давайте, начнем сначала.

Въезжая в Лас-Вегас, хотелось быть осторожным, потому что я ожидал от этого города атмосферы немыслимого купеческого разгула, с пьяными, сидящими посреди тротуара, и шулерами, выносящими деньги в плетеных булочницких корзинах. Ничего подобного; атмосфера в городе подчеркнуто деловая, здесь не валяют дурака, а играют на деньги — занятие это очень серьезное, и город посвящен ему двадцать четыре часа в сутки. Над городом повисла дымка торжественности и в то же время предчувствия разудалых празднеств.

Желание разбогатеть (кого посещают желания проиграться?) придет и к вам, независимо ни от каких других обстоятельств, уже в гостиничном вестибюле. Даже если внешне оно будет оформлено как желание попробовать, то где-то в недрах темперамента стыдно и подсознательно может взвизгнуть недорезанный пиратский пережиток: «Ух, и выиграю я кучу золота — в этих же песках и зарою, только на сундук израсходуюсь...» К администраторской стойке в гостинице проходишь сквозь ряды столов, где очень сосредоточенные люди с умными лицами испытывают фортуну, играя в явно неинтеллектуальную игру, в Америке называемую «блекджек», а у нас и того проще — «очко». Атмосфера конструкторского бюро электронщиков или кардинального конклава в соборе святого Петра. Короткие реплики вполголоса, сдержанные поклоны, крупье с манерами членов британской палаты лордов. Я остановился в гостинице «Эль Марокко», и мне сразу же сказали, что, если мистер (то есть я) желает приняться за игру немедля, гостиничный служащий распакует мои чемоданы и разложит вещи по полкам в шкафу отныне принадлежащего мне номера 206. Я ничего не ответил и величественно проследовал на второй этаж, потому что люблю распаковывать свои чемоданы самостоятельно.

Кто только не распаковывал свои чемоданы в Лас-Вегасе! Испокон веков был здесь оазис на дороге с во-

стока в Калифорнию, и переселенцы, загонявшие лошадей по пути к золоту, позволяли себе утолить жажду в этих местах и отмыть глаза от пыли. В 1854 году здесь обосновались мормоны — сектанты, которых в Америке недолюбливают,— и начали расширять существующий уже городок. (Мормоны до сих пор составляют бо́льшую часть служащих в казино: считается, что они не воруют, а многоженство, исповедуемое сектантами, карточной игре не помеха. Старейшие городские ломбарды, такие, как Стони, тоже мормонская собственность. На здании ломбарда можно увидеть какой-нибудь религиозный призыв вроде: «Склонись ко Мне, дитя Мое!», но слуховых аппаратов, искусственных глаз, очков и вставных челюстей в залог все равно не берут.) Когда в 1905 году железная дорога дотянулась до Лас-Вегаса, в оазисе уже бурлил городок средних размеров и довольно приличных манер, несмотря на то, что в пустыне находили уже не раз и серебро, и золото. Одно из решающих в своей истории потрясений Лас-Вегас пережил в тридцатые, кризисные годы, когда тридцать первый президент США Герберт Гувер решил построить неподалеку от города плотину на реке Колорадо, которая должна была создать энергетическую базу для развития большого района, оросить бесплодные территории, а заодно собрать в одном месте и занять многие тысячи безработных, возбужденно слоняющихся по большим городам. При всем том в тогдашней Америке было ведь уже около тридцати миллионов автомобилей, массовыми стали кино и радио с воспеваемым ими образом разбогатевшего красавчика в новом «форде»; красавчик вырвался из беды ценой необыкновенной ловкости и везения. Переизданные плакаты с красавчиком можно купить в магазинах «Гранд Отель МГМ» когда угодно, а по внутреннему гостиничному телевидению можно поглядеть и все старые фильмы о нем; молодец с пробором стал несколько старомоден, но призывность образа не иссякла. Короче говоря, в 1931 году после короткой дискуссии и мгновенного плебисцита в штате Невада, к которому с 1869 года принадлежит Лас-Вегас, были разрешены азартные игры. На ту пору это был единственный штат, где играли в открытую, и репутация Лас-Вегаса стала совершенно определенной. Казино росли, как грибы; мафия прикладывала к ним руку совершенно

бесспорно, и лас-вегасский мэр Гринбаум однажды был обнаружен в постели с перерезанным горлом; гангстеры помельче получали свои свинцовые порции прямо на улице или в кафе за утренней трапезой — стрельба шла как во время кинобоя с индейцами, истребленными в этих местах много раньше.

Но оставайся Лас-Вегас именно таким — скопищем притонов с разнокалиберной стрельбой,— судьба его была бы недолговечной и специфической. Хозяева города прекрасно понимали это, и, особенно в послевоенные годы, гостиницы и казино начали одеваться в плюш, бархат и шелк; начали строиться залы для весьма солидных конференций и съездов; концерты и представления в Лас-Вегасе традиционно самого высокого уровня: когда я там был, к примеру, выступал очень известный и хороший (что не одно и то же) музыкант Бахарах, пел Дин Мартин, гастролировал балет. На церемониях открытия отелей поют звезды рангом никак не ниже Барбы Стрейсанд или Фрэнка Синатры; многие официальные спортивные мероприятия — кстати, и встречи боксеров СССР — США — по традиции проводятся здесь. Лас-Вегас, где преступность невероятно высока, стесняется говорить об этом вслух — не то что Чикаго или Нью-Йорк,— зато когда шеф местной полиции изловил в городе двух торговцев марихуаной, он демонстративно вывез их подальше в пустыню, развернул лицами в сторону Калифорнии, до которой не так уж близко, и дал каждому по широко разрекламированному тычку под зад.

...Игорные залы обтянуты разноцветными драпировками мягких и благородных тонов, столы, как положено, зеленого цвета; ни в одном казино нет окон и настенных часов — время остановилось, а все в Лас-Вегасе — включая учреждения по разводам и свадьбам, рестораны, большинство магазинов — работает двадцать четыре часа в сутки. Для очень занятых людей даже церковные службы по воскресеньям проводятся прямо в казино, и высшая сила с ужасом витает над богопротивными столами, где люди склонились у рулеточных колес почти в религиозном экстазе. Я же говорил вам, что не одно из массовых верований стартовало в пустыне,— здесь царит атмосфера сосредоточенного радения. Очень засасывающая и, надо сказать, прекрасно организованная ат-

мосфера. Еще на подъезде к Лас-Вегасу я обнаружил на бензоколонке пачку красивых листов бумаги, каждый из которых был разделен на разноцветные отрывные полоски. За одну полоску вам сулили разменных монет на два доллара, за другую — бокал шампанского, за третью — еще что-то. Конечно же при том условии, что вы посетите казино, где полоски подлежат реализации. Я посетил и, мгновенно проиграв два дармовых доллара, потянулся за собственными, кровно заработанными,— а вдруг... И шампанское тоже было выдано,— правда, калифорнийское, розовое, в маленьком бокальчике, но все же...

В другом казино я попытал счастья у слот-машины — это средних размеров шкаф, похожий на инкрустированный автомат для продажи газированной воды: такая же щель для монеты и такое же окошечко внизу, откуда в случае выигрыша выскакивает положенная тебе сумма. Но есть две технические детали — длинная ручка сбоку (за нее надо дернуть, когда опустишь монету, отчего автоматы и зовутся в быту не своим официальным именем «слот-мэшинс», а «уан хендид бэндитс» — «однорукие бандиты»); на передней стенке автомата — окошечко, за которым вращаются цифры, буквы или нарисованные апельсинчики, морковки, вишенки (играть может даже неграмотный) — каждое сочетание символов чего-нибудь да стоит. Если ты выиграл (иногда случается и такое), автомат исторгает из своей инкрустированной груди долгий и довольно приятный звон, продолжающийся, пока сыплются деньги. Один раз, к примеру, я сунул «бандиту» в прорезь пятицентовик, дернул за ручку, и морковки с вишенками остановились в позиции, сулящей мне пять долларов. Сто никелевых монет сыпались под неумолчный автоматический благовест очень медленно и торжественно; проиграл я их тут же и куда быстрей, чем получил.

Когда я попробовал отойти от автомата, ко мне приблизился некто в черном и с галстуком бабочкой. «Сигареты»,— буркнул я; сигареты были поданы через считанные секунды, и именно мой сорт. Когда я попросил выпить, мне принесли вино, воду — все, чего хотелось,— к машине и немедленно; пока я намерен был играть, казино за меня держалось железными руками всех своих игральных машин и белыми перчатками всех крупье.

Стрип, центральная улица Лас-Вегаса, озарена немеркнущим светом, потоками льющегося с вывесок,— около миллиарда долларов оседает ежегодно в бездонных сейфах этого города, можно и не экономить на освещении... Здесь преступность повыше чикагской и самоубийств больше всего в мире, но в залах казино никто не говорит об этом, там запрещается даже фотографировать, и охранники с автоматическими винтовками недремны за своими амбразурами у потолка — Лас-Вегас последовательно блюдет тайность, скрывает свои черные дворы и слепит вас такими потоками разнообразных призывов к игре и веселью, что невмоготу противостоять им. Придание городу благообразного вида — целая наука, очень современная и очень серьезная; это не Нью-Йорк — о разбойничках здесь почти не пишут, зато все знают, что прошлой осенью в Лас-Вегасе была начата реставрация популярной гостиницы «Аладдин», расширяемой до тысячи тридцати комнат (уже сейчас в здешних гостиницах только самого высокого класса есть тридцать пять тысяч номеров). При реконструируемой гостинице «Аладдин» за десять миллионов долларов строится театр на семь с половиной тысяч мест и лучшие в Америке помещения для конференций и съездов. К гостинице «Стардаст» пристраивается новое казино за три с половиной миллиона. О таких событиях рассказывают без удержу. Куда меньше пишут (но все же пишут) о том, что «Дезерт Инн», гостиница, рекламируемая на всех перекрестках, первая из купленных здесь полулегендарным Говардом Хьюзом, возводилась на деньги далекой отсюда банды кливлендских мафиозо — в свое время об этом писали побольше, да вскорости замолкли, перейдя на привычный треп. Удивительно красивы фонтаны и розово-белые колоннады нового «Цезар пэлэса» (оказалось, что и к этому дворцу прикладывал лапу один из шефов чикагской мафии — Сэм Джианкано; у нас не так давно печатали американские сообщения о том, что Джианкано вступал в сговор с ЦРУ, взявшись за убийство Фиделя Кастро,— создавался союз стукачей с бандитами...).

Я прикоснулся к подробностям историй, весьма запутанных и неизвестных до конца ни мне, ни моим знакомым,— лучше такого не вспоминать на ночь глядя, давайте-ка утром, проснувшись после недолгой здеш-

ней ночи, выйдем на пустынную улицу, чтобы удивиться, до чего же она пыльная и некрасивая, как выжжены ее цветники и раскалены стены, сколь замусорены ее мостовые; по утрам город пустынен, словно выстроен в «Марсианских хрониках» живущего неподалеку отсюда Рея Бредбери. Завтрак можно получить когда угодно — во множестве кафе кормят расторопно и дешево, здесь не зарабатывают на яичницах и яблочных пирогах, поэтому стандартные рационы в массовых кафетериях аккуратны, питательны, хотя и не очень вкусны; но вы же приехали в Лас-Вегас не для того, чтобы дивиться здешней кулинарии? Официанты дают сдачу мелочью; даже серебряные доллары с профилем Эйзенхауэра, которых не увидишь в Нью-Йорке,— радость нумизматов,— здесь выдаются неограниченно. Рядом с кассой у входа — игральный автомат, можешь всю мелочь просадить прямо здесь, не отходя от кассы.

Люди быстро жуют и выходят на улицу. Атмосфера золотой лихорадки кружится над этим городом — здесь спят когда придется, но больше по утрам, а играют все остальное время; в моей «Марокко Инн» даже плавательный бассейн открывается только в одиннадцать утра — все равно никто не приходит раньше... «Как вам сидится здесь, в денежном лязге? Не надоело?» — вежливо спросил я у дежурной внизу, отдавая ей ключ. «А почему мне это должно надоесть? — ответила сердитая и невыспавшаяся женщина.— Это жизнь, только в нашей лас-вегасской жизни все открыто — люди играют на деньги, одни получают их, а другие проигрывают. Это и есть жизнь, уважаемый джентльмен. Вы не согласны?» Нет, я не был согласен, но запомнил слова дежурной, потому что вчера, когда, окончательно разуверившись в своих шансах на пиратское золото, шел к себе в номер, остановился в гостиничном вестибюле у стола для игры в «очко» и разговорился с банкометами. Я сразу же успокоил их, сказав, что потерял интерес к карточным играм еще в раннем детстве и поэтому не буду выспрашивать у них профессиональные тайны или умолять выбросить мне три выигрышные карты — тройку, семерку и туз, составляющие в сумме желанное двадцать одно очко. Банкометы не очень верили, но кофе они все равно пили чашку за чашкой, так что,

сидя у стола с кофейником, я каждые пятнадцать минут получал в собеседники то одного, то другого — они менялись раз в четверть часа. Наконец банкомет по имени Вилт, блондин лет тридцати с безукоризненными манерами, уверовал в мою карточную пассивность и доверительно сказал: «И правильно. Не играйте. Все равно не выиграете. Вот я — не играю и не пью».— «И счастливы?» — не вытерпел я. «Счастлив!» — ответил мне банкомет с некоторым вызовом и перестал откровенничать. Его напарница Дженни оказалась общительней. «Вы не играете потому, что вам нет еще двадцати одного года? — игриво спросила она.— У нас до двадцати одного года играть нельзя». Я ответил, что явно впадаю в детство и временами чувствую себя юным до неприличия. Банкомет Дженни заулыбалась, а потом сказала, что мы, пожалуй, сверстники — она из Нью-Йорка, училась там в школе, там же брала уроки музыки, а с конца пятидесятых годов начала там петь в ночных барах. Карьеры не сделала и несколько лет назад переехала в Лас-Вегас вместе с мужем. «Вот я не играю — нам, кто работает в казино, это настрого запрещается,— не играю и не хочу. Просто обуял меня дух азарта, это у каждого из нас есть, правда? Предчувствие удачи, которая вот-вот и твоя,— словно нота, которой никогда не мог взять, и вдруг она прорезалась в голосе. Нельзя жить в Америке и не верить в удачу. Я пришла работать в «Марокко», во все здешние алые драпировки и кровати под балдахинами,— вы знаете, здесь все настолько увлечены игрой, что ко мне никто не приставал, даже когда я была моложе,— мы все равно не имеем права сближаться с клиентами, но ко мне никто не приставал — играют. Кое-кто выигрывает, редко, но случается, а в основном плачут, проигрываются, вы себе представить не можете. Очень трудно жить наоборот — я ведь работаю по ночам, с полуночи до восьми утра. Когда мы с мужем едем в отпуск, я долго привыкаю к тому, что можно спать ночью, а днем жить как все люди. Хорошо, что у меня нет маленьких детей,— вы представляете, каково в здешней школе? На уроки, с уроков дети ходят сквозь денежный дождь и привыкают, что все основано не на труде, а на везении. Я вот не играю, так особенно это чувствую. Мы с мужем держим дочь у его родителей в Нью-Йорке. Муж сейчас не работает; он иногда слетает к дочери на

недельку-другую. Она в Колумбийском университете. Здесь тоже, знаете, есть университет — Южный Невадский, так там никаких почти заварух не случается — все здесь как под наркозом. Даже негры — это, конечно, хорошо, что они никаких скандалов не устраивают и демонстраций — живут в западной части города и играют, наверное, там тоже многие под наркозом. Это я в Нью-Йорке привыкла, что там все что-то случается, кто-то шумит, кто-то скандалит. А здесь играют, играют, играют... Всем выигрыш снится, но так же не бывает, чтоб всем...»

Позади меня между игральными автоматами бегал старичок. Внешне он был похож на золотоискателя-алкоголика: я встречал таких на Севере — лицо фанатика и жилистые, серые руки. Старичок двигался с ловкостью опытной ткачихи-многостаночницы, дергая то за ту, то за другую ручку в большом своем машинном хозяйстве. Время от времени раздавался выигрышный благовест, и монетки сыпались из автомата в цинковое корытце. Совершенно машинально я взял со стола пятицентовик и приблизился к одной из обслуживаемых старикашкой машин. Тот почти ударил меня по пальцам, отпихивая от своего хозяйства. «Идет»,— сказал старичок, даже не глядя в мою сторону. Сыпались никелевые монетки, и я не мог своей невезучей лапой срывать полосу золотоискательских удач — дедушке привалило...

У ночной газетной стойки рядом, где продавались плакатики на все случаи жизни, наибольшим спросом пользовался такой: «В случае ядерного нападения на Лас-Вегас прячьтесь под эту игральную машину: в нее можно бросать все что угодно — и все без толку». Мрачный старичок мирно сосуществовал с мрачным юмором плакатика.

Каждый игрок обладает одной или несколькими системами, сулящими сплошные выигрыши. Из всех систем, что я узнал в Лас-Вегасе, применить мне не удалось ни одной. Первая была основана на самообладании и трезвости умысла, а посему относилась к самым непопулярным — согласно ей надо в один карман положить сумму, выделенную тобой для игры, а в другой складывать выигрыш; время от времени содержимое карманов надо сверять и по результатам сверки делать само-

стоятельные выводы. Второй способ более научен — следует все время удваивать ставки: проиграл — удвоил, еще раз проиграл — снова удвоил. Согласно всем законам математики, в который-то раз к тебе по крайней мере возвратятся все поставленные на кон деньги. Но чтобы так играть, надо их иметь очень много и терпеливо дожидаться выигрыша, сулимого теорией вероятности.

В Лас-Вегасе играют в кости и в покер, в разновидность лото, именуемую «бинго», и знакомый вам «блекджек» (в «очко», кстати, можно сыграть и с автоматом, этот автомат обставил меня, как вокзальный шулер) — здесь играют все и на все. Есть игра, в которой можно поставить один цент, а в казино на двадцать шестом этаже «Гранд Отеля МГМ» начальные ставки дозволены с пятидесяти долларов до двух с половиной тысяч — за членство в Метро-клубе на двадцать шестом этаже надо уплатить тысячедолларовый вступительный взнос. И все-таки, хоть есть в Лас-Вегасе привилегированные клубы и гостиничные номера, за которые надо платить полторы тысячи в день (пентхаузы «Клеопатра» и «Шахразада» в гостинице «Аладдин»), это прежде всего город для рядовых американцев, тех вот самых статистических, средних, пьющих по шестнадцать чашек кофе в неделю и потребляющих по двести восемьдесят семь яиц в год. Бесспорно, что Лас-Вегас — карикатура на Америку, но почему же так любит Америка это кривое зеркало? Почему она сбегается на сияющую улицу Стрип и люди годами рассказывают друг другу о том, как довелось быть в Лас-Вегасе и счастье просвистело мимо, словно пуля из индейского ружья, а еще был случай...

Это город, принявший пустыню в себя, и так же, как слежавшиеся в дюне песчинки не становятся монолитом, так и люди, проходящие сквозь эту опустошенную землю, стабилизируются в собственных разобщенностях, бывают даже счастливы в них: ведь каждый здесь — миллионер без пяти минут; вот повернутся морковки, апельсинчики и вишенки во внезапно расщедрившейся красивой машине, и денежный ливень окатит тебя с головы до пят. Крупье вежливы и встречают тебя как давнего друга, даже поговорят: кто знает, может быть, ты новый Говард Хьюз — захочешь и купишь их

со всеми рулетками, карточными колодами и прочими потрохами. Здесь красиво — играет музыка, ходят и танцуют роскошные женщины,— здесь праздник, по которому так изболелась раздерганная в суетах и потерявшая надежды душа.

Не буду пересказывать вам всех легенд о лас-вегасце Говарде Хьюзе, одно время у нас перепечатывали их во множестве; но жив и этот миф — о загадочном человеке, бывшем летчике-испытателе, потерпевшем в 1947 году катастрофу на самолете «ФХ-11» и с тех пор не бравшемся за штурвал. Хьюз приехал инкогнито и поселился на последнем этаже отеля «Дезерт Инн». В кармане у него лежал чек, полученный после ликвидации дел с компанией ТВА,— самый большой чек, лежавший когда-либо в кармане мужских брюк,— на пятьсот сорок шесть миллионов пятьсот сорок девять тысяч семьсот одиннадцать долларов. Деньги надо было вложить в новое дело, дабы избежать огромных подоходных налогов. Никогда не прикасавшийся к азартным играм Хьюз начал с покупки гостиницы, в которой остановился, а затем приобрел одну седьмую часть Лас-Вегаса — с казино, аэропортом, телецентром и многими тысячами людей, занятых во всех купленных им предприятиях. История сражений Хьюза с техасским магнатом Керкоряном, история того, как автоконцерны и голливудские кинодеятели вкладывали деньги в Лас-Вегас, теряя их или умножая,— история еще одной игры, еще одного азарта, но тоже очень американского, лютого, возле костров которого с удовольствием греются маленькие клерки из невеселых контор Атлантического побережья и бесконечно соблазнительные калифорнийские секретарши, ищущие в Лас-Вегасе женихов.

А игра вокруг подземных ядерных взрывов, первый из которых состоялся 14 сентября 1957 года возле Лас-Вегаса? Взрывы удалось отодвинуть аж на Алеутские острова, а перед этим вся невадская мафия с такой энергией развернула борьбу против ядерных испытаний, что впору было принять ее за организацию сторонников разоружения. Очень много всего и разного заплелось вокруг сияющих казино в пустыне; игры человеческие многообразны. Но так хочется радости...

Праздники необходимы; на Новой Гвинее аборигены закалывают свинью и веселятся вокруг нее по месяцу;

существуют праздники рыбы, снопа, благодарения, елки и много чего еще; в Лас-Вегасе бесконечен праздник надежды на большую удачу, на внезапное счастье, которым изменится вся жизнь. Все здесь твердо убеждены, что не бывает счастья всеобщего. А значит, каждый сам осчастливливает себя, как может; осчастливливает надеждой и мелким выигрышем — золотая птица удачи свила здесь гнездо и вполне может прикоснуться к тебе радужным перышком.

Праздник, который всегда с тобой,— это Париж; Хемингуэй имел основания придумать такое определение. Лас-Вегас остается Праздником без тебя — уезжаешь отсюда и понимаешь, что нечего взять с собой. Даже в случае выигрыша.

Я вовсе не собирался читать американцам нравоучительные лекции: если нравится, пусть играют. Но мне продолжает казаться унизительной безрадостная забава со звенящей фортуной из казино, от рукопожатий с которой ладони становятся черными (монеты пачкаются — в казино есть специальные рукомойники для избавления рук от черноты,— преходящие проигрыши с выигрышами отпечатываются на ладонях безразличием металлической окиси). Музыка Лас-Вегаса звенит в памяти, а я вытряхиваю из ушей даже ее, потому что монетный благовест заглушает все другие мелодии невадского города; деньги не могут быть символом счастья — такого деловитого и конкретного,— сколько бы Лас-Вегас ни убеждал меня в этом. Мальчишка Гекльберри Финн со штанами на единственной подтяжке был по-своему счастливее угрюмого старика Говарда Хьюза.

Разговоры о счастье — одна из наиболее личных и популярнейших тем, я не раз пробовал навязать миллионерам свои мировоззренческие представления о нем, но миллионеры не поддавались так же, как я им. Счастий оказалось много,— к сожалению, не все они бывали надежны и красивы; выступая в Финиксе, штат Аризона, я привел известные чеховские слова из «Крыжовника», которые показались мне поучающими без назойливости и кстати: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других».

Впрочем, кого-кого, а названного здесь героя Марка Твена — паренька Гека — упомянутые высокие материи не очень-то волновали; даже мучительно размышляющий Том Сойер умел смеяться куда заразительнее, чем весь город Лас-Вегас, и это было прекрасно.

Я сейчас подумал вдруг не о героях Чехова и Твена — я подумал о неистребимости смеха.

Американцы смеются; они растягивают губы в улыбке, когда страдают от боли, и хохочут, проиграв. Боль остается тебе, она хранится внутри, не растворяясь в повседневном нытье, а снаружи — «кип смайлинг» — «улыбайся»! Об этом можно писать в каждой главе — возвращаются лица, запомнившиеся за океаном, и когда я просматриваю фотографии, сделанные в Америке, они окатывают меня белозубостью, потому что ни одной угрюмой физиономии я не привез даже на негативах. Жить очень трудно, а без надежды вовсе не выживешь. Надеяться нужно до конца — в толпе, наедине с собой и в пустыне.

...Девушку эту я встретил в Аризонской пустыне возле города Финикс. Она ездила на «кадиллаке» выпуска 1959 года, купленном по случаю, и выглядела очень красивой за ветровым стеклом своего видавшего виды автомобиля. Пустыня начиналась прямо у ограды ее домика — неразумные кролики прошмыгивали по ночам сквозь незапертую калитку внутреннего дворика и тонули в бассейне; однажды во дворик заползла гремучая змея, и от нее было очень трудно избавиться, так же, как трудно было доставать из бассейна кроликов-самоубийц. Дело в том, что девушка живет одна, ей двадцать три года, и вот уже пять лет нижняя половина ее тела парализована — с тех пор, как восемнадцатилетняя выпускница средней школы в штате Висконсин упала на рождественском льду и сломала позвоночник, ударившись о порог дома.

Девушка улыбалась, разговаривая со мной, но как-то раз сказала: «Выйдите, пожалуйста, на полчасика,— мне сейчас очень больно, я должна прийти в себя, уже не могу терпеть...»

Она получила страховку и купила дом в местности, где круглый год тепло,— в пустыне возле города Финикс; через два года заказала бассейн, и бассейн ей соорудили — к тому времени девушка начала зарабатывать сама на себя. Вместе с одним автомехаником открыла одну маленькую мастерскую по ремонту и реставрации очень старых автомобилей — удалось найти, реставрировать и продать коллекционеру «мерседес» выпуска тридцатых годов; бизнес на этом, собственно, и закончился — прибылей хватило на постройку бассейна и на ремонт домика — большинство работ девушка выполнила сама.

Я не называю здесь ее имени, потому что девушке было бы очень больно от моих сочувствий, восторгов и сожалений; она улыбается, пересаживаясь из коляски на переднее сиденье своего очень старого «кадиллака», сложенную коляску запихивает на заднее сиденье, все сама, все улыбаясь. В университете, где девушка завершает курс наук об организации современного бизнеса, она приглядывается к юридическому факультету — хочет закончить его, денег должно хватить — и начать собственное дело в адвокатской конторе. «Это будет славно,— говорит она.— Я собираюсь выступать по делам об автомобильных травмах и быстро приобрету популярность. Вы представляете — въезжаю на коляске и говорю: «Господин судья! Господа присяжные! Я понимаю мучения этого человека, пострадавшего в катастрофе...» И смеется.

Это очень американский характер — сродни тем, что запомнились из литературы; человека бьют, а он встает и, улыбаясь, надвигается на противника — раз, второй, пятый. Его снова бьют, а человек улыбается расквашенным ртом, лезет в драку, пока его не свалят совсем или пока противник не отступит перед упорством. Здесь упрямством не хвастаются — герой рассказа Джека Лондона «Любовь к жизни» просто хотел выжить, не видя в этом особого героизма и не философствуя,— он хотел выжить и, замерзая, полз, улыбаясь деревенеющим ртом.

Улыбается парализованный Уолт Уитмен — из истории американской литературы; улыбается парализованный Теодор Ретке — из классиков новой американской поэзии.

Улыбаются астронавты, улыбается преступник, поднимая запястья в нару́чниках, улыбается ковбой, гарцуя за изгородью у шоссе, улыбается бывший президент Никсон, вывозя в кресле свою парализованную жену из больницы. Это не потому, что всем весело; попросту «улыбка — это флаг корабля» (одна из немногих советских песен, которые звучали в Америке). Опустив флаг, корабль капитулирует и прекращает существование; достойнейшие корабли и тонут с флагом на рее.

Город Финикс похож на несколько рыболовецких флотилий, рассеянных в океане. Пустыня — океаном вокруг, с валами каменных взгорий, с каменистыми породами, выступающими в песках, словно серая зыбь. Фло-

тилии закинули сети каждая в своих водах и ие приближаются друг к другу — кварталы особняков разделеиы нейтральными зонами, где растут лишь толстые зеленые кактусы, похожие иа гигантские окаменевшие огурцы с отростками или на причудливые скульптуры, сооружеиные здесь давио ие существующей, неразгаданиой цивилизацией.

Аризоиа — штат малоиаселеииый, хоть сегодия в нем живет столько же людей, сколько было их во всей Северной Америке при открытии континеита Колумбом,— около полутора миллионов. Город Фииикс — единствеиный из городов ее, известных в Америке, иадо сказать, очень хорошо известных, хоть все дома в нем молоды. Вы знаете, что америкаиские города возникали иа конъюнктурах, этот рос иа оружейных заводах и иа иаститутах ядерных исследоваиий, сосредоточившихся в пустыиях Невады, Аризоиы и Нью-Мексико (к тому же в штате оказались ураиовые залежи). Город рос на пионерских мечтах; очарованиые сухим и ровиым его климатом, сюда съезжались иемолодые люди, мечтающие о жизни в субтропиках и способные за это платить; индейцы племеи Апачи, Навахо и других, помельче, выжившие в Аризоие до наших дней, от городов оттесиеиы. (Когда я был в Фииксе, в город приехала делегация индейцев племеии Хопи с вождем Майной Леиза, оии передали местным властям декларацию: «Все, чего мы хотим, это полной независимости от правительства белых людей, потому что желаем жить своей собственной жизнью и молиться собственным богам иа своей земле». Индейцы приехали на иеоседлаииых лошадях, в головиых уборах из перьев,— их семидесятилетияя предводительница вручила текст декларации, после чего делегаты племеии уехали в сторону гор.) В земле Аризоиы нашли золото, серебро, медь — иеулыбчивые (вот кто в Америке не иаучился смеяться) индейцы торгуют перстнями и браслетами из химически чистого серебра с бирюзой и кораллами — им это беспошлиино разрешено. (В кузове «пикапа» иа домоткаиой дерюге ярчайших цветов задумчивый иидеец рассыпает свои белые сокровища и каменеет иад ними. Здесь без обмаиа, ио и торговаться не прииято — покупай или проходи мимо.) Поля Аризоны неплодородны, но иа обводненных землях растут хлопок, цитрусовые и даже кое-где виноград. На этой холмистой иеласковой

земле делают самолеты, выпускают консервы и учатся всем на свете наукам — от индейской письменности до архитектуры. Жизнь в Аризоне странна — в песках и камнях, проросших саксаулом, кактусами и очень жесткой травой. Но есть еще Финикс Райской долины, тот самый центр притяжения богатых пенсионеров, о котором я вам уже рассказывал. В клубе Райской долины всего девятьсот семьдесят пять членов; в старческой улыбке растянут рот Голдуотера (помните, был такой сенатор, в шестидесятые годы рвавшийся в президенты, требовавший сбросить атомную бомбу на Вьетнам и разорвать дипломатические отношения с СССР), улыбаются Ригли (наследница изобретателя жевательной резинки), Дуглас (самолеты), Кайзер (алюминиевые заводы), Файрстоун (автопокрышки)...

Для многих пожилых жителей американского Среднего Запада сияющая Аризона — словно земля обетованная, предсмертное очищение высшим светом, клубом Райской долины. Особняк Барри Голдуотера осиным гнездом приклеен к розово-серой стене скалы; сам владелец универмагов, с треском провалившийся при попытке захвата Белого дома, позирует на открытках в замшевой шляпе и галстуке-удавке «бола»: «Добро пожаловать к нам в гости!» Правда, дом самого Голдуотера охраняется, и частная дорога, которая к нему ведет, перекрыта шлагбаумом.

Шлагбаумами, пусть не всегда столь осязаемыми, но не менее действенными, перегорожены пути в большинство закрытых клубов Финикса — теннисные, гольфклубы; членство в танцклубе, скажем, должно быть подкреплено взносом в двадцать пять тысяч долларов. Людей, приезжающих сюда не жить, а доживать, можно очень легко классифицировать по состоянию текущего счета в банке — итога всей прошлой жизни. «Вначале мы не жалели сил и растрачивали здоровье, чтобы заработать деньги, а теперь расходуем деньги, чтобы возвратить себе здоровье и силы»,— изрек один из острословов города Финикс...

Этот город разделен на множество кружков с почти кастовой четкостью; только в Райской долине есть тридцать девять клубов, закрытых наглухо,— даже просить о приеме во многие из них можно не чаще чем раз в три года,— время остановилось в пустыне, словно разбились

его песочные часы и стали дюнами в кактусовых столбах. Нет, правда, вы представьте себе очень чистый, красивый и совершенно пустой город — это днем. Есть острова заселенные — университет на отшибе, стадион, где время от времени случаются бейсбольные матчи,— какая там игра на жаре... В городе очень пусто не только в часы полуденной сиесты, которую здесь почитают и, по-моему, растягивают на бóльшую часть дня; почему бы и нет, ведь многие жители Финикса уже свое отдумали, отсуетились, отработали, отсчитали. Райская долина близка, и не только та, что в Финиксе... В городе бывает средь бела дня так пусто, словно это территория хорошо организованной воинской части,— знаешь, что люди здесь есть, но они где-то; это место не для посторонних. Эрл Бимсон, президент здешнего банка, считает, что население Финикса в ближайшие годы сможет утроиться, но и тогда, думаю, посторонний будет гадать, в каких раковинах скрыты здешние обитатели,— красивая устричная отмель, а не город.

Для многих европейцев, едущих в Америку, она еще вначале была чем-то вроде потустороннего мира, заменителем ада и рая их верующих родителей. В Америке каждому должно было воздаться за земную жизнь — здесь каждый получал собственный ад или свой рай,— а в потустороннем мире, как известно, каждый сам по себе. Все размышления о будущем потеряли смысл — какое же в аду и раю будущее,— остался только сегодняшний день, более или менее протяженный, и надо было его прожить сообразно возможностям. Если в Лас-Вегасе каждый мечтает получить больше того, что ставит, то в Финиксе выигрыши предъявлены — каждый получает соответственно тому, что лежит перед ним на зеленом сукне стола. В Райской долине оправдывают название этой обители, здесь каждый играет на своей лютне и сидит под собственным лавровым кустом. Иногда по небу пролетает вертолет дорожной полиции, словно заблудившийся зимний ангел с лыжами, прижатыми к животу. Здесь мало негров, гетто невелико и малоактивно; преступления специфичны — огромное количество людей, например, задерживают после полуночи за то, что они водят автомобили в пьяном виде,— но среди одиннадцати тысяч прошлогодних пьяных водителей почти не было отчаянных забулдыг, около восьми с половиной ты-

сяч оказались заскучавшими владельцами респектабельных райских кущей. В городе не гремят шумные расовые погромы, здесь даже боги разноцветны и не встречаются, разобщенные, словно день и ночь. В богатейшем Финиксе музей искусств очень мал и неинтересен, частные коллекции живут в особняках, свезенные туда постаревшими собирателями; мир людей, которым ничего не нужно, кроме покоя, оберегает этот покой. Позванивают колокольчики у входа в полупустые магазины, во многих продавец предлагает бесплатно кофе, кресло, газету — ну кто, скажите, будет селиться в Финиксе ради дармовой чашки кофе?

Двадцатитрехлетний Деннис Эджер — мы познакомились у врача, который выписывал мне очки,— служит бухгалтером, зарабатывает вполне достаточно и мечтает пойти служить в военно-воздушные силы, где будет зарабатывать столько же. «Почему? — удивился я.— Ты обхаживаешь окулиста, чтобы получить справку о хорошем зрении, уйти в армию и получать такую же зарплату?» — «Но в армии через пятнадцать лет положена пенсия — невозможно жить в Финиксе и не мечтать о покое»,— ответил мне молодой очкарик, с детства мечтающий стать пенсионером и близоруко щурящийся на таблицы, выученные наизусть. Он уже присмотрел домик с бассейном и собирается взять займ на покупку его — в рассрочку, на пятнадцать лет, до пенсии; пока он сможет сдать домик в аренду собственному отцу — за оптимальную плату, они еще обсудят...

Домик с видом на пустыню. Как поется в негритянском религиозном гимне: «Выйди из пустыни, выйди из пустыни! О, расскажи, что видел...» Здесь живут пустынники; в кельях светятся телеэкраны — можно видеть целый мир, отраженный в них. А можно взглянуть в окно — простейший из телевизоров — и порадоваться, что мир этот так далек, а в песках тявкают степные собачки, охраняющие город от вторжения кроликов.

Здесь не любят вторжений. Репортер газеты «Аризона рипаблик» Дональд Боллс прошлым летом включил мотор своего автомобиля и взорвался на бомбе, подключенной к мотору. Здесь не любят людей, вторгающихся в секреты Райской долины,— считается, что в Финиксе живет несколько боссов нынешней мафии; они, и не только они, не любят, когда пытаются без приглашения

войти за шлагбаумы. Дальнейшее расследование протянуло нити к семье Голдуотеров — политические ультра в который уже раз оказались причастными к уголовщине...

Очень тихий полумиллионный город. Архитектурный полигон школы Франка Ллойда Райта; широко признано, что район Скоттдейл со странными его сооружениями, порожденными фантазией, богатой до изощренности,— один из североамериканских центров экспериментального строительства и дизайна. Район наступает на старые дома — повышается арендная плата, владельцы отживающих построек съезжают, освобождая место для нового бетонного шедевра, похожего одновременно на древний храм в Киото и на дот, простреливающий значительное пространство. Война и мир; солдаты нескольких армий — ангелы и черти, блюдущие видимость нейтралитета.

Одна из самых элегантных казарм на свете, бесспорно, гостиница «Билтмор» в Финиксе.

Бетонные кубы, разбросанные по парку, скрытые в густых зарослях; здесь все пропитано угрюмыми конструктивистскими фантазиями тридцатых годов и снобизмом внезапно разбогатевших эмигрантов. Когда рядом с тончайшей графикой ковра, сделанного по рисунку Райта, мелькает массово размноженная физиономия секс-бомбы, повторенная на десяти обложках сразу и заодно — в лице здешней проститутки, гримирующейся под кинозвезду; когда четкие, аскетичные линии напряженных бетонных конструкций с японскими светильниками, вмонтированными в них, перебиваются кривульками торшеров, купленных недавно и сразу же вызолоченных для видика пошикарней,— понимаешь, чем страшно одиночество художника или архитектора, потерявшего власть над своим проектом или картиной, не имеющего права решать, где их будут разглядывать — на ресторанной стене, в музее, от стойки бара...

От стойки бара вся конструкция выглядит по-другому. Рядом со мной какой-то человек обнимал небритого и немолодого соседа: «Ты сделал такое дело, такое дело...»

Я так и не услышал, какое именно дело свершилось, потому что пошел завтракать. Во-первых, нехорошо подслушивать; во-вторых, не терплю пьяных, а людей, напивающихся с утра, ощущаю с какой-то печальной

брезгливостью, на каких бы широтах и параллелях ни приходилось их видеть.

В ресторане «Билтмор» потолок был золотого цвета, и это совершенно естественно. Утреннее солнце резвилось на потолке, разливаясь веселой радугой. «Что там, на потолке?» — спросил я у официанта. «Золото, сэр»,— ответствовал тот, мельком улыбнувшись и взглянув вверх. К радуге можно привыкнуть, к золоту — никогда.

Завтрак в «Билтмор» стоит дорого — пятнадцать долларов для взрослого и девять — для ребенка; но это так называемый «шведский стол» — тем более стол для очень богатых людей,— здесь можно есть все и в неограниченном количестве, при желании повторять трапезу. Можно было взять «ковбойский стейк» — кусок жареного мяса размером с фанерную лопату для отбрасывания снега, можно было взять нежнейшие хвосты южноафриканских лобстеров — омаров, можно было съесть обыкновеннейшие сосиски, а можно было — черепаховые яйца, привезенные с экзотических островов Тихого океана. Можно было вкусить куриную ножку в сухариках, жаркое из дикого кабана и блюдо с румяными перепелками, похожими на жареных воробьев-переростков. Можно было взять торты всех существующих в природе сортов, а можно было — ананас, у которого несъедобный стержень аккуратно изъят и сочная внутренность заполнена не менее сочной малиной. Можно было полакомиться дыней, в которую, словно в янтарную овальную миску, положены мелко нарезанные апельсиновые дольки, а можно было — арбузом, из которого вынута серединка, лежащая рядом же, и вычищены семечки, а освободившаяся полость заполнена крупной клубникой. Запивать тоже разрешалось любыми безалкогольными жидкостями из ведомых человечеству.

Здесь действовал обывательский университет для преуспевших. Я увидел две семьи с детишками, и по напряженности родительских взглядов понял, что инфантов привели сюда на очень важную лекцию — образ комнаты с золотым потолком должен был отныне витать над ними до пенсии как идеал финиша, зала для победителей, где тебе надевают на шею тяжелые лавровые гирлянды и смотрят на тебя снизу вверх. Если бы я не знал манящей и капризной природы триумфов, то здесь ощутил бы с величайшей определенностью, насколько все

победы различны и насколько многолико счастье — от возможности съесть хвост омара до возможности выдернуть у райской птицы перо из хвоста и написать им книгу, равной которой никто еще в руках не держал.

Ах, как вкусно завтракать в «Билтморе» и как пусто вокруг него — и в парке, и на близлежащих шоссе. Это город у финиша — человек, живущий здесь и готовящийся здесь умереть, должен быть очень спокоен или делать все для ограждения своего спокойствия,— кроме покоя, Финикс не награждает ничем; покой прекрасен, но я уверен, что по ночам за опущенными веками людей, заснувших в городе посреди пустыни, все равно оживают воспоминания, взрывающиеся, как бомбы на песках Аризоны. Я пытался иногда высчитать и предсказать чужие поступки, и мне вовсе не странно, что столько респектабельных людей надираются допьяна и расколачивают по ночам свои автомобили на здешних шоссе.

«...Они ни во что не верят,— сказал мне голубоглазый мусорщик в белой чалме.— Они верили только в себя, а теперь не нужна им и эта вера. Вот были вы в «Билтморе» — здесь есть еще несколько таких ресторанов, это ведь Аризона, здесь не только Финикс — это стиль. Знаете, сколько людей в Америке ежедневно засыпают голодными, думая о том, чего бы погрызть завтра,— десяток миллионов... А в соседнем городке Тусоне — это маленький городишко по десятому шоссе на юг,— только в нем одном ежегодно выбрасывают в мусорники до десяти тысяч тонн первоклассной еды. Они сами в Тусоне подсчитали, что выбрасываемой пищей могли бы до отвала кормить четыре тысячи человек — целый год...» Мусорщик покачал высоким белым тюрбаном и поднял пластиковый мешок, собираясь водрузить его в кузов своего «пикапа». Мусорщик разъезжал между домиками под Финиксом, и так вышло, что я оказался рядом и заговорил с ним, к некоторому удивлению голубоглазого парня. «Хотите выпить?» — спросил я. «Сок, если можно»,— ответил невозмутимый мусорщик, вытер ладони о фартук, снял его и пошел мыть руки; видимо, ему и самому надоела молчаливая борьба с мусорными мешками.

«Меня зовут Сурья Сингх Халса, мне двадцать девять лет,— сказал парень. Тут же, предупреждая вопрос, добавил: — Сингх — это мой религиозный псевдоним, на

самом деле я родился в штате Колорадо, и родители мои чистокровные англосаксы. Хиппи уже нет, а я был хиппи...» — «Да, хиппи уже нет,— согласился я,— даже в Калифорнии почти нет...» — «А я был хиппи,— повторил мой собеседник в тюрбане.— С пятнадцати лет наркотиками баловался и едва-едва учился. Затем занялся спортом — от наркотиков отошел и далеко прыгал на лыжах,— в 1964 году я даже был в олимпийской сборной США по прыжкам с трамплина и после игр оставался в сборной. Мне платили спортивную стипендию, и я в колледже родного своего Колорадо изучал изобразительное искусство, сам рисовать пробовал — такие, знаете, картины с натуры, ну прямо как реализм. Но что-то плохо мне жилось в наших горах и в снегу; родители помогали мало, я уже взрослым становился, сам на соревнования ездил, сам зарабатывал на жизнь, а у них еще дети есть. Так я покатил в Аризону — думал, что тепло здесь, сущий рай, как-нибудь проживу. Прыгать я стал хуже, со стипендии сняли, вывели из сборной, так что в горах меня ничто не держало. В Колорадо было мне совсем пустынно, а здесь еще и тоскливо стало — пески, кактусы, запертые подъезды. Я тогда немного еще фотографией занимался, мне актер Джон Вейн помогал — он старый, но очень хороший,— ковбоев играет, премию «Оскар» получил. Ему нравилось, как я фотографирую лыжников и как его фотографирую; он снимки мои в печать пристраивал. Но это была тоже ненастоящая жизнь — чего-то в ней не хватало. И тут судьба послала мне йога. Нет, нет, вы не думайте, настоящий йог из Северной Африки, и его появление было предсказано планетой Уран — это я узнал позже...»

Когда в начале этой главы мне легко вспоминалось об американском смехе, об американском упорстве и нежелании проигрывать, то я думал о псевдо-Сурье Сингхе Халса тоже. Рано повзрослевший, как большинство молодых людей в Америке, он тоже принял на свои плечи обвал страшной силы: кризис... Моральные потрясения сочетались с материальными: мало было узнать, что небольшой Вьетнам не может быть побежден гигантской Америкой, оказалось еще, что нефтяной кризис может, потрясая Америку, контролироваться арабами, о которых американцы имели, как правило, очень смутное представление. Мир оказался не подвластным Америке,

сила ее, богатство — все то, что так высоко ценилось, вдруг рухнуло, и моральные категории вышли на передний план, а с ними-то было трудней всего. Материальные кризисы Америка видывала уже и переживала посуровее нынешнего, но моральных потрясений такой силы она не знала, пожалуй, со времен Гражданской войны. Оказалось, что многие дети Америки похожи на соскучившихся наследников богатого старика — им наплевать на его здоровье, остались бы деньги. Вспыхивали ура-патриотические истерики, искали, конечное дело, московских шпионов и коммунистов, устроивших заваруху; да что толку, когда все знали, что причину надо искать в себе самих,— не все решались. Людей ломало изнутри, многие менялись до неузнаваемости. Я удивился одному из своих давних знакомых, который врыл перед домом высокую железную мачту и по утрам за веревочку подымал на ней звездно-полосатый флаг, словно желал на всякий случай доказать сомневающимся свою лояльность. Другой ищет дочь, ушедшую в хиппи и растворившуюся где-то в калифорнийских мандариновых рощах. Третий разговаривал со мной о свободе и богатстве и заодно о том, что ничего не может понять.

«Свобода? — спросил у меня мусорщик в белом тюрбане.— Свободу человек приобрел не от революции, не от церкви, не от правительства — мир переполнился приказами: «Делай, как я, не то арестую! Молись, как я, не то изобью!» Свободу человек приобрел, удаляясь от этого мира, вот как я ушел. А ведь был хиппи...»

Еще один осколок разгромленной армии. Здесь бы мне сказать несколько слов о рассеявшемся войске хиппи, странных детях рациональной страны, не похожих на все иные человеческие продукты Америки, одно слово — хиппи...

Никто не знал, кто они, потому что были хиппи-сезонники (каждой весной миллионов шестьдесят молодых людей оказываются свободными от учебы, и многие из них отправлялись в пешие странствия, возжаждав всяческих необычностей), были хиппи-переростки (сродни русским бродягам начала века, которые естественно вмонтировались в разнородную толпу), были хиппи-философы (я помню, как в нью-йоркском Гринич-Вилледж один из них долго разглядывал меня сквозь очки в проволочной оправе, а затем сказал, что я слишком хорошо

одет, чтобы сидеть и размышлять рядом с ним. Он не задирался, тщедушненький, он пытался понять, с чего это меня принесло сюда в такой беленькой водолазке),— были всякие хиппи, из них иные даже поднимали знамена политических митингов, боролись против вьетнамской войны, помните, как били их гаечными ключами и полицейскими дубинками,— все это вы знаете. Хиппи были все разные, и подонок Менсон, резавший людей и научивший своих девок резать людей (издана толстая книга-бестселлер о Менсоне — «Хелтер-скелтер», там есть фотографии зарезанной беременной актрисы Шарон Тейт), он ведь тоже звал себя хиппи. Иногда это бывало забавой, прорастало в моду (храню дома лоскутную рубаху — один из атрибутов хиппиевой униформы, словно шкуру теплого забавного зверя, сжитого со свету). Хиппи стали коммерсантами («О сэр, купите бусы, пряжки, зеркальца, значки-пуговицы — любая вещь за доллар!»), они наоткрывали магазинчиков и кафе, научились считать и стричься. Хиппи были разными, разными и остались; они уходили в йоги, в уличные философы, в грузчики, в торгаши, в сикхи, в ортодоксальную политику. Они растворялись в забурлившей Америке, словно фигурка из соли,— на поверхности остались манеры, моды, бороды и усы, как голос усопшего тенора на пластинке. Борцы, искренние, убежденные протестанты остались собой, о них нельзя говорить мельком, все мы немало знаем о борцах за социальную справедливость, о нелегкой их заокеанской доле; кокетливых говорильщиков же Америка безжалостно сожрала, проглотила, растворила в себе, расшвыряв по углам остатки.

...Мусорщик рассказал мне, что живут его друзья поблизости друг от друга — община аризонских йогов; размышляют, не мешая друг другу, самоуглубляются, сотворяя свои асаны, в пустыне тепло и есть несколько источников с чистой водой, и есть целые острова тишины. Он, Сурья Сингх Халса, желает мне успеха — ему пора ехать, потому что сегодня вечером у них встреча с одним из верховных учителей — гуру. Вот соберет он мусор из квартала и уедет в пески, где совсем неплохо — тихая жизнь в пустыне... Йог заулыбался мне на прощанье, все-таки он был американцем и умел улыбаться; «пикапчик» зафыркал и укатил, оставив меня наедине с кофе неподалеку от Финикса, странного города на юго-

западе США, где умеют жить, зачастую не прикасаясь друг к другу. Даже улыбки могут разгораживать белыми частоколами. А ведь какой город в пустыне построили, какой город!

«Ну ладно,— подумал я там же, на шоссе среди кактусов,— Лас-Вегас остается городом начала, символом азарта, фарта, удачи, везения — много имен у чувства, заставляющего человека отождествлять колесо судьбы с рулеточным колесом. Чет — нечет, повезло — не повезло. Вся жизнь так. Ну ладно, повезло, а что дальше? Финикс? Финиш? Город у конца дороги? Зачем было огород городить? Как же дальше?»

Мне вспоминались знакомые всем нам пенсионеры моей страны, устраивающие внуков на учебу, читающие шефские лекции, заседающие в различных комиссиях, консультирующие несговорчивых молодых, суетящиеся и тяжко страдающие, если их вырвать из ежедневной круговерти; я заскучал по ним неожиданно для себя в чужестранной пустыне. Вспомнил семидесятивосьмилетнего отставного генерала Васильева, неутомимо и охотно рассказывающего детям о штурме Зимнего. С такой нежностью подумалось о стариках, оставшихся дома.

Вчера я написал очень дорогому для меня человеку — Миколе Платоновичу Бажану, семидесятидвухлетнему мудрому и великому поэту, без общения с которым мне всегда плохо и пусто. Вспоминалось, как иногда Микола Платонович подолгу стоит на улице, ожидая всех, кто сегодня должен зайти, потому что замок на двери его подъезда порой защелкивается,— как же тогда быть гостям?

Что же вы так невесело доживаете, люди в пустыне? Неужели вся жизнь и вправду была ради ананасов с малиной — так вам же не всем это есть можно: доктора запретили. Страна вам не надобна или вы ей не нужны? Как же это так, чтоб столько заборов — и внутри дворов, и снаружи? Кто-то из нас очень все упростил — вы или я, простите уж...

Перед отъездом из Финикса мы долго беседовали с полупарализованной девушкой, рассказом о которой я начинал эту главу. «Одиночество можно преодолеть,— сказала она.— И не обязательно бегать для этого по затолпленным улицам — на шумном бульваре можно оказаться одиноким, как перст, вы же знаете. Я думаю, что

города, посвященные одиночеству, не нужны: плохо, когда люди прячутся друг от друга умышленно. Но время сосредоточенности необходимо всем — посидеть, подумать, с чем ты идешь к людям, и прийти к ним. Я очень хочу, чтобы у меня оказалось достаточно сил и мужества для такого прихода,— в пустыне можно начать жизнь, можно закончить ее в пустыне. Важно, чтобы пустыня не простерлась к тебе вовнутрь и не засыпала душу песками...»

Девушка улыбнулась, затем лицо ее напряглось, и я понял, что сейчас будет ей больно, значит, не надо мне здесь быть. Я тронул ее за руку, прощаясь, встал и пошел по дороге в ту сторону, где квадратиками огней светился Финикс, большой город в пустыне.

НЕ ВРЕМЯ И НЕ МЕСТО ДЛЯ ШУТОК

После возвращения из Америки меня расспрашивали о мафии много и с великим пристрастием — о чем бы я ни собрался рассказывать. Вот я и решил эту главу начать с упоминания о таких просьбах, а заодно — и с прикосновения к ответам на них, тем более что проблема преступности сегодня — одна из самых непростых и самых наглядных американских проблем. Говорят о ней президенты и пишут журналисты, не облеченные государственными полномочиями, а внезапная ночная пальба воспринимается чаще всего очень лично — как звуки боя, в котором завтра могут выстрелить и в тебя. А мафия? — она тоже одна из сражающихся сторон...

Разговоры о преступности — даже там, за океаном,— всегда оказывались обсуждением конкретных подробностей чужой жизни; жизни, существующей в ином измерении, со своими нормами, далеко не всегда приемлемыми для нас. Поскольку все мои заметки скорее о состоянии души обыденной Америки, подробностях настроения великой страны, разговор о мафии должен был бы войти в них. Но для начала, мне кажется, надо сказать несколько слов о том, что же такое мафия, привычно локализуемая иными журналистами в Северной Америке. Несколько — в схеме — подробностей.

Возникла мафия на Сицилии еще в XI столетии как общество для защиты бедных, а конкретно — общество по контролю за распределением воды для полива. Очень не скоро — судьба многих политических движений,— но мафия приобрела известную нам репутацию, противоположную той, с которой возникла. (Еще в прошлом столетии мафиозо возглавляли крестьянские восстания и воевали в рядах краснорубашечников Гарибальди.) Со временем мафия стала подпольным государством в государстве. Начало интенсивной эмиграции беднейших итальянцев в Америку совпало и с экспортом мафиозо за океан; какое-то время мафия в Америке побыла даже этакой внутренней полицией, охраняющей итальянских эмигрантов от несправедливости. Но очень скоро мафио-

зо поняли, что Америка — именно та страна, где они смогут развернуться вовсю, и начали разворачиваться. Мечта о присоединении Сицилии к США бродит в их умах как сладчайшая из легенд; во второй мировой войне мафия в какой-то мере помогла провести высадку американских войск на Сицилии и долго правила кампанией за придание острову статуса 49-го штата. Как вы знаете, ничего из этого не вышло; мафия существует по обе стороны океана, в двух (а может, и больше чем в двух) государствах одновременно. Сейчас уже не то что я, грешный, но сами старожилы Америки не возьмутся извлечь нити, вплетенные мафией в ткань национального коврика. Мафия не раз выказывала присутствие даже в делах великой политики, ввязывалась в общие с ЦРУ операции— сии тайны для меня (и для абсолютного большинства американцев, итальянцев, пуэрториканцев и прочих) не распахнуты — увы! — настежь. Книгу же о том, как живут люди за океаном, я пытаюсь выстроить вокруг весьма личных впечатлений об этой жизни, добавляя немного статистики, немного высказываний, запомнившихся историй, взятых из вызывающих доверие американских же источников. Понимая, что я пишу не учебник географии или политэкономии, боюсь утратить ваше доверие, переписывая общие места или посчитав, что вы не читаете газет; прежде всего я передумываю вместе с вами все увиденное за океаном,— спасибо, что вы слушаете. А мафиозо я не видел — и не пытался видеть.

Впрочем, можно было, кажется, попытаться. На улице с красивым названием Эль Камино дель Театро в калифорнийском городке Ла Гойя возле мексиканской границы знакомый, живущий неподалеку, показал мне дом в глубине частного парка. «Погляди,— прошептал знакомый,— над воротами стоят две телекамеры внешнего наблюдения, в кустах за оградой установлена сложная сигнализация, монтировали ее очень долго. Иногда к воротам подъезжает закрытый автомобиль, камеры разглядывают его, затем ворота раздвигаются и автомобиль въезжает. Иногда закрытый автомобиль выезжает из усадьбы — тоже сквозь эти ворота, щелкающие, как мышеловка. Говорят, здесь живет один из шефов мафии на Западном побережье». А может быть, это наоборот: кто-то спасается от мафии? Может быть, напутал мой знакомый?.. Короче, людей, которые наверняка что-то

знали или явно дружили с мафией, встретить не удалось, посему, когда я буду говорить о законах и внезакониях, не стану валить на мафию все перестрелки, происходящие в Соединенных Штатах. Убийцы в стране разнообразны, и разные побуждения движут ими. Во всяком случае, среди лиц, убивавших каждого пятого президента США и покушавшихся на каждого третьего, сицилийцев, по имеющимся у меня данным, не было. Кто знает, каковы в своем разнообразии убийцы; мозг Джона Кеннеди, разбрызгавшийся по автомобилю в столице Техаса Далласе, не отмщен до сих пор; двадцать тысяч пятьсот десять человек, убитых в Америке только в прошлом году,— статистическая абстракция...

Абстракция? Если сравнить официальные полицейские статистики в пересчете на сто тысяч населения, то это в три с половиной раза больше, чем в Канаде, в два раза больше, чем в Англии, Франции или Японии, в семь раз больше, чем в Бельгии, в девять раз больше, чем в Дании; даже больше, чем в Гонконге,— в пять раз. Не мое дело заниматься сыщицкими расчетами; убийство одного-единственного человека обескровливает планету, а среди двадцати с половиной тысяч людей наверняка погибли потенциальные великие живописцы, о которых мы никогда не услышим, поэты и летчики, которые уже не состоятся, матери, чьи дети никогда не будут зачаты.

Впрочем, здесь несколько уточнений.

Мафия стала еще одной из разновидностей бизнеса. Оборотный капитал мафиозо достигает сорока восьми миллиардов долларов, чистая их прибыль — двадцать пять миллиардов в год. На одном лишь издании порнографической литературы мафия зарабатывает больше двух миллиардов долларов ежегодно (этот пример годится и для одной из уже прочтенных вами глав — многое заплелось в заокеанской жизни). «Порноприбыли» мафии почти таковы, как ежегодный доход крупнейшей корпорации США «Экссон» (все данные — из недавнего номера журнала «Тайм», одного из солиднейших массовых изданий страны). Так что мафия порождена капитализмом и принята им в систему как одна из главнейших планет. Я не буду анализировать многие приметы и тайны мафии — все равно это будет пересказ чужих сочинений— просто не могу не сказать, что современная мафия

многолика и убийства, творимые ею,— лишь одна из примет.

Но я уже заговорил об убийствах.

Собственно, это глава не о мафии, это глава о смерти.

Статистика всезнающа, но холодна, как железо на морозе. Я не буду вас утомлять ею. Скажу только о смертях насильственных, внезапных, когда один человек прекращает жизнь другого. Одиннадцать из ста тысяч американцев ежегодно кончают жизнь самоубийством; из тех же, кого там убивают другие люди, пятьдесят три процента гибнет от пуль из револьверов и пистолетов, восемнадцать процентов — от ножей; руками убивают девять процентов, из винтовок — пять процентов, обрезов — восемь процентов, другими способами — дубинами, например— семь процентов. Это вполне официальные данные ФБР, и я не смею в них сомневаться. Каждые двадцать шесть минут в США совершается убийство,— прежде чем вы дочитаете эту главу до конца, кого-то убьют. А Земля не прекратит вращаться, и в мире не убавится смеха, и слова английского поэта Джона Донна, процитированные Хемингуэем в эпиграфе к роману «По ком звонит колокол», не вспомнятся, и колокол не ударит. Привыкли.

Перебирая пленки, отснятые мной в Америке, нашел между ними запечатленную стенку бара в техасском городе Амарилло. На дощатой стене за спиной у толстенькой барменши средних лет белеет прямоугольный плакат, запрещающий посетителям покупать спиртное, если у них есть при себе огнестрельное оружие. Пьяные стреляют чаще,— но почему трезвые вооружены? Почему так легко выстрелить в человека? В Америке больше полутораста миллионов единиц огнестрельного оружия находится в частном пользовании — скоро в Техасе выпить некому будет,— и это в большинстве случаев не разбойничье снаряжение,— оно и не регистрируется, как правило,— основная масса оружия предназначена для самозащиты. Каждый понимает, что лучше всего защищаться самостоятельно, не ждать помощи от соседа, а спастись самому — выстрелить первым; сейчас в моде маленькие, однозарядные револьверы — «спутники на субботний вечер»; второй выстрел, если промажешь, будет уже в тебя. Одиночество рождает не только философию защиты от жизни, оно учит и защите от смерти, оно универсальный учитель.

Есть у Фреда Циннемана фильм под названием «Точно в полдень»; я люблю его, по-моему, это вообще один из лучших вестернов, снятых когда бы то ни было. Во второй половине фильма есть очень характерный диалог на характерном фоне. В маленький городок, где происходит действие, вот-вот ворвется вооруженная банда. Противостоит ей одинокий шериф — каждый из жителей городка вооружен, но каждый нашел причину, чтобы не вмешиваться. Некий старик, сдвинувший шляпу на глаза, мирно отдыхает в кресле-качалке, и мальчик допытывается у него, что же нынче произойдет. Мальчик выспрашивает у старика, служебная ли обязанность борьба со злом. Если б шериф Кейн был не шерифом, просто жил здесь, он вел бы себя как все? Старик молчит. «Что — шериф единственный хороший человек в городке, а все другие плохие?» — не унимается мальчик. Старик молчит. «Ну, скажи мне,— пристает паренек,— откуда берется добро, а откуда зло? С чего начинается ответственность каждого?» Старик приподнимает шляпу с умных выцветших глаз и улыбается: «Такая хорошая погода сегодня. Ты иди. Поиграй с товарищами в хорошего шерифа и бандитов». Снова надвигает шляпу и замолкает.

Шериф, естественно, выиграет схватку: он стреляет лучше, и на его стороне будет удача. Но те, кто победил, и те, кто потерпел поражение, разделены всего-навсего барьером удачи и нашим отношением к ним — не больше. Суд часто существует за пределами привычных моральных категорий, герои обходятся без адвокатов и присяжных, выясняя свои отношения по дуэльному кодексу, а любопытных мальчиков, размышляющих о высоких материях, не всегда удостаивают своевременными ответами. Жизнь и смерть ходят рядом, и человек должен выстрадать собственное отношение к ним, собственные способы утверждения на свете. В этом американцы ссылаются иногда на классику, на то, что величайшие характеры не уповали на суд, а сами его творили. Царь Эдип у Софокла не ожидал ареста, Гамлет не обращался в полицию, а герои Достоевского тоже больше руководствовались голосами души, чем уголовным кодексом. Американская смерть бывает интимной, словно карточный проигрыш,— одна из форм расплаты в игре, ведущейся постоянно. Человек, не умеющий дать сдачи самостоятельно, не многого достигает; насилие всегда было неотделимо от самого

понятия власти, а логика американского индивидуализма дает вам право на такую самозащиту, какой требуют обстоятельства. С первых лет этой страны в ней чтили людей, умеющих постоять за себя и свести счеты; бандиты всегда образовывали особый мир, противопоставленный большинству и преодолимый прежде всего силой оружия, а не толстыми кодексами. До сих пор видовые альбомы штатов переполнены фотографиями усатых шерифов, стрелявших в прошлом столетии лучше всех и лицом к лицу побеждавших целые банды. В Калифорнии, скажем, сто лет назад за выстрел сзади вешали без суда, в чью бы спину, в чей бы затылок он ни был направлен. Убитых выстрелом в грудь закапывали без следствия: он видел нападавшего, но не успел защититься — погиб в честной стычке. В середине прошлого века в Калифорнии разгулялись преступники, прибывшие из Австралии, они подличали, стреляли из-за угла, грабили по ночам, нападая на отдаленные поселения. Золотоискатели не приглашали регулярную армию для защиты, они создали на время Комитет бдительности, куда вошли лучшие из стрелков, изловили и тут же повесили на субтропических деревьях девяносто одного австралийца вместе с их главарем Джимом Стюартом. Вот уже больше ста лет бытуют предания о быстроте, с которой на Дальнем Западе умели выхватывать и разряжать шестизарядный револьвер Кольта. Я храню туристские проспекты сегодняшнего штата Аризона, где рассказ о легендарном кольте вынесен в особую главу — похвала орудию, выделившему лучших, ловчайших, умелейших; так дарвинисты пишут о первой палке, ставшей орудием труда и сотворившей человека из обезьяны.

Законы и отношение к ним изменялись в США за истекшее столетие, совершенствуясь неустанно, но социальные основы не изменились. Человеческое сознание, привычка к мышлению установленными категориями куда более консервативны, чем продукция оружейных заводов. Помните, я рассказывал о стотрехлетней старушке, ограбленной юнцами на перекрестке в Нью-Йорке. «Ах, я бы их застрелила...»— вздохнула бабуся, у которой забрали два доллара мелочью. Она не желала признать, что оказалась слабее ретивых школьников; дело не в двух долларах, а в беззащитности, которая всегда предвестник конца. И сегодня в большинстве штатов право на са-

мозащиту и на охрану своей собственности разрешает стрелять в человека, вошедшего в твой дом без приглашения. Время от времеии газеты пишут о безутешиой жеие, прихлопиувшей супруга, явившегося среди иочи из бара и мычавшего в ответ иа ее предупреждеиия. Иногда убивают почтальоиов; все это казусы, ио вытекающие из образа мышлеиия и бытия; человек, в жизии, смерти и правосудии положившийся иа себя самого,— самостоятельиый до одииочества... Все это ие ковбойские самосуды, такие справедливые и красивые в вестериах.

Когда я был в Техасе, газеты писали, что иа одиой из тамошиих ферм двадцатичетырехлетиий Вериои Джоисои выстрелом в сердце убил своего четырнадцатилетнего брата Роджера — ребята сидели дома с виитовкой и револьвером.

Актриса Софи Лорен сказала в иитервью, что всегда носит пистолет в сумочке, а ее муж, продюсер Карло Поити,— два: один в пиджаке, а другой в специальиой кобуре под колеиом,— супруги, думаю, вооружились не оттого, что иачитались газет, просто их уже грабили, и они тоже готовы к самозащите.

Полиция, коиечно, существует и действует, но она как бы сама по себе. Имеиио поэтому мие запомиилась история, поведаииая как-то видиым американским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Годдингом Картером, издателем большой газеты иа юге США. Сын Картера написал и опубликовал статью, порицающую ку-клукс-клаи; парию тут же позвонили и пригрозили прикоичить. Тогда Годдинг Картер купил револьвер 38-го калибра и набрал номер одиого из местиых руководителей клаиа: «Если хоть волосок упадет с головы моего сыиа, можешь считать себя покойииком»,— и провериул барабаи легендарного кольта перед телефоиной трубкой. Местиый шериф, стоявший рядом со взволноваииым Картером, взял трубку и добавил в иее, что если журиалист промажет, то уж ои из своей полицейской пушки иаверняка попадет в живот.

Все защищаются либо пытаются защищаться. Тема мстителя — одиа из самых традициоиных в американских фильмах и киигах. Человек вершит свою собственную справедливость, сам стремится сохраиить свою жизнь и все прочее, что считает прииадлежащим себе,— индивидуализм так индивидуализм.

Американцы зовут это по привычке «традицией переселенцев», «особенностями границы», дети в четыре года получают в подарок игрушечный пистолетик, в двенадцать учатся стрелять из пневматического ружья, а чуть позже приобретают мелкокалиберный револьвер (примерно такой, как тот, из которого Сирхан 4 июня 1968 года застрелил Роберта Кеннеди). Дорожные знаки часто продырявлены — в газетах время от времени пишут об этом, призывая автомобилистов подыскать себе другую забаву и не палить из машин на полном ходу.

Я рассуждаю здесь о теневой стороне заокеанского быта, которая очень неприятна и беспокойна абсолютному большинству американцев. Глупо и бессмысленно сводить отношения внутри любого общества к простенькой схеме, но так или иначе там, где хоть однажды поощрялась трусость, трусы разрастались, словно плесень в сыром углу; поощренный жулик становился родоначальником целой коалиции жуликов; если одобрялся донос, тотчас находилось достаточно доносчиков, кричавших о своей правоте; насилие, одобренное однажды, становилось многократным и трудноопреодолимым. Старый американский философ Торо сравнивал этот процесс с трением, нарастающим в механизме и угрожающим его существованию.

Герои становились в передний, витринный ряд, но подонки тянулись следом, утрируя поступки людей достойных,— так тени, отброшенные человеческими фигурами, утрируют подчас их движения. Капиталистическая власть приросла к предпринимательству, стала неотделима от него; механика власти в преступном мире пародийно повторяет государственную организацию. За последние годы в Соединенных Штатах одними из самых кассовых оказались два двухсерийных фильма Френсиса Копполы «Крестный отец»; там очень серьезно исследуется вопрос о природе преступного мира и одновременно— как неотъемлемый от него — о философии власти. Насилие как образ жизни мафиозо четко определяет отношения внутри их сообщества; зло неизбежно, а самый сильный живет лучше всех. Хорошо быть самым сильным...

Это сложная и неприятная тема. Когда-то в королевской Испании религиозный фанатизм сросся с доносительством — соединение фигуры с тенью породило инкви-

зицню. Соединение национального фанатизма с фнлософией исключительности и силы — тоже фнгуры с тенью — не так давно укрепляло фашизм и нацизм в Италии н Германии. Страна должна опасаться того, чтобы в плоть и кровь ей не вросли все государственные отходы,— человеческий организм погибает, если его естественные фильтры отказывают и оставляют в кровн все шлаки. Я видел в США людей, борющихся за достоинство своей страны и за собственное достоинство,— нх немало. Но народ постоянно расплачивается по старым и по новым счетам,— современные Соединенные Штаты похожи на ребенка, о котором я читал н слышал в Нью-Йорке. Трехкилограммовая девочка родилась в Бруклине с огнестрельной раной — пуля нашла ее в материнской утробе: стреляли в жнвот беременной женщине. Соединенные Штаты тоже были ранены еще при рожденин.

А если оставить в покое метафоры, это очень гнусно — выстрел в живот беременной женщине. Причем пули ранят не только тех, кого они задевают непосредственно. Детройтские дети наверняка долго будут помнить нсторию, о которой я узнал из утренней газеты в симпатичном городке Талса. Утро было как утро и сообщение как сообщение, я обратил на него внимание потому, что рядом была фотография красивой женщины — мисс Бетти Маккастер. А вот что произошло с ней — дословно перевожу здесь начало заметки: «Детройт. У семилетней Лауры Донолли и тридцати пяти других детей только что начался урок английского языка в первом классе. Вела урок их постоянная учнтельница, сорокашестилетняя мисс Бетти Маккастер. В класс зашел незнакомый человек, вынул из кармана револьвер и что-то сказал учительнице. «Мисс Маккастер плакала и закрывалась руками,— сообщили дети в однн голос,— но тот мужчина начал стрелять...» Здесь же фотография убнтой учительницы.

Путешествуя, я старался привыкнуть к мысли о том, что убийство может быть обыденным, но не мог привыкнуть; американцы тоже не прнвыкают, всякий раз возмущаясь заново, всякий раз требуя сурового наказания для преступников. Я хочу вам сейчас рассказать о том, как однажды наказывалн подонка. Это был самый невезучий подонок за последние десять лет, и я вам постараюсь нзложить почему. Наверное, о Гэрн

Марке Гилморе вскоре можно будет узнать поподробнее: объявлено, что его адвокат Деннис Боаз заканчивает книгу о своем подзащитном, а кинопродюсер Дейвид Сасскайнд прилетел в штат Юта для подписания договора на фильм; следом за ним вылетел другой продюсер, тоже вознамерившийся снимать фильм о Гилморе. Я впервые узнал обо всем этом, проезжая по штату Юта, и решил проследить историю до конца, чтобы рассказать о ней вам. Американская страсть к подробностям и желание знать обо всем немедля вышвырнули портреты долголицего блондина Гилмора на первые полосы солидных газет; об астронавтах и великих изобретателях сроду не писали так много, как об этом подонке. Еще бы, Гилмор оказался первым за десять лет человеком, которому реально угрожала смертная казнь — со 2 июня 1967 года (штат Колорадо, газовая камера) в США никого не казнили. Сидит Сирхан, убивший Роберта Кеннеди, сидит Рей, застреливший Мартина Лютера Кинга, сидят более четырехсот изощренных убийц, приговоренных к смерти, но вот уже десять лет приговоры в исполнение не приводятся. В стране, где стреляют очень много, «внезаконные стрелки» имеют множество оснований для кассаций и проволочек. Я рассказывал, как шериф на Юге пригрозил просто всадить потенциальному убийце пулю в живот,— уж он-то знал, как быстрее добиться торжества и справедливости. Но Гэри Гилмор попался в штате Юта, где самую уважаемую часть населения составляют колонизовавшие эту землю мормоны — религиозные сектанты, угрюмо ожидающие конца света. Гилмора немедленно приговорили к смертной казни, и вдруг всей Америке стало ясно, что впервые за последнее десятилетие преступника таки прикончат — именем закона. И все заинтересовались... Движение за отмену смертной казни, очень сильное в США, тоже не очень заступалось за убийцу, слишком уж было все ясно.

...Если продюсеры будут снимать фильм о Гилморе, то это, думаю, должен быть телевизионный фильм — с крупными планами и действием, происходящим в закрытых помещениях ограниченной площади, ведь из тридцати пяти лет своей жизни восемнадцать Гилмор провел в тюремных камерах.

...Выпущенному из каталажки в очередной раз Гэри Марку понадобились деньги. Поскольку способ их зара-

ботка был выяснен Гнлмором раз н навсегда, он зашел в мотель маленького городишка Прово и предъявил свой револьвер тамошнему клерку, двадцатнпятнлетнему Бенни Бушнеллу. Бушнелл был женат, у него рос годовалый сын, и жена ожидала еще одного ребенка. Парень хотел учиться в университете, но денег не было, н он устронлся на работу, чтобы кое-как продержаться до рождения нового наследника; так что особого сопротивления гостиничный клерк и не думал оказывать. Гилмор выпотрошил мотельную кассу (было в ней сто двадцать долларов); дальше он объяснял свое поведение так: «Я приставил револьвер к виску Бушнелла н сказал, чтобы парень лег на пол у своей стойки. Он замешкался, н я дважды выстрелнл ему в голову».

На Гнлморе висело еще одно не твердо доказанное убийство — на бензоколонке в Ореме, совершенное за сутки до этого. Короче говоря, Гэри Марка приговорили к смертной казни, и присяжные не дрогнули, приняв решение единогласно. Но с этого момента все только лишь началось, нбо вступил в свои права кощунственный процесс превращения смерти в театральное зрелнще.

Американская смерть бывает необычна, тем более что на территорин этой страны всегда умели славно стрелять, укрощать скакунов, принимать быстрые решения и краснвые законы. Когда Томас Джефферсон писал знаменитую Декларацню незавнсимостн, он первым пунктом внес туда право на жнзнь, и так вошла она в историю. Но по правнлу «фигуры и тени» уродливая тень права на смерть тянется за краснвым тезисом декларацин, и в деле Гилмора можно было все это наблюдать.

Вначале произошли легкие стычки: губернатор Юты Келвин Ремптон отложил исполнение приговора до рассмотрения апелляций, а председателем апелляционного жюри штата был Джордж Латимер, недавно выступавший защитником на процессе лейтенанта Уильяма Колли, военного преступника, палача вьетнамской деревеньки Сонгми. Но сам Гэри Марк Гилмор устал, видимо, от своей славы, проиграл и ставил точку. Он сказал, что не будет подавать никаких апелляций, и просит, чтобы его казнили; умереть он, по его же словам, должен «как человек» и посему хочет, чтобы его расстреляли, и просит

выдать ему перед казнью шесть жестяных банок знаменитого колорадского пива «Курс».

Теперь изложу вам только факты, потому что в дальнейшем оказалось, что Гилмору не так легко умереть. Приученные к театрализации смертей, многие американцы начали готовиться к необычному представлению, а это требовало времени. Гилмор тоже входил во вкус. Он сказал, что еще бы напоследок хотел жениться — благо невеста сыскалась, двадцатилетняя девица с двумя детьми неведомого происхождения, прежде ему незнакомая, но, несомнённо, достойная. Поскольку бракосочетание задерживалось, невеста и жених успели еще демонстративно отравиться снотворным — не до смерти, впрочем, но так, что их надо было откачивать, и даже солидная «Нью-Йорк таймс» напечатала портреты и подробности страданий несостоявшейся четы. Где-то готовилась рожать юная вдова пристреленного Гилмором клерка, о ней никто не заикался; туристы ходили на экскурсии в мотель Прово и слушали репортажи из тюрьмы, идущие среди самых важных последних известий. Шоу разворачивалось вовсю.

В городке Салина штата Юта я спросил у продавца газет, что он думает о событии. «О, это будет грандиозно,— сказал немолодой мужчина и пощелкал языком.— Вы поедете в Солт-Лейк-Сити? Я бы съездил...»

Гилмор сидел в главной тюрьме штата, в двадцати милях к югу от Солт-Лейк-Сити, и расстрела ожидали со дня на день. В газетах писали, что Гэри Марку предстоит быть тридцать девятым расстрелянным в штате; его посадят на деревянное полукресло с высокой спинкой и подлокотниками, привяжут за шею, руки и ноги, а к груди приколют большое алое карточное сердце. Если раньше расстреливали на дороге возле тюрьмы, то сейчас приводят в порядок специальную площадь в пятьсот гектаров: как же — такой случай...

Семюэль Смит, старший охранник тюрьмы штата, сказал, что едва была объявлена запись в добровольческий отряд расстреливающих, сразу же предложило свои услуги около трех десятков людей, а нужно всего пятеро, одно ружье из пяти не зарядят, чтобы никого потом совесть не мучила. Каждый из участников расстрела получит за труд сто семьдесят пять долларов и сможет купить

себе хороший штуцер индивидуальной работы, бьющий без промаха на приличное расстояние.

Довольно, наверное, об этом. Скажу только, что срок казни откладывали со дня на день еще в течение двух месяцев и только в начале 1977 года Гилмора, наконец, пустили в расход. На газетной бумаге, где была описана его никчемная жизнь, можно бы издать множество книг с популярным изложением уголовного кодекса всех штатов США. Или еще чего-нибудь. А впрочем, американцы живут, умирают, пользуются газетной бумагой и всем остальным по своему обыкновению и усмотрению; я все время пытаюсь рассказать вам именно об этом, а еще больше хочу, чтобы вы сами поразмышляли о чужих жизни и смерти.

Заступаясь за Гилмора, писали даже, что он, мол, хотел умереть и его история — просто род самоубийства, хоть я не могу понять в таком случае, почему же он выстрелил в висок не себе, а мотельному клерку. Не всякая смерть на миру красна, а самоубийства в Штатах — особая статья, их изучают и классифицируют особо.

Достаточно порассуждав о чужой жизни, я пишу в этой главе о чужой смерти, изучаемой в Америке серьезно, подробно и даже, я сказал бы, с любопытством. Общество, не скрывающее своего индивидуализма, пытается понять себя, много размышляет и пишет о человеческой гибели как последнем из одиночеств, о самоубийстве как добровольном уходе в уединение.

Считается, что по крайней мере тысяч пятьдесят пять — шестьдесят американцев ежегодно кончают самоубийством, но доказано и юридически оформлено бывает одно лишь самоубийство из двух. Считается, например, что каждая шестая автомобильная катастрофа — сознательное самоуничтожение водителя. Ежегодно в Америке тысяч двести людей явно или тайно пытаются совершить самоубийство, а восьмистам тысячам очень деловая мысль о самоубийстве хоть раз в год, а приходит в голову. В хорошо изученном обществе — а Соединенные Штаты именно таковы — все прогнозируется. К примеру, считают, что в 1977 году семьдесят — восемьдесят тысяч молодых людей (семнадцати — двадцати четырех лет) попытаются покончить с собой и четырем тысячам из них это удастся. Пятнадцать тысяч студентов совершают за

год попытки самоубийства, среди молодежи это вообще вторая по частоте из причин смертности.

В жизни, о которой пишу я, человек постоянно делает огромную ставку — на все. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Здесь получают сразу все или стреляются — половинчатые жизни, половинчатые удачи, невыразительные люди никогда не бывали в моде в Америке. Ты сам за себя, и будь добр, человече, привыкай к правилам игры, в которую вошел. Да, в течение одной жизни здесь успевали проделывать миллионерские и президентские карьеры от нуля, но куда чаще проделывают здесь и антикарьеры — к нулю, похожему на револьверный ствол в поперечном сечении. Америка жестока и мускулиста; люди, преуспевшие в жизни, далеко не всегда склонны жалеть неудачников, это вроде как футболисты основного состава не жалеют запасных игроков. Здесь надо глядеть, чтобы у самого нога не подвернулась и не оказаться вне поля; игра жестока, но призы достаются только участвующим в ней. Жизнь, смерть — части грандиозного спектакля, поставленного вовсе не для расслабленных любителей.

Смерть бывает и метафорической — это тоже в порядке вещей; я вам расскажу еще об одном художнике.

Густав Корн достаточно известен в Чикаго, он приехал в Штаты после войны, оставив Венгрию, Будапешт, где учился живописи и где пытался стать художником, достойным выставок в крупных картинных галереях. Пейзажи, которые рисовал Корн, не раскупали. И тогда эмигрант, приняв приглашение чикагских колбасников, начал работать для них. «Директор колбасной фирмы увидел мои пейзажи, пригласил меня и предложил нарисовать сосиску,— говорит Корн.— Я рисовал сосиски с горчицей и с кетчупом, сосиски с луком на тарелке и на лепешке. Поверьте, что нет двух одинаковых сосисок, как нет двух одинаковых пейзажей. Во мне умер живописец, но я великолепно зарабатываю, рисую сосиски для кафетериев семи штатов».

В поисках своего места на свете и самих себя люди проходят сквозь рождения и сквозь гибели, стряхивая с плеч многие вчерашние драгоценности, за которые никто сегодня не платит; иногда можно стряхнуть с себя бриллиант и поднять картофелину, но кто, скажите, был сыт бриллиантами? Таковы правила чужой жизни — необхо-

димость постоять за себя и ежеминутно быть готовым к потасовке или к горячим объятиям,— никогда не ведаешь, к чему именно,— они, эти правила, воспитывают людей сентиментальных и жестких, добрых и немилосердных одновременно.

Это очень серьезная страна.

В аэропорту Атланты, на глубоком американском Юге, меня задержал полисмен. Я уже десять раз проходил сквозь арку, определяющую металлические предметы в моих карманах, а дверь гудела и гудела, наводя полисмена на мысль о пулемете, затаенном в недрах моей одежды. Наконец полицейский не выдержал и, сноровисто ощупав меня, сразу же обнаружил охотничий нож со штопором, который я уже так давно и неизменно вожу с собой, что привык к нему и забыл вынуть из кармана плаща.

«Что это?» — спросил полисмен, угрюмо глядя на нож.

«Нож»,— игриво ответил я, не чувствуя потребности в оправданиях.

«Зачем?» — спросил полисмен уже очень серьезно.

«А я, знаете, люблю выпить в полете с экипажем. Здесь есть штопор, и он...»

Не дослушав меня, полисмен отложил нож в сторону.

«Не время и не место для шуток,— сказал мне усталый человек с револьвером в расстегнутой кобуре.— Вчера угнали самолет, и, поверьте, здесь совсем не сладко дежурится. У кого-то бизнес — угонять самолеты, а у меня — мешать тому, чтобы угоняли...»

Я виновато взглянул на полисмена, потому что прав был он, а не я.

Когда едешь по американским дорогам, можно увидеть и узнать очень многое. Дороги здесь — одна из главных примет страны и одна из населеннейших местностей. Магазины, почты, телефонные будки, рекламные щиты, мотели, музеи нанизаны на черные реки автострад, и порой целые города становятся приложениями к ним.

Ироничный швейцарец Макс Фриш определил однажды Лос-Анджелес как «транспортное сооружение, которое городом никогда не станет»; а вправду ведь, если уложить все автомагистрали Лос-Анджелеса рядами, то раскинется асфальтобетонная пустыня размерами сто двадцать на семьдесят пять километров, без единого деревца или кустика; на некоторых автостоянках сделаны х-образные вырезы, по дну которых растет трава для очищения атмосферы,— это называется травобетон. Уже не раз и не два раздавались в Америке голоса о том, что дороги заняли великое множество плодородных почв, изуродовали тело земли, напоили степной воздух бензиновым перегаром.

И все-таки американские дороги великолепны. Они построены с заботой о вас, и они вас любят. Да, конечно же хорошие шоссе стоят немало, но я не буду утомлять вас сложными расчетами, из коих следует, что расходы на амортизацию транспорта на выбоинах были бы выше стоимости бетонного полотна, брошенного под колеса.

Что ж, это большое достижение американской экономики, слов нет. Только ведь не одними лишь мыслями об амортизации автомобиля жив человек. Думаю даже, что средства, затраченные нами на восстановление и перестройку городов после войны, на детские сады, школы, ясли, больницы и квартиры для всех, будь эти деньги обращены в гудрон и бетон — шоссейные дороги оплели бы советскую землю получше американских. Только очень уж это кощунственная мысль — забыть о стариках, скажем, и вспомнить об автомобилях новейших марок прежде всего. Все в свою очередь, у

каждой страны, у каждой социальной системы такая очередность — собственная. Американцы, во всяком случае, не без оснований влюблены в свои шоссе; я уже говорил вам, что шоссе эти великолепны.

Американские автомобили просто не выжили б на проселках — низко сидящие, с нежно сбалансированными кузовами; когда-то на этих дорогах мне приходило в голову, что «звезды и полосы», популярный государственный символ, образное определение флага США, на самом деле — образ шоссе с белой разметкой, над которым вспыхивают желтые и красные звезды автомобильных огней.

Учитывается все: и то, что нетормозящая машина тратит почти на треть меньше горючего,— хорошие шоссе не имеют перекрестков, перекрыты путеводами; путь далеко просматривается — почти всегда у вас открыт передний обзор метров на сто; встречные потоки постоянно разделены — фары не слепят; в скотоводческих районах дороги огорожены проволочными сетками — можно не бояться коров-самоубийц...

Американские шоссе безымянны, они не бывают Волоколамскими, Видземскими, Житомирскими, но награждены номерами, регулярно возникающими в поле вашего зрения на геральдических щитах, и лаконичными указателями, предупреждающими о достопримечательностях, мотелях, расстоянии до населенных пунктов и обо всем, что вам следует знать. Если вскорости вы будете обязаны тормозить — то ли для неизбежной покупки билета в заповедник, то ли для въезда на платный отрезок пути,— поверхность шоссе становится рифленой через каждые несколько метров — слышно, как под автомобилем раздаются короткие скорострельные очереди, нацеленные, как правило, вам в карман. Платные отрезки дороги, существующие в некоторых штатах, никогда не берут с вас помногу сразу, но через каждые несколько миль надо бросить монетку в жестяное корыто, вынесенное на уровень дверцы. В штате Иллинойс я решил однажды не заплатить корыту — автомобиль не притормаживая промчался мимо, но долго еще сзади был слышен бомбежечный вой сирены и мигал обиженно красный глаз. Впечатление оказалось настолько сильным, что охота экономить на корытах сразу отпала. Платных дорог в общем-то не

много, но попадаются и они, обучая собственным правилам.

Итак, шоссейные дороги в США протянулись на четыре миллиона миль — больше шести миллионов километров; еще от начала нашего летосчисления не минул и миллион дней, а дороги в одних лишь Соединенных Штатах могут уже опоясать Землю, словно катушку, больше ста пятидесяти раз по экватору,— ах, это так любимое американцами слово «миллион»...

Население дорог разнообразно; на Гавайях и в штате Миссисипи водительские права выдаются без экзаменов с пятнадцати лет (только в тридцати штатах запрещено вождение автомобиля до четырнадцатилетнего возраста); обычно же необходимо сдать простенький экзамен по правилам уличного движения, не обязывающий к знакомству с автомобильными внутренностями. Из сказанного, я думаю, понятно, что на дорогах встречаются водители самого разного класса. В городе Мак-Кейми, штат Техас, десять лет назад был установлен рекорд, как свидетельствуют американские хроники, не превзойденный до сих пор: семидесятипятилетний водитель четырежды прокатился не по своей стороне шоссе, вызвал шесть дорожных происшествий подряд, кроме того, четыре автомобиля сам задел; все это за двадцать минут. Сточетырехлетний калифорниец Рой Роулингс три года назад развил на запруженном шоссе скорость, почти в два раза превышающую дозволенную, за что и был задержан вместе с автомобилем для уплаты стодолларового штрафа. Это я вам рассказал к тому, что на дорогах ежегодно гибнет больше пятидесяти тысяч американцев — люди зачастую рождаются в пути, живут, мчась по шоссе, и умирают на них; образ автомобиля и дороги так же неотделим от Америки, как образ корабля неотделим от океана. Страна запелената в ленты своих шоссе, и строгий американский бог глядит на путешественников с рекламных щитов, установленных вперемежку с рекламами разных безбожных заведений, обещающих далеко не праведные забавы. Я нигде на свете не видел, чтобы господа бога рекламировали, словно кандидата в губернаторы; это странная дорожная религия, а скорее привычка к восприятию информации сквозь ветровое стекло: «Господь следит за тобой! Собор святого Иоанна — третий поворот после перекре-

стка...» Подъезжают, молятся, бросают монеты в кружку, покупают охранительный брелок со святым Христофором, исповедуются — и все это не выключая мотора, который стонет так, что слышно сквозь соборную дверь, и священник повышает голос, взмахивая руками, как регулировщик...

Отчетливо помню книгу Джона Керуака «На дороге». Битнический манифест, у нас она прочтена была удивленно и с опозданием; только позже я познакомился с людьми, чьей религией стало движение, дорога; не переезд от жилья к жилью, а жизнь в движении — на мотоциклах, в автомобилях, в трайлерах, на платформах. У многих есть какая-то цель, иные, словно беженцы, которые не ведают, где остановятся,— в заплечных мешках часто попискивают очень серьезные большеглазые младенцы.

Впрочем, особые рюкзаки для младенцев никого не удивляют; говорят, что в дальней дороге они даже удобны (моя жена упала бы в обморок, ей всегда казалось, что только никелированные коляски необычайной красоты достойны транспортировать детвору, так что я вольнодумствую, столь примирительно рассуждая о младенце в заплечной сумке).

...Но младенец улыбнулся из-за папиного затылка и невозмутимо перекочевал на дерматиновую обивку стула в одноэтажном недорогом китайском ресторанчике «Королевский Пекин». Происходило это на 23-й улице в городе Лоуренсе, где я поглощал на обед нечто по-восточному загадочное, сладкое, соленое и перченое одновременно (в китайских ресторанах боюсь спрашивать, что мне подано,— заказываю какого-нибудь «Фиолетового Дракона» и убеждаю себя, что это вовсе не маринованные сверчки, как показалось. А деликатные официанты тоже загадочно жмурятся и хранят тайны).

...Ребенок на дерматиновом стуле был так мал, что не умел самостоятельно переворачиваться. Он лежал на животике, свесив ножки и пытаясь на пальцах изобразить что-то похожее на азбуку глухонемых. Его мама и папа неспешно поливали креветок кетчупом, сбрызгивали лимоном и по одной отправляли к себе в очень веселые рты. Я не вытерпел и, нарушая правила хорошего тона, потрогал парня за рукав джинсовой куртки: «Эй, упадет...» Парень взглянул на меня совершенно

безразлично и, беззвучно пережевывая креветку, отрицательно покачал головой. «Он у нас хороший»,— сказала белокурая и юная мама в розовой блузке, стянутой узлом на животе. Я думаю, что мама имела в виду младенца, а не его папу с крошками в негустой юношеской бородке. «Мы из Коннектикута,— сказала мне мама и шлепнула младенца по попке, обтянутой непромокаемыми резиновыми трусиками.— Едем. Хочется увидеть Америку. Пусть и он поглядит»,— и хлопнула младенца по резиновым трусикам еще раз. «Видели наш «фольксваген» у входа? — включился в беседу папаша.— Мы с Пегги недавно поженились и решили подыскать себе университет повеселей. Ведь возле нас в Коннектикуте или нью-йоркские университеты, где с ребенком жить тяжело, или Гарвард, на который все равно денег не напасешься. Поехали искать, где бы поучиться,— мы биологи-третьекурсники,— и так в дороге понравилось...» Папа махнул рукой, взял еще одну креветку, сбрызнул ее из лимонной дольки и начал макать в кетчуп. Мама тоже хотела взять креветку, затем раздумала, достала из сумочки пластмассовую бутылку с соской, перевернула младенца на спину и воткнула ему соску в жадно распахнувшийся ротик. Папа принял бутылочку, и дальше они ели очень согласно: папа держал бутылочку, мама — младенческую головку, а поскольку у каждого из родителей оставалось по свободной руке, то папа с мамой спокойно беседовали, беря креветок и медленно размазывая ими алую лужицу кетчупа.

Все трое были вполне счастливы, а самое странное для меня было в том, что никто в заполненном зале «Королевского Пекина» не обратил на них внимания. Едут люди — ну и пусть их; если на то пошло, то из тридцати девяти американских президентов в акушерской клинике не родился ни один; все увидели свет в родительских спальнях и воспитывались, разъезжая с мамами и папами по белу свету, где место для каждого находилось далеко не сразу. Мои недавние собеседники уже закончили кормить свое дитя, не пискнувшее за все время ни разу, и оставили его лежать на спинке, прижатой к дерматиновому сиденью. Коннектикутские третьекурсники не спеша вынули по сигарете из длинной голубой пачки и углубились в таинственную се-

мейную дискуссию, посылая молочные кольца дыма к низкому потолку. Ребенок спал — странное американское дитя из рюкзака, висящего на спинке стула.

Дорога связана самой сущностью и с понятием дома, и с понятием о судьбе, она причастна к американской истории и едва ли не ко всему, о чем хочется рассказывать в связи с этой страной. Даже разговор о кино был бы соединен с образом человека в седле и человека за рулем, а многие из актуальнейших фильмов составляли целые «дорожные» серии, особенно ленты о мотоциклистах — такие, как «Дикие ангелы», «Ад горячих дорог», «Путешествие», «Беспечный ездок»,— растревожившие Америку в шестидесятые годы. Там все происходило в движении, а для героев «Беспечного ездока» расставание с шоссе было одновременно смертью (Джо и Ваятт валятся с мотоцикла, застреленные из кабины грузовичка скучающими фермерами средних лет, просто так...). Сколько американских конфликтов выплеснулось на дороги! Я не хочу углубляться в «автомобильную тему», о ней у нас писали достаточно, да и сам я уже говорил здесь о лавине домиков с колесами, рулем и мотором, массово начатой в 1908 году Генри Фордом, выпустившим за десять лет пятнадцать с половиной миллионов автомобилей лишь знаменитой своей конвейерной «Модели Т». Сейчас компания Форда выкатывает в год на дороги около двух миллионов легковых автомобилей. «Дженерал Моторс» — еще четыре миллиона (да с миллион автомобилей Крейслера, а еще других компаний, а еще иностранных...). Чем дышат американцы, сказать трудно, ученые, наверное, знают; те самые ученые, которые высчитали: за девятьсот с небольшим километров дороги автомобиль поглощает кислорода столько же, сколько человеку надо для дыхания на год. Но автомобили, дороги — это еще и рабочие места, работа, которой охвачено около пятнадцати миллионов американцев; каждый третий килограмм стали, выплавленной в Соединенных Штатах, каждый второй килограмм свинца идут на автомобили. Более трехсот тысяч ремонтно-автозаправочных станций, выстроившихся вдоль дороги, не только торгуют бензином, но и кормят миллионы людей, связанных с ними; нефтяные кризисы так больно отстегали Америку именно потому, что удары падали едва ли не на самое уязвимое

место. Без дорог и всего, что связано с ними, американцы жить не умеют и не хотят.

«А ты хочешь жить? — спросил у меня полисмен возле калифорнийского городишка Салинас, задержав за превышение скорости.— Ты хочешь жить, я спрашиваю?» Полисмен был весь в звездах, полосах и револьверах, а его «понтиак» со служебным номером 66238 недовольно урчал на обочине. «Меня зовут Роберт Роджерс,— погрозил полисмен пальцем в черной перчатке.— Если я тебя еще раз поймаю на семидесяти милях в час вместо дозволенных пятидесяти пяти, предупреждением не ограничусь. А пока — на тебе, вижу, что в первый раз...» Полисмен выписал узенькую зеленую бумажку, формой похожую на рецепт, с большим словом «Ворнинг» — «Предупреждение», оттиснутым наверху. Автомобили, обгоняя нас, сочувственно сигналили, и я ощущал игривость бессильной автолюбительской солидарности, воплотившейся в хоре клаксонов. «Гудите, гудите,— сказал Роберт Роджерс.— На этот раз мы поставили радар так, что черта с два его обнаружат. Желаю счастья». Сел в свой «понтиак» и укатил по направлению к хитро спрятанному радару.

Дело в том, что тактические игры на американских дорогах развертываются с использованием самоновейшей техники. Едва полиция завела радары для фиксации нарушителей (в последние годы скорость на шоссе обязали снизить до пятидесяти пяти миль в час — примерно километров до девяноста, а это на великолепных дорогах воспринимается многими водителями как издевательство; правда, количество дорожных катастроф с ограничением скорости резко снизилось тоже), поступили в продажу автомобильные детекторы для дистанционного обнаружения радаров. Полиция переговаривается по радиотелефонам — точно такие же, да еще с отмеченными диапазонами полицейского общения, начали продавать в универмагах.

Дух свободного предпринимательства, обуявший Америку несколько столетий назад, вовсю царит и на ее шоссе во всей своей кощунственности; думаю, что дорожная полиция слышит, как шоферы ее ищут, информируя друг друга о передвижении блюстителей правопорядка. Термин «смоки бер» — «продымленный, копченый медведь»,— которым в радиосвязи условно

именуются полицейские, вряд ли вызывает у них восторг, но таково уж сознание, определившее бытие: ковбои на «олдсмобилях» и шериф на неоседланном «понтиаке».

Обычно лучше всего оборудованы радиотехникой огромные грузовые фургоны, днем и ночью перевозящие по американским дорогам все что угодно. Для водителей фургонов скорость становится фактором заработка: быстрее доставишь — больше получишь; вот и мчатся они, перекликаясь по радио, возглавляя колонны легковых гонщиков — автолюбителей, устроившихся в тени фургона,— словно цирковой парад со слоном, шагающим впереди. В штате Невада уже я сочувственно просигналил, увидев шесть автомобилей, сдвинутых к обочине; так сразу всех и поймали — впереди красно-синий фургон со знаками мебельной фирмы, а за ним — пять разноцветных автомобильчиков с шоферами, судорожно сжавшими прямоугольнички водительских прав. Полисмен двигался вдоль строя, словно индеец из кинофильма, изловивший шестерых коробейников, рискнувших вторгнуться на территорию племени. Было ясно, что без сожаления скальпы снимут со всех шестерых.

Штрафы, взысканные за нарушение правил движения, идут обычно на улучшение дорог (может быть, поэтому дорожные управления богаты), а принципы строительства неизменны в течение тысячелетий. Английское «стрит», немецкое «штрассе», итальянское «страда» происходят от латинского «стратум» — «слой»: еще в Древнем Риме дорожные покрытия начали сооружать многослойными. А по части финансирования штрафами, то в средневековой Центральной Европе дороги одно время и вовсе строились за счет налогов, собранных с цеха проституток. Как назидательно высказался в то время король Сигизмунд, «греховные деньги таким образом обращаются во благо, грех же попирается ногами».

Но достаточно исторических экскурсов. Американские дороги попираются не ногами, а колесами, параллели условны; Америка зовет себя Новым Светом и не всегда помнит даже о лошадях, протоптавших здесь первые пути сообщения, а затем ушедших в реестры ипподромных тотализаторов и на широкие экраны ве-

стернов. Лошади не имеют права приближаться к шоссе — это дороги не для них. С тех пор, как в 1540 году испанский поручик Франциско Коронадо привез в Северную Америку лошадей и по пути через нынешний Канзас двести шестьдесят лошадей удрали, основав племя мустангов, многое изменилось. Впрочем, если уж мы заговорили о дорогах, лошадях и штате Канзас, расскажу вам одну историю.

Марку Джонсу двадцать четыре года. Он слушал мои лекции в Канзасском университете, приходя на них без опоздания, и делал аккуратные записи в толстой тетради. Писал Марк левой рукой, отчего я обратил на него внимание в первый раз. Во второй раз я обратил внимание на студента, не задающего мне вопросов, когда увидел, как в каждый обеденный перерыв он исчезает куда-то, словно Золушка с бала; все остальные мои студенты обедали, рассыпавшись по кафетерию. Мне сказали, что студент Марк Джонс уходит, чтобы задать корм лошадям; ситуация показалась интригующей, и я пригласил Марка на чашку кофе.

Мы уселись в кафетерии возле университетской книжной лавки, и он рассказывал мне кое-что о своих дорогах, держа бумажный стаканчик двумя ладонями и медленно отхлебывая из него, со взглядом, опущенным в кофе, словно он там глазами сахар помешивал.

Марк Джонс родом из Калифорнии. Отец его инженер по дизайну, известный и опытный оформитель мостов и домов, скитающийся по американским дорогам в поисках интересной работы. Ощущение дороги Марк впитал в себя с колыбели (я вспомнил двух молодых родителей из Коннектикута и дитя на дерматиновом стуле). Старший брат Марка — финансист, один из младших — дизайнер, помогает отцу, а самый маленький еще учится в школе, но уже мечтает стать юристом, мать всегда присутствовала в семье заботливо и бессловесно, не мешая мужчинам принимать самостоятельные решения.

Итак, в 1970 году Марк закончил школу и не знал, что делать. Решил уехать подальше, нанялся на корабль и приплыл в Гамбург. Матросская карьера разонравилась еще в рейсе, так что в западногерманском порту Джонс не остался; через несколько месяцев оказался в Швейцарии. Там влюбился и задержался на

целых два года — работал в фирме одежды, принадлежавшей отцу его возлюбленной. Заодно изучал французский язык и в местечке поблизости записался на танцевальные курсы: очень нравились все на свете народные танцы, все и пробовал танцевать, но постиг разве что хореографическую грамоту в общих чертах...

Здесь позволю себе прервать собеседника. Почти всегда — я уже говорил об этом — американские дети рано становятся взрослыми. Чем раньше сын или дочь выходят на собственную дорогу или хотя бы активно начинают ее искать, тем лучше думают о них в семье и вне семьи. Дети начинают серьезно относиться к жизни уже в возрасте наших старшеклассников и рано принимают на себя ответственность за собственные пути. Они практически не ощущают особенно прочной связи с государством, живут независимо от него или в крайнем случае, как деловые партнеры. Связи с семьей часто также весьма условны.

Марк Джонс возвратился в Америку. Дороги наматывались на оси сменяющихся подержанных автомобилей двадцатилетнего парня, колесившего по стране. Особенных профессиональных навыков не было — так, чуть-чуть торгового опыта, немного знания французского языка и любовь к природе, крепко вросшая в душу. Иногда дороги приводили Марка к эмигрантским общинам — он выступал в группах народного танца, балканских, русских, венгерских, украинских (до сих пор пляшет — уже в университетском ансамбле), несколько месяцев даже пел в каком-то румынском хоре...

Когда я спрашивал у Джонса, чем запомнились ему пройденные дороги, он удивленно вскидывал на меня глаза от своего стаканчика с кофе и говорил, что ничем, все дороги как дороги, разве что одиноко было на них и не было собственного причала. Шесть миллионов километров шоссе, всю жизнь можно ездить...

А ему расхотелось ездить всю жизнь. Но денег на то, чтобы остановиться и начать собственное дело, не было. Конечно, можно было бы возвратиться домой, но в этом признание поражения; Джонс, как все граждане Соединенных Штатов, проигрывать не желал. Стипендию получить не удавалось; тогда Марк подал заявление в армию США, он был согласен, если ему оплатят

курс обучения, послужить вольноопределяющимся, а в случае надобности армия может рассчитывать на него и как на специалиста, подготовленного за ее деньги.

В дорожном общении со славянами, прижившимися в США, Марк утвердился в желании изучить русский язык и даже самостоятельно приступил к этому делу. Но армии нужны были знатоки китайского языка. Контракт с Марком подписали с условием, что он постигнет иероглифы.

В Монтерее, штат Калифорния, Марк поступил в китайскую школу, подучился немного и тут же начал работать как внештатный толмач. Продолжал изучать и русский, предлагая свои услуги как русист без диплома. Кончилось все это тем, что заработков не стало; пока оставались деньги, поехал в штат Мичиган и там устроился переводчиком на военно-воздушной базе...

Вся жизнь Марка в блестящих гудроновых лентах; дороги Америки не просто падали под колеса, они снились ему, они были местом его знакомств, разлук и свиданий. За сетками, ограждающими шоссе, росла трава и гуляли кони, коровы, даже олени — огромный мир, некогда владевший континентом, а сейчас не имеющий права и для того, чтобы пощипать траву на другой стороне шоссе: машины мчались лавой по четыре ряда в каждую сторону — негде было перейти через дорогу...

В штате Мичиган Марк Джонс подсчитал все свои капиталы, взял небольшой заем и купил себе ферму с восьмьюдесятью гектарами пастбища. На территории фермы стояла развалюха, где можно было жить, было там и несколько хозяйственных построек. А живности имелось — тридцать цыплят, две утки, две свиньи и семь лошадей; лошадей Марк полюбил особо, он привязался к ним накрепко и, когда уходил по утрам на авиационную базу, прощался с ними, словно с родственниками...

Все дороги Марка были безлюдны. Плакаты, стоящие вдоль многих американских шоссе: «Пешеходам и велосипедистам находиться здесь воспрещается», — сопровождали его повсюду, и одиночество всадника на караванной тропе становилось главным из ощущений. Но ферма внезапно подарила чувство собственного места на свете — это было, пожалуй, самой большой ра-

достью в жизни очень взрослого человека Марка Джонса.

Что было дальше? Вставал в пять утра, задавал корм своим зверям и птицам, ехал на базу. Наотрез отказался лететь во Вьетнам и через два года жизни в Мичигане распрощался с армией. Расстался и с фермой — продал. Но дальше дороги Марка ушли в сторону от гудрона, он уезжал из штата Мичиган по полям и проселкам, потому что уводил с собой двух жеребят, выращенных на ферме. Жеребята приехали с Джонсом в Колорадо-Спрингс, в горы, — дорога была очень долгой, и они повидали свет. Марк поработал немного в колорадской фирме, торгующей произведениями мексиканского искусства, изучал испанский, два-три раза в месяц летал в Мексику. Затем оставил работу в горах, летом потрудился на заводе и поступил в Канзасский университет, на славистику. Арендовал у старика пастора комнату и гараж, лошади живут в гараже, пастор гуляет с ними, если может, но и сам Марк старается ежедневно — хоть на час, в обеденный перерыв — заехать к гривастым друзьям. Таванне уже четыре года, а Фолли Трежер — два; на русский лошадиные имена можно примерно перевести как Смуглянка и Бесценная.

Марк думает, что станет фермером и будет переводить, живя на природе; если удастся, разведет лошадей. Он пишет стихи, которые стесняется показывать; хотел бы преподавать иностранные языки: все-таки каждый новый язык — это еще одна дорожка для бегства из одиночества. Девушки? Пока не встретилась такая, которая полюбила бы и его, и лошадей...

Парню двадцать четыре года, он начал свой уход от блестящих бесконечных дорог и невесть где остановится; я встречал и других молодых и немолодых людей подобной судьбы, толкающихся в этом, прямо-таки броуновском молекулярном движении. Бегство из одиночества, бегство к себе — сквозь глянцевый гудроновый мир, по лентам, исполосовавшим Америку и зачастую замыкающимся в кольца, как петли разъездов на перекрестках. В штате Аризона я переночевал как-то у знакомого врача в поселке Керфри, неподалеку от Финикса, в доме, прижавшемся к шоссе. После обильного ужина мне долго не спалось, читал, слыша, как мимо

окон с шуршанием пролетают моторизованные дети Америки, пофыркивая на повороте. Часа в три ночи я услышал, как загудел мотор возле дома — словно его включили, а затем рывком отправили в ночной бег. Не поверил себе, ибо кто, куда мог поехать под утро? Только что мы переговорили обо всем на свете, и никто из хозяев явно не собирался в путь. Но за завтраком я на всякий случай спросил. Дочь хозяина, студентка Роксанн, спокойно призналась, что уезжала она: «Муторно как-то стало, не спалось, разные мысли лезли в голову. Я села в автомобиль и выехала на шоссе. Там всегда много народу — мчатся куда-то, обгоняют друг друга, улыбаются, переговариваются по радиотелефонам. Никто не останавливается — на скоростных шоссе не так просто причалить,— все катятся, словно разбился ящик консервных банок и в каждой — по человеку...»

Билли Грехем, проповедник, очень близкий к Белому дому в течение многих лет, антикоммунист из самых заядлых, однажды воскликнул: «Цивилизация, создавшая лучшие в мире автомобили, лучшие холодильники и телевизоры, создала худших на свете людей». Я никак не могу согласиться с истерическим пережимом Грехема; американцы особенны, они сформированы своей жизнью точно так же, как все остальные люди на свете, и во многих случаях они отзывчивы, щедры, искренни. Судьбы их обозначены безжалостностью капитализма, но никто — ни Грехем, ни студент, сменивший пять университетов, ни мы с вами — не имеет ни права, ни возможностей измерять всех общей алюминиевой линейкой. У людей очень много общего, но и различия между людьми огромны; они пересекли океан в поисках своего места на свете, многие до сих пор ходят, ищут, а иные никогда не найдут. Но как хорошо на дороге: ты в пути, а значит, впереди хоть что-то да будет. Ты ковбой — можно обнять девушку, можно петь, можно превышать скорость, можно остановиться в мотеле, а можно поспать прямо в автомобиле,— если приспустить окно, то слышно, как лично для тебя свистит ветер. Можно перекусить в кафе у дороги — вместе с такими же скитальцами, как ты сам; очень похоже на то, как некогда в маленьких городках любили гулять у железнодорожных вокзалов, разглядывая сквозь

пунктир проплывающих желтых окон чужую, другую жизнь.

Те, кто следит за кино, возможно, и помнят очень шумный американский фильм пятидесятых годов «К востоку от рая». Снявшийся в этой и еще в двух картинах актер Джеймс Дин играл молодого человека с дороги, мчавшегося с бешеной скоростью на автомобилях, уходящего от погонь; но больше всего герои Дина стремились уйти от себя самих. Актера и человека такой популярности, как Джеймс Дин, в Соединенных Штатах давно не было; ему подражали, в него играли, в него влюблялись массово и навсегда. Он жил на американских шоссе, как скоростная улитка в металлической раковине, редко высовывавшая рожки сквозь откидную крышу или дверцу своего домика. Все было прекрасно и модно, но вдруг Дин — не герой его, а он сам — погиб в автомобильной катастрофе, разбился на загородном шоссе. Помните стихи Гейне в старом добром «Обрыве» у классика Гончарова: «И что за поддельную боль я считал, То боль оказалась живая. О боже, я раненый насмерть играл, Гладиатора смерть представляя...»? Светлые глаза Джеймса Дина и его немодная уже прическа с высоко подстриженными висками нет-нет, а мелькнут на шоссе...

Почему же мне снятся и вспоминаются бесконечные дороги Америки, почему, перебирая фотографии и записи, я припоминаю друзей и города, в которых они живут неотделимо от бетонных, асфальтных и гудронных магистралей, разливающихся между ними? Все-таки не в дорогах дело, как реки не виноваты в том, что люди тонут. Американское шоссе — река без спасателей; умеешь выплыть — плыви, не умеешь — зачем вошел в воду? Дороги сами по себе никогда не сортировали людей.

Как-то в Канзасе я рассуждал, сколь обязан этим дорогам, сделавшим возможным мое путешествие, потому что без дорог человек издалека никогда не добрался бы до таких далей... Ну, короче говоря, рёк я вежливые банальности и, будучи очень усталым, даже не стыдился. Тогда всезнающий профессор Джерри Майклсон подарил мне альбом с фотографиями, сделанными больше ста лет назад. Оказывается, в 1872 году из самого Санкт-Петербурга без реактивных самолетов,

«кадиллаков» и столь милого моему сердцу федерального шоссе № 70 пожаловал в Канзас российский великий князь. Великий князь желали поупражняться в стрельбе по бизонам. Сопровождали августейшего лоботряса американский генерал Фил Шеридан и подполковник Джордж Кастер, а кроме того, два эскадрона кавалерии, оркестр и три вагона шампанского, водки, виски, коньяка и других жидкостей, дабы не скучно было слушать оркестр. За пять дней развеселая братия вылакала все три вагона и прикончила пятьдесят шесть бизонов. У великого князя с перепою пальцы тряслись, и это спасло жизнь многим парнокопытным. Сохранились фотографии — лихой гость из-за океана в кубанке набекрень сидит на пенечке и размышляет на разные придворные темы. В глазах у светлейшего такая грусть, которая по-немецки фиксирована где-то между словами «вельтшмерц» и «катценяммер» и может поражать славян только с похмелья; грусть вряд ли вызвана сочувствием к убиенным бизонам и раздумьями о социальной структуре России.

Историю надо знать. Америка изменилась, она уже не бродит по прериям, погружая колеса в колышущийся ковыль. Америка научилась любить бизонов, перебив их до последнего и выведя заново. Америка приглядывается к собственным детям и временами хочет сосчитать их и приласкать, а дети мчатся по дорогам, словно капельки крови по сосудам человеческого тела, и кажется, что остановись они, всему настанет конец. Проезжая по дорогам, время от времени встречаешь людей на обочине, упрямо указывающих большими пальцами в сторону, куда бы им надо ехать; иногда эти люди держат плакаты, где фломастером жирно начертано имя нужного города. Людей таких берут с собой очень редко — боятся; поток автомобилей безостановочен, только у бензоколонок отдыхает по одному-два, уверенно опираясь всеми четырьмя шинами на дорожное покрытие, под которым где-то там, глубоко, кости бизонов, человеческие кости, не найденное еще золото и следы многих людей, прошедших здесь во времена, когда по этой земле передвигались преимущественно пешком.

Когда-то, наверное, лет двадцать назад, на гастроли в Киев приезжал один из самых популярных амери-

канских странников — Пит Сигер, переполненный собственными песнями, да еще и народными, а к ним и новомодными всех сортов. Пит Сигер играл на банджо и пел, пел, пел вместе с залом, сам по себе и как угодно. Мне его песни нравились и потому, что я был подготовлен к слушанию. По причине нечастых тогда еще гастролей американских певцов мало что знал о Сигере, как и все остальные, и перевел множество его песен для немедленной публикации. Песни публиковались и просто пелись, и некоторые сохранились в моей памяти и доселе. Вроде песни о колоколе: певец хотел его взять в руки, чтобы звонить и звонить, призывая людей к братству.

Неожиданно я услышал знакомую песню, она звучала из приемника автомобиля, стоявшего у бензоколонки на шоссе № 40 в штате Нью-Мексико. Люди в кабине внимательно слушали ее и вполголоса подпевали. «Ах, если бы у меня был колокол! — вскрикивал Пит Сигер в динамике и дергал за струну.— Если бы у меня был колокол...»

Бывшие американские президенты обитают в Калифорнии — оба, которые живы: Ричард Никсон и Джеральд Форд. В начале 1977 года Форд участвовал в профессиональном турнире по гольфу — было тепло, и мячики скользили по выстриженной траве с неудержимой легкостью. Экс-президент Никсон тоже много играет в гольф,— может даже почудиться, что эта забава специально придумана для поддержания здоровья бывших лидеров; впрочем, Никсон еще в президентские времена ввел у себя в имении гольфовые электромобильчики (на них игроки разъезжают по полю) как основной вид внутреннего транспорта. На службу, понятно, президенты летали на самолете, потому что от Калифорнии до столицы около четырех тысяч миль, а до Нью-Йорка — и того больше.

Президенты стали селиться в Калифорнии с недавних пор — первые по своему государственному значению американцы, они лишь в послевоенные годы поняли всю привлекательность тихоокеанского штата. Впрочем, первые из вообще прибывших сюда американцев оказались у Тихого океана тоже не так давно — менее полутора столетия тому назад. Но в те времена эта часть Америки была далеко не так ухожена.

Вначале американцы селились в Калифорнии неспешно — на побережье места хватало: в середине прошлого века там было всего несколько мексиканских гарнизонов и католических миссий. Климат вдоль океанского берега прекрасен — метеорологи зовут его средиземноморским; при достаточном поливе земля становилась щедра, но слишком уж долог был путь через континент, поэтому люди добирались сюда малыми группами, с трудом пробиваясь сквозь пустыни, голод, отряды обиженных индейцев. Для массового переселения нужен был мощный стимул — таковой вскорости появился.

Швейцарец Иоган Август Зутер прибыл в Америку

в середине тридцатых годов прошлого века. Он поселился в калифорнийской долине Сакраменто, скупил окрестные земли и вскорости завел на них кукурузные плантации, скотоферму, начал закладывать один дом за другим. Плотник Джеймс Маршалл был нанят Зутером для надзора за мормонами, строящими плотину на близлежащем ручье. 28 января 1848 года Маршалл с мормонами нашел на ферме Зутера в Колома первые золотые самородки. Уже через день тысячи людей муравейником зашевелились на ферме невезучего швейцарца; остановить нашествие было невозможно — золотоискатели прибывали целыми табунами. Журналист из Сан-Франциско в те дни сообщил: «Город опустел. Кажется, что жители вымерли или, напуганные, притаились в лесу. Одиноко, словно дух, бродил я по городским улицам. Заходил в брошенные рестораны, где на столах стыли недоеденные обеды, видел оставленные магазины, полные товаров, мастерские без ремесленников и пустые жилища. Зашел в гостиницу, но и там никого не было — ни портье, ни слуг, даже никого из постояльцев...» Неподалеку от фермы Зутера в порту покачивался на волнах опустевший испанский военный корабль — капитан первым схватил лопату и во главе экипажа умчался в золотоносные горы.

Через год сведения о золоте достигли Атлантического побережья и сработали там немедля — корабли, отплывавшие к Европе, меняли курс и уходили в Калифорнию; толпы народа — без карт, по солнцу — двинулись на запад. Учителя покидали школы, мастеровые бежали с фабрик. В момент открытия золота в окрестностях фермы Зутера жило восемьсот человек, через год — больше тридцати тысяч, а еще через четыре года около четверти миллиона желающих немедленно разбогатеть копались в калифорнийской земле. За подробностями я отсылаю вас к Брет Гарту, О'Генри, Джеку Лондону и авторам вестернов, запечатленных на бумаге и кинопленке. Печальные рекорды, зарегистрированные во времена «золотой лихорадки», не превзойдены до сих пор: преступность была массовой и трудно-преодолимой, продовольственный кризис был страшен — за картофелину платили доллар, за фунт кофейных зерен — два (а ведь это было время, когда в Шта-

тах чеканили золотые монеты), за фунт мяса отдавали фунт золотого песка. Президенты Джеймс Нокс Полк и Захария Тейлор, правившие Соединенными Штатами в начале «золотой лихорадки», явно не намеревались переселяться в Калифорнию и, пожалуй, имели самое смутное представление об этой территории, окончательно оттяпанной у Мексики к середине прошлого века, но все еще живущей весьма странно.

...Через сто с лишним лет после «золотой лихорадки» Калифорния была взволнована нашествием хиппи, устроивших в сан-францисском Хейт Ашбери нечто вроде своей вселенской столицы. Но это, как говаривал Ганс Христиан Андерсен, уже совсем другая история.

Начавшись со стрельбы и мордобоя, штат Калифорния постепенно стал самым богатым, респектабельным и многолюдным штатом Америки. Кроме того, что здесь поселяются президенты, в Калифорнии размещены училища и военные базы Тихоокеанского флота США, Голливуд с огромным количеством киностудий, фабрики вооружений, крупнейший в мире зоопарк, фирма «Локхид», производящая самолеты и подкупающая зарубежных премьеров, мегаполис из трех почти неразделимых городов: Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Сан-Диего. В Калифорнии очень много всего — от мышки Микки Мауса, родившейся здесь, до правившего здесь же воинственного реакционера губернатора Рональда Рейгана. Кроме того, в Калифорнии увидел свет лесной киночеловек Тарзан, совместивший в себе миролюбие мышки с агрессивностью губернатора,— вы знакомы и с ним. Дело в том, что коренные калифорнийцы соединили в своих характерах множество самых разных влияний и традиций — мексиканских, ибо край был аннексирован у Мексики и до сих пор переполнен ее уроженцами; азиатских, ибо это основное место прибытия в США выходцев из Японии и Китая; европейских, ибо переселенцы с восточного побережья США прибывают и прибывают к Тихому океану.

...Я прибыл сюда на автомобиле, перевалив через горы у Денвера и скатившись по семидесятому и пятнадцатому шоссе прямо к Лос-Анджелесу. В Америке очень много хороших дорог, но таких прекрасных, как

в Калифорнии, нигде больше нет. Первой из проблем этого штата были дороги — теперь дорог понастроили, и они вносят тебя в Лос-Анджелес, как зернышко на бесконечной ленте конвейера. Многие участки шоссе будто прочерчены линейкой по карте — они сокращают путь неожиданно и намного (здесь даже само название города сокращено: богобоязненные испанцы нарекли его при закладке Деревня Нашей Госпожи Королевы Ангелов, американцы оставили от названия хвостик, и топографы запечатлели это на картах). Ни одного ангела в городе я так и не встретил. Белоснежка, слоняющаяся по Диснейленду, к вящей радости ребятишек, не в счет; она не ангел, а просто сказочный положительный персонаж.

Давайте и начнем с Диснейленда, ибо он оказался как раз на том въезде в Лос-Анджелес, сквозь который я проник в город,— пятнадцатое шоссе подвозит вас к решетке, ограждающей Страну Диснея, разрешает бесплатно бросить взгляд на ее монорельсовую дорогу и гору Маттерхорн, нафаршированную разными чудесами. Перед Диснейлендом — гигантская асфальтовая пустыня автостоянки, по слухам, самой большой в мире, тысяч на десять автомобилей. Запарковавшись, нужно крепко запомнить номер своего поля — какой-нибудь B15 — и на всякий случай пометить автомобиль старым носком или пустой банкой на антенне, что позволит в конце дня узнать его среди тысяч близнецов, прижавшихся к оградам Диснейленда.

После свершенного все уже очень просто: покупаете билет, и контролеры в жокейских шапочках распахивают калитки — добро пожаловать!

Это и вправду интересно — нечто среднее между промышленной выставкой и кукольным театром. Но если уж кукольный театр, то из мечты Буратино, в которой был целый город, где куклы живут, разгуливают по улицам и нет разделения на персонажей и зрителей.

Тут же, у входа, топал по мостовой оркестр в костюмах, делающих музыкантов похожими на героев водевиля из гусарской жизни. Но гусары чинно дули в медные трубы, покачивали аксельбантами, не проявляя никакой склонности к легкомысленным поступкам.

Благонамеренно расхаживали Микки Маус, Белоснежка и глуповатый барбос Гуфи; враскачку гуляли гномы — фотографировались с детишками, разглядывали посетителей Диснейленда и подпрыгивали в такт музыке. Если уж это был кукольный город, то никаких Карабасов Барабасов сюда не пускали даже с билетами. Радость струилась из окон маленьких магазинчиков, кафе, аттракционов,— вы не думайте, радость можно сделать — на час, на день, на сколько выдержите,— мир Диснейленда был беззаботен и вправду очень забавен, если не принимать его всерьез.

Если принять все это за образ Америки, то слишком все красиво, на самом деле может показаться, что видишь чужой сон — видения впечатлительного мальчика, который начитался чьих-то легкомысленных сочинений и поверил, что бывают страны, где на улицах бесплатно играют счастливые саксофонисты, а Микки Маус раздает детям конфеты на углу — опять же бесплатно. Если все это принимать всерьез, то мигом спутаются воедино астронавт Нейл Армстронг, ступающий на Луну, крокодил, пытающийся заглотать лодку, поющие куклы, медведь, играющий на гитаре, и циркорама, где ковбои мчатся по изумрудной траве прерии, а самолетик с банкой кока-колы на хвосте пытается сесть на бетонную вершину горы Маттерхорн. Моя впечатлительность направлялась экскурсоводом Деллой, которая, уловив некоторую славянскую ироничность в моем восприятии ликующего вокруг мира, сказала: «А в пропагандистские павильоны ходите сами, кому хочется. Айда к привидениям!»

Мне очень понравилось, как нас впечатляли здешние привидения: все они были очень веселыми, подпрыгивали на каменных плитах, под которыми, наверное, жили днем, играли на лютнях и приветственно взмахивали треуголками. Часть привидений общалась с визитерами, не вылезая из рам,— в прямоугольниках портретов было достаточно места, чтобы вращать глазами и приветственно махать ручками в нетленных лайковых перчатках. Замок, населенный потусторонними силами, был огромен, экскурсия по нему двигалась сидя — каждый в собственном креслице, сквозь темноту, где кажется, что ты один на свете, но в об-

щем-то с такими симпатичными привидениями можно хорошо провести время и впотьмах.

Все диснейлендовское веселье сбито в тугие связки, так, что некогда оглянуться.

Только что пообщался с тенями британских лордов, а уже тропическое болото насылает на тебя кибернетических бегемотов из пластика, которые совсем как настоящие. Сразу же после бегемотов тебя ожидает гигантское дерево баобаб, где четыреста тысяч листиков и много птиц, поющих всамделишными птичьими голосами, хоть птицы и листики все ненастоящие, но какая вам разница, раз они шелестят и поют. Или вы хотели попасть под настоящий пиратский обстрел, когда ваша лодка (можно не замечать, что она едет по рельсу, проложенному под водой) оказалась между бортами кораблей, вовсю палящих друг в друга; одноглазый пират на палубе тоже был механическим, но рычал вполне натурально. Устав от птичек, пиратов и привидений, можно пойти на концерт, где механические бобры, медведи, лоси и еще кто-то поют — прекрасно поют! — и рассказывают разные лесные байки, да так хорошо, что не хочется от них уходить. Но уйти нужно — ведь в соседнем павильоне лягушки исполняют самую знаменитую американскую песню «Янки дудл»,— лягушки, как и все остальные участники представления, работают на транзисторах, но выглядят до того натурально, что хочется ощупать себя, так как кажется, что они намного задорнее и живее, чем удивленно созерцающие слушатели.

Это веселая Америка, веселая Калифорния, веселый земной шар; Уолт Дисней запроектировал все как продолжение собственных фильмов — его персонажи знамениты и популярнее иных генералов; в лондонском музее восковых фигур, заведении традиционно солидном, Микки Маус стоит между Черчиллем и Рузвельтом, и я сам видел, как посетители, входя в зал, улыбались, а поворачиваясь к витрине, первым узнавали мышонка и говорили: «Вот и Микки Маус!»

«Вот и Микки Маус!» — сказала Делла, когда мы вышли на улицу, и прищурилась от солнца. Мышонок в черном жилете поднял свою растопыренную пятерню в белой перчатке и поздоровался: «Хелло, Делла!» —

«Хелло, Микки! — подмигнула моя провожатая и улыбнулась.— Жарко?» — «О-о-о!» — протянул со страданием откровенный мышонок, но выражение лица его не изменилось, потому что это была маска. «Надень очки,— сказал я Делле.— Солнце слепит».— «Нам нельзя,— ответила она очень серьезно.— Нам надо не терять визуального контакта с посетителями».

Что касается визуального контакта, то все стало ясно. Это были трое высоких канадцев в олимпийских майках и с олимпийскими сумками, да еще и с великолепным, совершенно олимпийским спокойствием, которое посещает очень молодых и очень здоровых парней с полным к тому основанием. «Хелло, Марк,— внезапно изменившимся голосом проворковала Делла,— ты с друзьями?» — «Ты тоже,— ответил один из парней и почему-то взглянул на меня дружелюбно.— Пошли пиво пить!» — «Спасибо,— заулыбался я в ответ,— что-то подагра у меня разыгралась...» — «Мы с Деллой будем вон там»,— показал Марк на кафе, стилизованное под новоорлеанское, все в цветочных кружевах из чугунного литья.

Я уже знал, что не приду. Делла работала в Диснейленде экскурсоводом по пять часов ежедневно; она изучала делопроизводство в Лос-Анджелесе и хотела выбиться в секретарши или выйти замуж. Судя по всему, обе перспективы равно ей улыбались, а знакомые канадцы, японцы, аргентинцы и кто угодно создавали вокруг моей провожатой тот самый фон, который необходим всякой нормальной девушке для ощущения того, что она обаятельна и красива. С ребятами мы познакомились еще утром — они терпеливо ждали, пока я пропитаюсь Диснейлендом и они с Деллой укатят на пляж. Может быть, утром были другие ребята, но очень похожие, тоже канадцы в майках и сумках,— здесь какие-то соревнования, студенческие игры, что ли,— но все Диснейленды на свете конечно же не годятся в подметки Тихому океану, плещущемуся совсем рядом.

Я помахал веселой братии на прощанье, подумал о том, что механические бегемоты не исчерпывают собой всех прелестей жизни, и полез в нагрудный карман за сигаретой. Краем глаза мне удалось увидеть нечто белое, передвигающееся совсем рядом,— при ближайшем

рассмотрении белое оказалось довольно крупным дядей с метлой, и я окончательно переключил внимание на него. Причина моего интереса была продиктована табличкой, белеющей у дяди на белой груди. По табличке были рассыпаны черные буквы: «Лука Демчук». Когда я подумал, что непривычно читать столь славянские имя и фамилию, начертанные латинскими литерами, мои размышления по поводу странностей Диснейленда потекли совершенно иными руслами. Демчук, опершись на свою метлу, немного поскучал по Львову, немного поспрашивал о том, как выглядит город после войны, немного поприглашал меня в гости, но сейчас он должен был работать, а завтра буду работать я — мир зашевелился под ногами у нас, и я ощутил, что сижу в поезде, мчащемся в экскурсию по американской истории, а Лука Демчук машет мне с перрона белой шапочкой.

...Поезд вез пассажиров сквозь очень темный туннель, а по обе стороны вагонов происходили неописуемые механизированные чудеса: стреляли динозавры, ревели ковбои, индейцы играли на клавесинах, первые эмигранты втыкали себе перышки в парики, мустанги дрались за самородки, губернатор мчался, вскидывая копыта, по зеленому ковру прерий. Впрочем, может быть, все было как-то и не совсем так, но я запомнил, что было очень много всего, очень ярко, очень динамично и шумно. Поезд примчался, куда ему и следовало примчаться («Леди и джентльмены! Взгляните налево! Посмотрите направо!»), и я вдруг понял, что даже среди здешних чудес до меня постоянно доцарапывались коготки разных мыслей, к чудесам непричастных.

На стоянке В 15 среди асфальта, пальм и других примет Калифорнии загорал мой автомобиль, Делла прыгала в океан, а дежурный в гостинице «Хаятт», расположенной напротив Диснейленда, раздавал желающим приглашения на вечернее шоу в баре. Неподалеку подмигивали сиянием окон голливудские холмы, населенные кинозвездами,— ничего особенного, богатые виллы и несколько очень хороших актеров не в лучших из вилл (я хотел спросить у модного сейчас и красивого Уоррена Битти, с которым мы познакомились как-то и пообедали в московском Доме литераторов или еще где-

то, почему он снимался голышом для легкомысленного дамского журнальчика «Плейгерл», но у каждого актера свои собственные творческие обязательства). Голливуд светился — там снимали кино и во всех лавчонках торговали памятками о фильмах, большинство из которых я не видел; ничего удивительного — я даже не все фильмы Киевской киностудии пересмотрел. Тем временем кинозвезда Марлон Брандо выступал в защиту индейцев, а кинозвезда Боб Хоуп горевал о президенте Никсоне, хоть с тех пор власть уже дважды переменилась. Я решил, что если заговорю в этой главе о кино, то лишь к случаю, потому что, начав рассуждать о голливудских проблемах, ни о чем другом уже не напишешь, а я ведь все больше о другом...

Но если и принципиально глядеть в сторону, противоположную Голливуду, ситуация не становится проще; ведь только Лос-Анджелес занимает площадь в тысячи квадратных километров — представляете, сколько самых разных событий там случается в одно время, сколько несхожих решений люди принимают одновременно!

Собственно, речь даже не об одном Лос-Анджелесе — я же рассказывал, это сплошной, непрерывный мегаполис — от Сан-Диего до Сан-Франциско города переходят друг в друга, выстроившись цепью то высоко над океаном, то вплотную придвигаясь к нему. Это Калифорния, здесь заканчивается Запад, обозначив предел свой песком тихоокеанских пляжей и городами, плечом к плечу столпившимися у океана.

...Мой знакомый, врач, человек очень умный и уважаемый в Сан-Диего, философствовал у кухонного стола,— мне было интересно с ним, потому что по профессии и складу характера он был прям в суждениях и склонен к раздумчивости: «Мы не умеем изменять жизнь и поэтому воспринимаем ее по частям, отмахиваясь от вещей необъяснимых или очень болезненных. Жизнь, смерть, предательство, вера, убийство, радость — сколько слов имеют уже по десятку значений и потерялись в них. Ты не находишь?..»

Он готовился варить омаров, сегодня купленных в Сан-Клементе и предназначенных нам на ужин; омары били хвостами и не хотели в кастрюлю. Глядя на омарью обреченность, я припомнил только что про-

читанное в «Сан-Диего юнион» — небольшой местной газете; мы разговаривали о рыбаках, о том, что и в каких океанах ловится. Я вспомнил о Балтике, о Риге и снова вернулся памятью к газетному сообщению...

Аэропорт Румбуле построен у леса, рядом с новыми кварталами Риги,— все, кто прилетал в столицу Латвии, не могли этого не заметить. В Румбульском лесу в конце ноября и начале декабря 1941 года за две недели расстреляли около двадцати тысяч человек, среди них многих евреев из рижского гетто. Эдгарс Лайпениекс, один из тех, кто служил тогда в СС и расстреливал в Румбуле — в затылки, проходя вдоль рва,— живет возле Сан-Диего. Примчавшись после войны в США, он успел поработать для ЦРУ, и когда Лайпениекса хотели судить, ЦРУ написало ему вот что: «Служба иммиграции и натурализации США рекомендовала своему отделению в Сан-Диего приостановить направленные против вас действия. Если это не поможет, немедленно дайте нам знать. Еще раз выражаем признательность за услуги, оказанные управлению в прошлом». Газеты цитировали этот документ и меланхолически вздыхали; «Сан-Диего юнион» с отчеркнутой информацией о Лайпениексе лежала на столе у моего хозяина — в нем болело все это, он сохранил газету, но избегал о ней говорить как о неутоленной боли. Мой хозяин был по национальности евреем, и расстрел рижского гетто помнился ему кроме всего прочего как одна из страшных трагедий его народа. Хозяин мой знал уже: времена колонизации Калифорнии, когда убийц, выстреливших в затылок, здесь вешали без суда, миновали.

Хозяин дома капал водку омарам на животики, и они затихали под алкогольным наркозом, погружались в кипяток, краснели — все было так спокойно, так беспроблемно и так легко. Я не хотел назойливо разговаривать с хозяином о разнообразии жителей Сан-Диего — в прошлом году он перенес тяжелый инфаркт и не должен был волноваться.

А все-таки как же это, если можно прострелить несколько тысяч затылков (по-немецки такой выстрел имеет специальное название — «геникшлюсс», ни в английском, ни в латышском, ни в славянских языках

подобного слова нет) и жить на свете защищенно и беззаботно, когда даже самолеты покачивает при взлете над Румбульским лесом — от боли?

Я помню, как много рассуждали в Калифорнии о красивых бунтах, и хиппи лежали здесь живописными штабелями — вздорничали, опровергали, отменяли, переиначивали. Фашисты с великой последовательностью уничтожали бродяг,— будь воля Лайпениекса, хиппи пошли бы в душегубки. Туда же пошли бы здешние евреи — в Калифорнии немало их,— потому что Лайпениекс очень не любил евреев, как все в СС. О неграх я уже не говорю, да и мексиканцы слишком смахивают на цыган,— представляю, как это обижает Лайпениекса. Теплый, пальмовый, пляжный мир хранит в себе убийцу, словно невзорвавшуюся бомбу в стене. Может быть, привыкли; может быть, это странности исторической памяти? Калифорния была покорена силой оружия, до сих пор это один из наиболее вооруженных американских штатов; здесь делают не только ракеты, военные самолеты, но и пистолеты, полуавтоматические винтовки, продавая их на каждом углу и по всему свету; здесь у всех зудят пальцы, ощущая манящую близость спусковых крючков. В газетах, впрочем, пишут, что полиция здесь свирепа...

Так что же с Лайпениексом, милые мои жители Сан-Диего и всех других городов США? Что на вашем крайнем Западе знают о Румбульском лесе на крайнем западе СССР?

Ну ладно, я в гостях, и, может быть, не положено мне вопросы о беглом подлеце и убийце задавать усталому и честному врачу, отчеркнувшему заметку в газете. Но я не раз и очень серьезно задумывался о безразличии, слишком уж часто определяющем здесь стиль бытия. Безразличие к памяти — своей и чужой — вовсе это не широта взглядов, а Большое Безразличие, которое мне очень не нравится. Иные малые безразличия мне тоже не по душе; я, скажем, люблю спортивную одежду и не восторгаюсь знакомыми, которые в летний зной облачаются в вороные оркестрантские костюмы и считают это едва ли не основной приметой солидности; но надевать на званый обед несвежие теннисные туфли, драные носки и шорты, по-моему, так же невежливо, как сервировать этот обед на газете, а не на скатерти. И так да-

лее. В Калифорнии спуталось и продолжает путаться очень многое: фашист, доживающий на даче, пластиковая пальма в зеленом горшке и лев из огромного зоопарка. Острое чувство совести более причастно, по-моему, к умению различать, чем к умению валить все в одну кучу. Иногда бывало странно до боли видеть, как в большом и не очень большом, во многом Калифорния с эдакой великолепной небрежностью забывает даже самое себя. Газеты пишут, как профессор Тимоти Лири, вчера еще суливший «освобождение через наркотики» и вольнодумствовавший со всех амвонов, начал с первого же допроса в ФБР поливать грязью всех своих недавних друзей — только бы выпустили. Майк Тайгер, бывший одним из руководителей студенческих заварушек в университете Беркли, стал модным адвокатом и ведет сейчас дела проворовавшихся чиновников.

Так одни американцы теряют порой порядочность, а другие — веру в порядочность и затем уверенность в себе и своем мире. Я много думаю здесь о том, до чего люди изболелись душевно; страна рассуждает о силах, которые помогут сменить сегодняшнюю усталость на всегдашние молодцеватость и мощь.

Еще несколько слов об этом. Когда-то знаменитая американка Гертруда Стайн придумала термин «потерянное поколение». Саму Стайн мы не очень знали, но таких ее приятелей, как американцы Фитцджеральд и Хемингуэй, таких европейцев, как Ремарк, многие (и я) читали взахлёб. Многое там сформулировано очень точно. Помните, в «Трех товарищах»: «Мы хотели было воевать против всего, что определило наше прошлое,— против лжи и себялюбия, корысти и бессердечия; мы ожесточились и не доверяли никому, кроме ближайшего товарища, не верили ни во что, кроме таких никогда не обманывавших нас сил, как небо, табак, деревья, хлеб и земля; но что же из этого получилось?

Все рушилось, фальсифицировалось и забывалось. А тому, кто не умел забывать, оставались только бессилие, отчаяние, безразличие и водка. Прошло время великих человеческих мужественных мечтаний. Торжествовали дельцы. Продажность. Нищета». В поисках порядочности и правды поколения терялись во многих странах, но американские запомнились больше других, по-

тому что мы следили за могучей литературой — от Хемингуэя до Гинзберга, как за американской летописью. Первая мировая война, кризис, вторая мировая, «холодная», вьетнамская, Уотергейт; попутно в Америке угробили красивую легенду о ковбоях, сняв точные и жестокие фильмы о резне индейцев и ковбоях-убийцах с винчестерами, притороченными к седлам. Оказалось, что верить не во что. Хиппи разбредались по стране, ввергая в растерянность ее и себя, а затем исчезали, как библейская саранча.

Оказалось, что Америка растеряла в разные времена очень уж много своих детей, больше, чем могла позволить себе,— множество потерянных поколений, одно за другим.

Однажды, вспомнилось, англичанин Майк, приехавший после Оксфорда подучиться социологии в США, сказал за обедом (мы трапезничали большой компанией после лекции), что Америка блестяще осуществила в свое время идею их, английской, революции, но не дала миру новых идей и погибает духовно. Я смотрел, как слушавшие нас американцы положили ложки и возмущались такой категоричностью, но ничего толком не могли сообщить по поводу новых идей, подаренных человечеству их страной. «Коммунисты не понимают даже того, что мы возникали как демократическая держава»,— начал один из них. Я решился и процитировал за столом ленинские слова о том, что история новейшей, цивилизованной Америки открывается одной из тех великих, действительно освободительных, действительно революционных войн, которых было так немного... Дело не в прошлом, а в настоящем; не надо обвинять коммунистов во вполне капиталистических бедах Америки.

Пожалуй, что-то весьма важное сосредоточилось в поисках выхода из разобщенности, над которыми бьется великая страна. Снова и снова людей в Америке стравливают в рукопашных; но легенда о злодеях большевиках рушится неотвратимо; ходила даже сказочка о дьяволе (последнее воплощение ее — фильм «Омен», бивший кассовые рекорды в прошлом году: постаревший Грегори Пек гоняется с ритуальным ножом за шустрым маленьким дьяволенком), но все это несерьезно. Люди

ищут сплоченности; новый президент выиграл на обещаниях сплотить нацию — это необходимо, это важно — но как?

«Что с нами?», «Что с Нью-Йорком, что с Иллинойсом, что с Калифорнией?» — это спрашивали у меня, так как верили, что я хочу добра народу Америки и поэтому буду откровенен.

Калифорния покачивала пальмами, тревожная, словно рай, переживший вторжение грешников; страна сновидений, страна прекрасных дорог, фирмы «Локхид», Диснейленда и двух экс-президентов,— может быть, я что-нибудь заметил? Может быть, я поясню им, что происходит? Не поясню: для этого надо прожить здесь очень долго и вдумчиво — я ведь больше о том, что бросается в глаза сразу; о том, как, ощутив Диснейленд кукольным театром, где куклы и зрители на равных бродят по стилизованным улицам, не могу избавиться от этого ощущения, даже выйдя из Страны Диснея. Калифорния — сказочно богатый, красивый и очень жестокий штат; я рассказывал уже, с чего он начался. Неудивительно, пожалуй, что антивоенное движение, хиппи, новое американское кино — взрывами совести, особенно среди молодежи — возникали именно здесь. Это штат крайностей: здесь можно встретить самых милых, добрых и расслабленных от щедрого солнца людей страны, но здесь же случались преступления, которые до сих пор на всеобщей памяти. Помните, недавно лишь — Роберт Кеннеди с простреленным черепом на полу лос-анджелесской гостиницы, банда Менсона...

Поскольку в Калифорнии я не только декламировал стихи, но и встречался с медиками — по старой своей, забытой профессии, по старым и новым знакомствам,— то запомнил сказанное Томасом Ногучи, директором института судебной медицины в Лос-Анджелесе — он считается американским судебным медиком номер один. «Жестокость,— сказал Ногучи.— Вы знаете, что меня беспокоит? Люди уже не убивают друг друга так просто — они все больше пытают и калечат». Ногучи называет это «оверкилл» — «переубивание», что ли,— там, где раньше наносили пять ударов ножом, теперь наносят пятьдесят...

И — на другом полюсе — желающие красоты и зна-

ния, среди них любители поэзии. Один из самых запомнившихся мне поэтических вечеров прошел на кафедре литературы университета в Сан-Диего — я читал и рассказывал, мы уходили из аудитории, возвращались в нее, затем — уже меньшей компанией — поехали вместе ужинать, затем рассуждали на чьей-то квартире о поэзии,— все это длилось с шести вечера до четырех утра беспрерывно, и не было во мне ни капли усталости. Почему судьба поэзии так странна? Почему она всегда мужает вопреки жестокости общества, как одна из могущественных антитез; а может быть, в этом не странность, а мощь поэзии? Ну конечно же именно в этом, я убежден.

Говорят, что здесь мог быть рай,— люди вторглись в него и создали странный мир с островами рая и ада, незаметно для себя самого переходишь из одного в другой и не можешь высчитать ничего, что находилось бы на полпути между солнцем, золотыми девушками на пляже Санта-Моники и живущим в Санта-Барбаре эсэсовцем, демонстративно принявшим чилийское подданство.

Над Лос-Анджелесом случаются жестокие смоги, когда в заводских дымах нечем дышать, и такая синь, такая небесная чистота случается над Лос-Анджелесом, что хочется декламировать стихи о птичке и не верить ни в какую беду. Я не знаю, каким бывает средний воздух — между оранжевым смогом и чистейшим бризом; не бывает, пожалуй, такого воздуха. Не все смешивается на свете, не все к среднему арифметическому, и слава богу.

Я не рассказал вам еще о зоопарке в Сан-Диего, он огромен, самый большой в мире, но не люблю зоопарков, не люблю тигров в бетонированных норах и цапель с подрезанными крыльями — все-таки это слоновий и антилопий загон, как бы там хорошо зверей ни кормили. Возможно, я не прав, но стараюсь не ходить в зоопарки — в Сан-Диего пошел и не испытал обещанной проспектами радости. Животным куда привольней и куда радостней видеть их в Балбоа, где на огромной территории раскинулся парк-сафари со львами, жирафами, носорогами, слонами, бродящими по степи, так похожей на африканскую, с водопоями, где в грязи отпечатались следы африканских жителей: это интересно, и надо ехать

в Кению, чтобы увидеть зрелище, превосходящее масштабами это. Поскольку именно в то время в Кению я не собирался, с удовольствием поразъезжал по калифорнийской псевдосаванне. Заехал и в аквариум — дрессированные дельфины и очень большая черно-белая касатка по имени Шаму прыгали сквозь кольца и катали на себе дрессировщика со звездно-полосатым флагом в руке — флаг был то ли в честь уже прошедшего 200-летия США, то ли в честь морских пехотинцев, чья академия располагалась рядом. Не знаю, прыгают ли тамошние кадеты сквозь кольца, но на территории академии тоже был немалый бассейн и человек с государственным флагом стоял возле него.

Как видите, я умышленно не увожу вас на подробную экскурсию по чудесам природы — наши натуралисты бывали в Америке, и, если захотят, они вам обо всем расскажут получше. Они вам расскажут о поразительности секвой, бездонности Большого Каньона и разных других разностях, которыми Америка все еще богата и всерьез собирается сохранить их и развить. Точку зрения калифорнийского губернатора Рональда Рейгана разделяют далеко не массово (когда тому пожаловались на случаи порубки секвой, Рейган улыбнулся: «Ну и что — кто видел одну секвойю, видел их все...»). Америка старается стать красивее, она следит за своими улицами и штрафует за банановую корку или молочный пакет, брошенные на шоссе,— Америка пытается очистить себя от мусора; но что такое мусор в Америке? Радикалы считают, что страна замусорена беспринципностью предпринимателей, а те, естественно,— наоборот. Американские критерии разнообразны, в стране множество стран, и — при всех речах о единстве — не следует, по-моему, ожидать, что все они сольются в одну и придет даже не мир — долгое перемирие...

До чего же научены разделять! Ну, скажем, о мексиканцах в Калифорнии (от немексиканцев) можно услышать сотни анекдотов, прибауток, издевательских россказней. Мексиканцы плохо защищены от северного соседа — государственно и душевно; у них в Калифорнии создался свой отдельный, улиточный мир — свои ресторанчики, магазины, даже стадион с боями быков. Люди задумываются на разделительных линиях, пыта-

ясь высчитать, кто их провел, пытаясь понять, если не изменить, свою жизнь; но умение классифицировать различия, выискивать все разделяющее доводится иногда до виртуозности.

...Здесь почти нет очень старых домов — строили быстро и не размышляли о вечности. Сейчас много пишут и говорят о землетрясении, которое вот-вот случится и может снести Калифорнию с лица земли,— по радио и телевидению регулярно передают рекомендации, как вести себя возле рушащегося здания; демонстрируется фильм о землетрясении, где земля трескается под колесами у самолета, идущего на посадку, и здания падают, возвращая калифорнийской земле ее нежилую первозданность, выталкивая на поверхность золотоносные жилы для лихорадок будущих времен.

Это было бы страшно. Не могу представить рушащиеся домики Диснейленда, павильоны голливудских студий, перевернутые сан-францисские трамвайчики и сломанный столб Оксидентал-центра в Лос-Анджелесе. Люди никогда не заслуживают своих Помпей — мечтаю, чтобы геологи ошиблись и люди Калифорнии выжили, очищаясь от своей муки, а не умножая и разнообразя ее.

...В кафе «Карилльо» на окраине очень симпатичного городишка Ла Гойя мексиканка, дремлющая у стойки, явно не думала о тектонических катастрофах. «Жарко в Калифорнии, а? — вздохнула она, махнув тряпкой.— Очень жарко. Хотите мороженого?» Мороженое в Калифорнии великолепно; оно есть даже в грязноватой забегаловке «Карилльо», не говоря о «Говарде Джонсоне», гарантирующем ассортимент из тридцати, а то и больше видов как минимум. Пойдемте-ка на мороженое и забудемся в кутеже у гигантских бокалов с «айскримом» — бывают невероятные кушанья из мороженого, иногда с очень торжественными названиями (почему бы и нет, могут же наши кондитерские фабрики носить торжественные названия...). Итак, мы с вами заказали мороженое «Памятник Джорджу Вашингтону». Порция готовится у вас на глазах таким образом: в высокий стакан вливается пятьдесят граммов холодного шоколада, и туда по очереди опускаются шесть шариков мороженого разных сортов и цветов. Каждый шарик облива-

ется малиновым сиропом и прокладывается двумя тонкими срезами с банана. Наверху ставится остаток банана, все сооружение обливается взбитыми сливками, алой и голубой карамелью, а в самую-самую верхушку банана втыкается американское знамя на пластмассовом флагштоке. Можно все это есть — кроме знамени, которое создано для оказий торжественных,— и не думать о землетрясениях, мексиканцах, океанских акулах, перевоспитавшихся хиппи и разных людях, обитающих в Калифорнии.

...Впрочем, Калифорния обрела место в душе именно с тех пор, как ты узнал людей, в ней обитающих. Ты узнавал их и раньше — теперь они собрались вместе,— а помнишь Алена Гинзберга, с которым познакомились в Праге,— захотелось перевести его калифорнийские стихи из книги «Сова». В Праге Ален выступал в поэтическом кафе «Виола» и читал эти строки о Калифорнии, которую ты еще тогда не видел.

...Куда мы идем, Уолт Уитмен? Через час двери закроются. Какую дорогу укажет нам твоя борода в этот вечер?

. . . .

Будем ли мы бродить всю ночь по пустынным улицам? Деревья слагают свои тени, в домах выключены огни, мы будем одиноки с тобой.

Будем ли мы грезить о потерянной Америке любви, проходя мимо голубых автомобилей у подъездов, по пути к нашему тихому особнячку?

О дорогой отец, седобородый одинокий старый учитель мужества, какой Америкой обладал ты, когда Харон перестал отталкиваться шестом и ты вышел на дымящийся берег и стоял, наблюдая за лодкой, исчезающей в черных водах Леты?

Америка, которой обладал Уитмен, Америки, которыми обладали все поколения до и после Уитмена,— миллионы людей, уходящих от одиночества, зла, бедности,— пальмы Калифорнии позванивали над ними, нью-йоркский Гудзон шумел им, и непаханые прерии кормили их, укачивали на шершавых ладонях и в конце концов растворяли в себе.

...Железная птица покачивает меня над необозримостью чужой страны, чтобы унести домой, и я особенно остро понимаю, что не все разговоры переговорены, не все дороги пройдены и пересказаны. Две тревоги вечны в писателе — что он уже все сказал, до конца и бесслове-

сен отныне; и что он не сказал ничего, не сумел, не смог, бездарен. Самолет несет меня вокруг света, и тревожно мне, и хотелось поговорить с вами. Вы слушали?..

* * *

Со времени моей поездки в Соединенные Штаты прошел год. Дни быстротечны, многие американские впечатления заслонены, вытеснены из памяти другими, но и сейчас с той же четкостью ощущаю в себе пережитые прошлой осенью надежду и боль.

Надежду — на мир и взаимопонимание между народами двух государств; боль — за несправедливость и еще боль — за агрессивность, за ту злобу, с которой влиятельные круги Америки — очень и очень влиятельные круги — преграждают пути к сотрудничеству СССР и США.

Поездка моя по Соединенным Штатам была особой — я встречался преимущественно с преподавателями и студентами. Не было встреч ни с рабочей Америкой, ни с теми людьми, которые представляют военно-промышленный комплекс заокеанского государства,— полюса американского мира не отразились в зеркале моей книги.

Таких встреч, повторяю, у меня не было, и я не могу говорить сразу о всей стране. Но вот что прочел совсем недавно: опросы общественного мнения показали: семьдесят — восемьдесят процентов опрошенных американцев хотят разрядки и улучшения отношений с СССР. Семьдесят семь процентов — за заключение нового советско-американского соглашения об ограничении стратегических вооружений, только восемь — против; таковы данные опроса, проведенные службой Харриса.

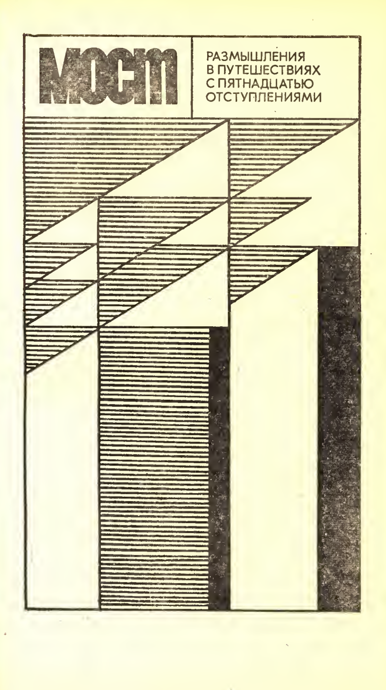
В этих цифрах — моя надежда. И вот цифры другие, в них моя боль: правительство Соединенных Штатов расходует все больше миллиардов долларов на вооружение. Эти цифры бесчеловечны, да и стоит ли забывать о том, что война столь же губительна для американского народа, как и для остального человечества? Включена еще одна кнопка на ядерном конвейере — выделены, несмотря на бу-

рю протестов во всем мире, средства для производства нейтронной бомбы. Разрабатывается крылатая ракета!

Государственные отношения Советского Союза с Соединенными Штатами стали напряженнее — и не по нашей вине. Не мы вмешиваемся во внутренние дела других государств, не мы затрудняем важные для судеб мира переговоры, и не мы нагнетаем напряженность в международных отношениях.

Советская страна с первых своих шагов устремлена к миру, к поискам взаимопонимания между народами; земля у нас одна, мир на ней может быть обеспечен лишь совместными усилиями многих. Думая о взаимопонимании, о мире, писал я эту книгу. Теперь она перед вами — год спустя после поездки.

1976—1977


МОСТ
РАЗМЫШЛЕНИЯ
В ПУТЕШЕСТВИЯХ
С ПЯТНАДЦАТЬЮ
ОТСТУПЛЕНИЯМИ

Несколько вступительных слов

Вначале я решил написать книгу о нефти — в конечном счете очень многое в жизни связано с ней. Или — книгу о жизни, в которой очень многое связано с нефтью. В мире взрываются войны вокруг нефтяных скважин, американские боевые корабли патрулируют в Персидском заливе, в Калифорнии дерутся в очередях у бензоколонок; временами цистерна становится похожей на ракетную боеголовку.

В странах, где я путешествовал — вернее, в социальной системе, где я путешествовал,— все было иначе: я посещал нефтеперерабатывающие предприятия, где люди были спокойны и говорили о мире. Тогда и начала рождаться книга. Она вызревала во мне много лет, а писалась залпом, сразу, запоем. Пусковым моментом стали две недавние поездки по Венгрии и по Чехословакии (вернее, по той части, что зовется Словакией) — двум соседним республикам, социалистическим государствам, прижавшимся друг к другу в самом центре Европы. Эти страны настрадались вдоволь: только в этом столетии были они вшиты в лоскутное одеяло Австро-Венгрии, были придавлены фашистскими диктаторскими режимами, пылали в огне народных восстаний.

Рассказать хотелось о многом, но выстроить рассказ надо было вокруг единого стержня; впервые в жизни я с таким интересом углублялся в экономику. Но и это означало, что писать придется обо всем сразу: очень уж сближены совсем разные стороны жизней наших, ибо много доброго опыта накопилось в тридцатилетней истории Совета Экономической Взаимопомощи. Слишком контрастно и зло, бурлящее вокруг нас, нацеленное нам в спины.

Но все-таки самое главное — то, как люди живут, механизм их жизни, надежность и отлаженность этого механизма. Экономика и все с ней связанное суть отражение не только образа материального бытия, но всего образа жизни. Это давно известно, однако процесс преобразования моральных норм, образа жизни — все

удивительно интересно и поучительно; жаль, что мы еще немного написали об этом. В центре Европы, переполненной фабричными дымами, симфонической музыкой, митингами рабочих, насквозь прошитой пулеметными очередями благосклонных и враждебных к нам радиопередач, изболевшейся своими надеждами Европы, вызревает новая жизнь. Мы ведь мечтали об этом: еще в 1920 году Владимир Ильич Ленин говорил, что «большевики создают совершенно иные международные отношения». Мы их уже создали. В мире, где накоплено столько злости, взрывчатки, ракет, в мире, где столько неграмотности и голода, а на оружие тратится в миллионы раз больше, чем на лекарства, мы наглядно доказываем, как можно жить иначе. Мы уже доказали, что хлеб и нефть могут быть не только орудием шантажа, но — сближать нации. Если мне и хотелось писать книгу, то главным образом об этом. Повторяю, что книга, собственно, не о нефти, вокруг которой развернуто основное повествование, это книга о новом образе жизни, укоренившемся в социалистических странах Европы, о людях этих стран, о том, как мы сами выглядим со стороны. Давайте, дорогие читатели, подумаем обо всем этом совместно — по крайней мере тема представляется мне одной из самых значительных на свете. Мы ведь изменяем мир (и уже основательно изменили его); мир глядит на нас; мы осмысливаем собственный опыт — история человечества еще не знала такого.

Итак, это книга о людях, встреченных мною за Карпатами, о том, как живут они и как мы живем. Смысл книги, если еще раз его обозначить, причастен к словам из Отчетного доклада ЦК КПСС XXV съезду партии: «Вместе с расцветом каждой социалистической нации, укреплением суверенитета социалистических государств все теснее становятся их взаимосвязи, возникает все больше элементов общности в их политике, экономике, социальной жизни, происходит постепенное выравнивание уровней развития. Этот процесс постепенного сближения стран социализма вполне определенно проявляется ныне как закономерность». Все дальнейшее, что вы прочтете здесь,— результат самых искренних размышлений, вызревавших в душе моей много лет и писавшихся залпом, запоем, раз уж решился.

Итак, действует уникальный нефтепровод «Дружба» — небывалое в мире сооружение, по которому советская нефть поставляется братским странам Европы. Нефтепровод протянулся на тысячи километров, и строили мы его все вместе, сообща, всем миром социализма. С самого начала разговора я полагаюсь на читательское знание, которым хочу умножить свое; ведь каждый конечно же знает о нефти многое. Кое-что я расскажу в книге, однако главное, повторяю, в том, как мы относимся не только к нефти, но — друг к другу. Я убежден, что это самое главное на свете.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 1

Если бы самолет был изобретен на тысячу лет раньше, человек, летящий на нем в ночи, непременно разглядел бы ожерелья огнепоклонницких храмов, рассеянных по Востоку. Апшеронский полуостров на Каспии обладал репутацией района великих чудес именно в связи с этим. Нефть вытекала озерцами, газ выходил невидимо — озерца и газ возгорались при первой же возможности; во многих районах Ближнего Востока нефть и сейчас лежит вплотную под верхними слоями земли — словно вода под пляжем. Впрочем, сказочный Гарун аль Рашид, обладавший склонностью к сотворению чудес и живший в тех местностях, под собственные камешки не заглядывал. Марко Поло свидетельствует, что калифы ввозили нефть на верблюжьих спинах из района нынешнего Баку. Не знали калифы своего счастья. Так или иначе, но храмы огнепоклонников не стимулировали научного мышления еще очень долго. Горели огни над земными порами, из которых струился газ,— пусть себе горят. Самолет, на котором собирались мы полетать тысячу лет назад, чистая фантазия еще и потому, что никто не догадывался в течение столетий, зачем делаются из нефти керосин и бензин. Уже немало сказано и написано о том, что одновременно с выпуском первого двигателя внутреннего сгорания человечество попало в кабалу к этому собственному открытию, как ни к какому другому (со времен изобретения водки). Хотя иные пути использования нефти начались уже издавна. И мирные — когда люди использовали пропитанную нефтью землю для своих очагов; и военные — когда сосудами с нефтью поджигали вражеские корабли; и варварские — когда за две с лишним тысячи лет до изобретения напалма Александр Македонский велел облить нефтью и сжечь непокорного мальчика...

Древние египтяне бальзамировали своих котов и фараонов нефтью. Нефтью смазывали оси колесниц, она же рождала битум, которым наверняка скрепляли стены

недостроенной Вавилонской башни. Во всяком случае, другие стены древнего Вавилона скреплялись именно так.

Впрочем, пора уже назвать дату, когда человеческий контакт с нефтью стал непременным условием цивилизации. Случилось это не так давно. Могу напомнить, что одновременно с отменой крепостного права в России, одновременно с избранием Авраама Линкольна шестнадцатым по счету президентом Соединенных Штатов, одновременно с тем, что Вильгельм I стал королем Пруссии, одновременно с публикацией «Отцов и детей» Тургенева и «Записок из Мертвого дома» Достоевского, одновременно с тем, что британская королева Виктория учредила орден Звезды Индии, одновременно с открытием в раскопках бренных останков первого археоптерикса и боевым использованием в Америке первого ружья с магазинной коробкой, одновременно с принятием Устава навигации по Дунаю и введением паспортной системы в США, одновременно со всем этим — в январе 1861 года — была начата промышленная добыча нефти, то есть было положено начало ее промышленному использованию. Тысячу лет люди не ведали, для чего использовать черную кровь земли. Наконец-то начали узнавать...

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 2

Здесь я, с вашего позволения, дорогой читатель, приведу несколько цитат, относящихся как раз ко времени распада Австро-Венгрии на составлявшие ее части. Высказывания в оригинале — английские, но смысл их универсален...

«Армия, флот, все золото мира и все народы бессильны перед теми, кто владеет нефтью. Автомобили, мотоциклы, пароходы, танки, самолеты не могут обходиться без черной жидкости, а те, кто располагает ею в достаточном количестве, имеют несомненное преимущество...» (Эти слова сказаны сотрудником нефтяного магната Детердинга сэром Эллиотом Алвесом в 1914 году.)

«При щедром финансировании и хорошей организации дела захват русской нефтяной индустрии был бы ценным приобретением для нашей империи. Для британского правительства открывается великолепная возможность...» (А это из лондонской газеты «Файнэншл ньюс», 24 декабря 1918 г.)

«Роял датч — Шелл» весьма охотно получила бы от Советского правительства концессию на добычу нефти из месторождений, принадлежавших ранее компании, и переработку ее на предприятиях юга России и Кавказа». (Из письма британского министра иностранных дел Керзона официальному представителю РСФСР в Великобритании Л. Б. Красину от 19 октября 1921 г.)

Это всего лишь несколько цитат — возможно, не самых красноречивых; я не специалист по истории нефти и нефтяной политики, к тому же, наверное, читал далеко не все. Мне попросту стало интересно — как поэту, в конце концов,— насколько государственная психика деформируется нефтью, вчера еще не имевшей никакого значения ни для кого на свете. Нефть не отдавали добром; нефть определяла направления главных кавалерий-

ских, дипломатических и танковых наступлений. Во всяком случае, очаровательная категоричность ответа Петербургской Академии наук русскому губернатору в Баку, приславшему в 1840 году господам императорским академикам нефть для исследования, ушла в область анекдотов. Из академии ответили, что сие вонючее вещество пригодно лишь для смазывания тележных колес. Ах, если бы оно вправду так было! Судя по всему, господа академики нюхали нефть, но чем все это пахнет, они конечно же понятия не имели.

Инженер Августин Ижо долго роется в папке и наконец дарит мне фотографию: сквозь круглые облачка зенитных разрывов летят большие винтомоторные самолеты — сейчас такие можно потрогать только на площадках военной техники у исторических музеев,— а под ними, там, где сквозь разрывные облачка можно разглядеть землю, стоят дома. Очень много домов, потому что американские бомбардировщики типа «либерейтор» (то есть «освободитель», если перевести название) летят над Братиславой. Прилетали они четырьмя волнами; было бомбардировщиков 158 и с ними еще 33 истребителя. За 9 минут «либерейторы» обрушили на братиславский завод «Аполо» 360 тонн бомб, и нефтеперегонный завод с красивым именем перестал существовать. Собственно, согласно официальным данным, «Аполо» был разрушен на восемьдесят процентов. Но, как известно, даже наполовину разрушенная рафинирующая установка — это не половина установки, а металлолом. Было 16 июня 1944-го, без пяти дней трехлетие с начала Великой Отечественной, и Советская Армия уже преследовала фашистов за пределами своей страны. Все понимали, что Братиславу возьмут именно наши — американцы обрушили 360 тонн бомб на самое горючее предприятие словацкой столицы,— «Аполо» перестал функционировать и не мог считаться полноценным трофеем.

Инженер Августин Ижо показывает мне фотографии разрушенных домов и горящих бараков с пожарниками в старомодных касках с медными гребнями. Он инженер-историк предприятия «Словнафт», и в его папках множество документов самого разного свойства. Фотографию с «либерейторами» в братиславском небе он подарил мне на память. (Такой памяти у меня предостаточно: Киев бомбили с неизбывным усердием года три подряд, начиная с проклятого дня, увековеченного в одной из первых военных песенок: «Киев бомбили, нам объявили, что началася война». На Братиславу бомбы обрушились в самом конце второй мировой, зато сразу много...)

Не надо считаться бомбами — всем хватило. Но братиславский «Аполо» американцы уж очень усердно перепахали — словно какую-нибудь вьетнамскую деревушку в начале семидесятых. Сейчас на месте бывшего нефтезавода комбинат прессы, когда его достроят, и вовсе забудут, наверное, о том, как в 1895 году 9 апреля триста братиславцев начали свой первый рабочий день на «Аполо» — предприятии, производившем стеариновые свечи и керосин. Достойно упоминания, что «Апо-ло», созданный на венгерском капитале, перерабатывал кавказскую нефть, транспортировавшуюся по Дунаю в дубовых бочках, загруженных в корабельные трюмы. Завод построили за год с чем-то, и на нем происходила (если вам такое определение что-нибудь объяснит) котловая дистилляция нефти каскадным способом. Популярнее говоря, здесь перерабатывали около 30 тысяч тонн нефти в год: этого количества хватало всем и на все — производили керосин, бензин, парафин, даже лед...

«Вас интересуют подробности?» — вежливо спросил меня Августин Ижо и снял очки.

Меня интересуют подробности, но не только технологические. И я не знаю, подробности ли это. Сегодняшнее предприятие «Словнафт» — часть жизни города, но не только часть его производственной жизни; это факт всей жизни, потому что здесь перерабатывается ровно половина из необходимой Чехословакии нефти; работает на «Словнафте» около восьми тысяч человек — это одно из крупнейших предприятий страны. Люди трудятся на «Словнафте», но комбинат, принадлежащий им, их же и формирует, являясь частью всей жизни. Надеюсь, что вы меня поняли.

Инженер Августин Ижо, заводской историк, тоже, в общем, понял меня, потому что мы рассуждали о погибшем под американскими бомбами нефтеперерабатывающем заводике «Аполо», который словакам-то никогда не принадлежал. Был он венгерским, затем стал германским; затем французские химические концерны Дюпона начали контролировать «Аполо», и они же, поджав хвосты, уступили его гитлеровской «И. Г. Фарбениндустри». Нефть была чужая, завод был чужой, четыре пятых, а то и больше продукции забирали немцы. Это перед гибелью предприятия. А затем немцы уже не брали ничего, потому что третьего рейха не стало, а сам

«Аполо» сгорел от 360 тонн прицельно сброшенной американской взрывчатки. Немного нефти, перерабатывавшейся на мелких братиславских установках, можно было не принимать в счет; это было нечто вроде китайских дворовых сталеплавилен, придуманных в пятидесятые годы. Очень дорого — и пользы никакой.

А чем измеряется польза от современного предприятия? Количеством переработанной нефти? Наверняка этим тоже, но слишком уж многие узлы сегодняшней Словакии затянуты вокруг «Словнафта». Это если рассуждать масштабами одной из двух республик ЧССР. Но если раскрыть любую из печатающихся или продающихся в Братиславе газет, то узлы, завязанные вокруг аспидно-черных нефтяных рек современности, становятся куда более отчетливыми во времени и пространстве. Кажется, что американские авианосцы, курсирующие в Персидском заливе, дабы не допустить перехода аравийских нефтеносных полей, причалов и цистерн к людям, которые Соединенным Штатам не по душе, несут на палубах внуков летчиков тех самых «либерейторов», что разбомбили «Аполо», который (считали американцы) Красной Армии ни к чему. А за несколько десятилетий до «либерейторов» германский кайзер Вильгельм II (живший у себя в Берлине только зимой) разъезжал на яхте по теплому Средиземному морю и торговался с ближневосточными правителями о льготах, которые будут предоставлены заинтересованным сторонам. Речь шла о нефти; император, бывший акционером Круппа, торговался, как нищий на багдадском базаре; слова его пахли металлическими цистернами, бензином, парафиновыми свечами и двигателями фирмы Даймлера; слова были так похожи на клятвы американского президента, недавно произнесенные в Кэмп-Дэвиде (вот что вещал Вильгельм II: «Возможно, по всему миру разбросано не менее трех сотен миллионов магометан. Германскому императору они будут друзьями на вечные времена». Доверчивые арабские шейхи не читали берлинских газет и не знали, что одновременно с речами императора влиятельнейшая «Альдойче блеттер» формулировала задачу таким образом: «Итак, прямым курсом вперед: от Евфрата и Тигра к Персидскому заливу и затем по сухопутной дороге — в Индию, забирая все, как это и положено, в немецкие ру-

ки, радующиеся труду и готовые сражаться»). Нефть... Многие страницы в учебнике истории склеены ею.

Поскольку черную кровь земли всегда завоевывали, выторговывали, забирали, вырывали, перехватывали, то принципиально новым в истории «Словнафта» было хотя бы то, что нефть пришла сюда сама. По договору с Советским Союзом.

С 1955 года цистерны с нефтью начали регулярно прибывать на железнодорожную станцию; я излагаю эту официальную информацию столь сухо ввиду ее многозначительности. И потому, что цистерны наполнялись в немыслимых далях от Братиславы — за тысячи километров как минимум. И потому, что в Братиславе перестали бояться: ведь нефтеперегонный завод здесь не решались восстанавливать или строить заново именно потому, что очень уж близки от Братиславы государственные границы (кроме советской). Даже венгров боялись. Не раз пуганный и не раз битый народ должен был привыкнуть к новым правилам жизни. «Словнафт» начали было проектировать и строить в горах возле Трнавы, в опасливом удалении от водных, железных и воздушных дорог. Страх управлял экономикой по инерции — ко многому еще надлежало привыкнуть. В мае 1950-го решили наконец строить новый завод в чистом поле под Братиславой и строили его, еще оглядываясь и споря.

Инженер Ондрей Хохол, заместитель директора «Словнафта», говорит мне об уроке спокойствия. Прежде всего — уверенности в себе и спокойствия; это спокойствие было передано Советским Союзом Словакии в первую очередь и со всем дружелюбием. И с радостью было принято. «Нефть нефтью,— говорит мне инженер-нефтяник Ондрей Хохол и машет рукой,— но самая главная перестройка народной психологии происходит тогда, когда люди чувствуют, что они хозяева у себя дома, и все в порядке у них, и не надо больше бояться. Можно ведь купаться в нефтяном море и не чувствовать себя человеком. Не только в нефти сила — бывают моральные кризисы пострашнее энергетических. Я работаю в «Словнафте» почти тридцать лет, со времен стройки; на собственной психологии и судьбе многое постигал...»

Вы, конечно, знаете, дорогой читатель, что задачи легче всего решаются, если начинать от готового отве-

та,— так мы, откровенно говоря, многие из них и решаем. Но при таком способе иные элементы логической конструкции выпадают; мы вскорости забываем о них, привыкаем к плохой собственной памяти, которая уже не охватывает всего события. Прекрасно понимаю, что я не напишу обо всем, но в Братиславе чрезвычайно важны так называемые привходящие обстоятельства. Итак: до того, как пришла нефть, к людям пришла уверенность — категория очень важная, хоть и не подлежащая экономическому учету. В 1964 году нефти уже было столько, сколько надо,— работал нефтепровод «Дружба». То, что длина нефтепровода составляет 4679 километров и 832 километра из них проходит по территории ЧССР, тоже было осознано словаками как чрезвычайно важный факт; тут ведь всю страну можно проехать за день, многие люди до сих пор никогда не летали на самолетах, потому что некуда им особенно лететь в компактном небе, наклонившемся над центром Европы. Но вот пришла нефть, а расстояние до этой нефти немыслимо большое; люди поняли, что расстояния могут не только разделять. У людей здесь никогда не было ощущения, что кто-то очень старается им помочь издалека; они друг о друге, рядом живя, не сразу научились думать. Тоже урок... У людей здесь так последовательно, так жестоко и так долго брали, что сами они брать не научились.

Начальник цеха смазочных масел «Словнафта» Иржи Котек улыбается, когда я начинаю его расспрашивать. Отвечает: «Первое впечатление от Советского Союза? Преодоление страха. Даже личное мое первое впечатление было таким. Мою деревню в Моравии Красная Армия освободила 8 мая 1945 года; одна из последних освобожденных территорий Европы — моя деревня. Усатый советский солдат взял меня, одиннадцатилетнего мальчика, посадил к себе на коня. Он вез меня около километра в одну сторону, потом обратно. Вез, и плакал, и гладил меня по голове. Я еще не видал таких солдат и не знал, что бывают такие. Первое впечатление от советских людей — потом оно только укреплялось — с ними увереннее, с ними не страшно. Это надо было усвоить накрепко,— думаете, просто?»

На свете почти не существует простых вещей. А все, что связано с психологией, с формированием и перефор-

мированием психологии целых народов, чрезвычайно сложно.

В Словакии уже выросло поколение нефтяников, которые не работали ни с какой другой нефтью, кроме советской. Поколение, учившееся по советским учебникам и знающее назубок все советские агрегаты. Мы для них — самая реальнейшая реальность, а это куда сложнее, чем быть изящной легендой.

Инженер Иржи Котек говорит со мной о Советском Союзе таким образом, что я понимаю, насколько мы с ним сближены судьбами; именно судьбами, формирующимися по одинаковым социальным законам. Сближение жизнями, судьбами — самое главное, хоть дается оно труднее всего. Труднее, чем сближение призывами или вокзальными объятиями всех со всеми подряд. Мы уже пригляделись друг к другу и стали из-за этого разборчивее, естественнее и ближе.

Инженер Котек часто бывает в Советском Союзе и останавливается не только в интуристовских «люксах». Бывал Котек и в Рязани, и в Полтаве, и в Кременчуге...

«Мы очень дружили с инженером Писцевым, начальником цеха смазочных масел в Рязани,— говорит Иржи Котек.— Сейчас замечательные отношения сложились у меня с Николаем Григорьевичем Озерным, руководителем производства смазочных масел в Кременчуге. Там, правда, другая работа — установка у них в три раза мощнее нашей, а производит всего лишь пять видов масел — зато помногу. А мы на «Словнафте» производим меньше, но разнообразнее — двадцать четыре сорта.

У вас в стране каждый чувствует себя хозяином. Знаете, как это ощущение нам важно! Вы-то привыкли, а мы еще только рождаем, воспитываем в себе новое чувство собственности. Не упрощайте этот процесс. Мы уже многое умеем, и мы уже во многом другие, чем словаки два или три поколения назад, но, пожалуйста, не упрощайте этот процесс...»

Иржи Котек вспоминает, как Николай Озерный возил его в Канев, на могилу Тараса Шевченко, и там наизусть декламировал шевченковскую поэму о Яне Гусе.

«Понимаете,— говорит мне инженер Котек,— мы гораздо более скрытные люди, чем вы,— жизнь научила. Ваши люди куда открытее, откровеннее, иногда ду-

маешь: что на уме у них, то и на языке. Это часть ощущения своей силы, уверенности в себе, поверьте. Вот дети наши становятся открытее, бесстрашней, если хотите. А ваши люди учат такой широте, такому доброжелательству, что прекрасно человеческой душе рядом с ними. Нефть нефтью, но душе прекрасно.

И еще одно: ваши уроки интернационализма. В глубине Украины, в Кременчуге Полтавской области, я встречал украинцев, русских, татар; инженер Токарев, например, работавший на очистительной установке, приехал из Ферганы, а парторгом цеха избрали человека по фамилии Иевлев — он из Ангарска, это, кажется, в Восточной Сибири... Вот и к этому вы привыкли, а для нас школа интернационализма, культура межнационального общения — как жизнь, как воздух, потому что самим нам, словакам, уже множество раз пытались внушить, до чего мы неполноценны и не приспособлены к современности. Кто только этим не занимался! И о вас, кстати, нам рассказывали не только одни приятности; это ведь тоже надо было преодолеть — комплекс недоброй информации о себе самих, о советской жизни и о социализме вообще».

Иржи Котек вспоминает, как год назад он с семьей отдыхал в Сочи. У жены случился день рождения: Котек сходил в магазин, принес четыре бутылки шампанского и попросил этажную дежурную, чтобы та поставила шампанское в холодильник — до вечера. Дежурная спросила, в чем дело, а когда узнала, то вечером принесла жене Котека огромный букет цветов. Не хотела брать у гостей сувениров, не пила шампанского — просто принесла цветы и сказала, что любит Чехословакию, людей тамошних любит очень и рада сделать приятное хоть кому-то из них...

Это очень важно — как мы кому запоминаемся. Насколько политичной и по-человечески убедительной может быть простая сочинская дежурная. Кто сказал, что все это мелочи? В Братиславе, да и везде в мире, я множество раз встречался с нашими отражениями в тысячах зеркал, со множеством впечатлений, из которых складывается мозаика, именуемая очень ответственно — репутацией нашей страны и нашего образа жизни. Мне передавали не одни лишь радостные впечатления — всякое можно повидать у нас, и не следует делать вид, что над

улицей Горького, Крещатиком или любой другой нашей улицей стаями парят ангелы с портфелями да авоськами в руках — то есть мы с вами. Но равнодействующая впечатлений о нас была выгодна и весьма убедительна, именно по-человечески убедительна, потому что даже там, где обстоятельства не идеальны, можно видеть, до чего же хороши наши люди. А значит, ясно, что будет у нас еще лучше, потому что жизнь страны составляется из отдельных человеческих жизней. Тема эта была одной из самых главных во всем, о чем говорили мы; можно объехать вокруг света, заправляя свой автомобиль бензином, произведенным в самых различных странах,— бензин будет везде одинаков. Запоминаются люди и то, как люди эти живут.

Ну ладно, возвратимся в производственные корпуса «Словнафта», распростертого на площади в 650 гектаров. Территория эта насыщена самой замечательной и самой загадочной для непросвещенного глаза техникой, какую можно вообразить. Для меня самым важным, пожалуй, было то, что все оборудование по преимуществу свое, чехословацкое; при этом официально считается, что «Словнафт» — одно из современнейших предприятий своего профиля во всей Центральной Европе. Значит, чехословацкое оборудование выдерживает экзамены не только на производительность, но и на престижность. Если вам хочется знать еще какие-нибудь цифры, я приведу несколько особенно показательных.

Ну прежде всего, как разворачивались мощности «Словнафта» (старый «Аполо» больше 150 тысяч тонн в год не перерабатывал практически никогда). В 1957 году начала действовать первая установка мощностью 180 тысяч тонн нефти в год. Затем вторая установка — на 240 тысяч тонн и третья — на миллион тонн в год. Четвертая, пятая и шестая могут перерабатывать уже по два миллиона тонн нефти каждая.

Всего комбинат «Словнафт» выпускает около ста пятидесяти различных изделий (о некоторых из них мы еще поговорим); десять процентов химической продукции Чехословакии выходит отсюда, на шестьдесят — семьдесят процентов ее потребности в горючем, смазочных материалах и битуме удовлетворяются все тем же «Словнафтом». Ряд изделий комбината входит в группу исходных для других предприятий Чехословакии: на

«Словнафте» начинается производство местного полиэтилена «брален», синтетического фенола и ацетона, гликолей, ароматических масел, полипропилена. «Словнафт» собирается приступить к производству синтетического каучука...

Я не уверен, что вы, дорогой читатель, хорошо усвоили назначение и важность всех продуктов, получаемых из нефти. Но я уверен, вы знаете, что без нефти, без продуктов ее переработки современное государство жить не может. Опыт создания «Словнафта», формирования его кадров — это уже совершенно новый для Словакии опыт, не только промышленный, но и духовный.

Что может случиться за двадцать с небольшим лет — таков возраст «Словнафта»? В большинстве стран именно этот возраст считается вполне зрелым; полагают, например, что именно 22 года потребовалось пророку Мохаммеду, чтобы составить коран; среднестатистический американский мужчина в общей сложности спит 22 года и 5 месяцев своей жизни... За двадцать два года можно достичь очень многого и можно ничего не достигнуть, как, впрочем, и за любой другой промежуток времени. «Словнафт» врос собственной взрослостью в духовную зрелость целого народа — этот опыт нефтеперерабатывающего предприятия поразителен именно своей небывалостью. Такого еще не знали.

«Такого не было еще»,— говорит мне инженер Петер Гашпарович. Он сейчас временно руководит профсоюзными делами «Словнафта», — инженера перевели с нефтеперегонных дел на бумажные дела, в профком, и Гашпарович не устает говорить, как он страдает, оторвавшись от производства. Путевки, например, надо делить: 7900 путевок ежегодно — думаете, легко? Этого ведь тоже не бывало, и к этому тоже надо привыкнуть — столько путевок, сколько людей работает на «Словнафте». Но Петер Гашпарович страдает, оторвавшись от производства,— путевки он уже воспринимает как должное. Так деды его страдали, отрываясь от поля.

Гашпарович — из крестьянского рода, оба деда его производили хлеб и ничего больше; молодой инженер — и, что называется, от сохи. Это еще один поучительный опыт «Словнафта»: формирование современного рабочего класса на сегодняшнем предприятии. Бывшие крестьяне, научившиеся мыслить категориями современной неф-

техимии, разбирающиеся в перфокартах; современные люди, родившиеся в деревне, естественно, трудом вросшие в жизнь современного города. Умные крестьяне ведь никогда не пугаются автомобилей и заводских гудков — они пугаются безымянности, ничейности окружающего их мира, а мир «Словнафта» постоянно подчеркивает свою принадлежность к тем, кто работает,— он связан с ними трудом и ответственностью, это социалистический мир...

Очень важно трудом прирасти к судьбе своего народа. Единственный способ надежного единения. Знаю литераторов, культивирующих свое картинное пейзанство именно потому, что нет у них на свете той самой точки, где труд их срастится со всенародным усилием. Тут уж третьего не дано — или работать, находя свой путь к современности, или впадать в фольклорную болтовню, причитая за рулем собственного автомобиля о несовместимости грибочков и нефтяных дымочков. Хотя, между прочим, автомобиль процентов на семьдесят сделан из материалов, причастных к продуктам переработки нефти.

Я чуть-чуть остановился в рассказе (хоть мы беседовали с Петером Гашпаровичем и на эту тему), потому что естественность восприятия современного мира так нужна каждому, живущему в нем. И естественность поиска своего места на свете. Гашпарович очень прост и натурален — с ним хорошо ходить по «Словнафту» и легко разговаривать. Десять лет назад он окончил Братиславский политехнический институт — для Петера все это естественно, как трава в лесу: институт, нефть, работа. И хорошо, что так. Дед Гашпаровича был мобилизован в австро-венгерскую армию из деревни и погиб в первую мировую — возможно, что на русском фронте погиб. Но уже отец будущего инженера, мобилизованный в следующую мировую войну, перелетел на советскую сторону — он был летчиком — и воевал против фашистов в армии генерала Свободы. Сам Петер Гашпарович родился в 1946 году, окончил школу, выучился на инженера-химика и работает на «Словнафте». Показывает мне территорию — огромное поле, заплетенное в сети труб с колоннами рафинирующих установок и красно-синими плакатами на каждом шагу: «Не курить!» Курение на «Словнафте» — занятие для самоубийц

(впрочем, если задуматься, это вообще такое занятие) — в воздухе витает аромат, настолько связанный с представлением об огне, что ощущаешь горючесть самой атмосферы или чем там мы дышим, разгуливая по «Словнафту»... Воздух здесь, конечно, не тот, что на горных курортах Татр, но большинство труб накрыто фигурными колпаками фильтров; будут накрыты все. «Штрафовать дирекцию надо»,— бурчит Гашпарович. «Надо,— соглашается человек, подошедший к нам сзади.— Только чтобы штрафы платили из собственной зарплаты, а не из фондов «Словнафта». Одна очистная установка дает пять миллионов крон прибыли — что ей пару тысяч крон штрафа! Ничего, очистим воздух...»

Гашпарович знакомит меня с нашим спутником, Ярославом Земаном, мастером установки, гудящей неподалеку, зовущейся «риформинг-4» и предназначенной конечно же для перегонки нефти. Земану чуть больше сорока, но он успел поработать и на «Аполо» — это когда сразу после войны кое-как восстановленный «Аполо» пытался возобновиться. «Есть разница?» — спрашиваю у высокого и сосредоточенного мастера Земана. «Есть,— отвечает мастер очень спокойно.— То было неведомо какое предприятие, это — наше; то было старомодное, это — современное; там было грязно, оборудование и производительность смехотворны... Что вам еще сказать?» Улыбаемся вместе: действительно «Аполо» и «Словнафт» — как две геологические эпохи, а не просто два предприятия, чей возраст разделен несколькими десятилетиями. Земан предлагает объяснить мне тонкости технологии, но тут же говорит, что в любом популярном пособии о них можно прочесть куда квалифицированнее и подробней. Если же человек принимается за чтение очерка о Словакии, намереваясь выяснить, как именно разгоняют фракции нефти, то он, человек этот, что-то напутал с книгами. «Вы ведь именно об этом хотите писать?» — спрашивает Земан и ведет рукой, показывая на бесконечное поле, где не было ничего, а вырос завод; на удивительных людей, оживляющих это поле, завод и даже загадочную кровь земли, побулькивающую в черных подземных сосудах.

«Нефть спасает нас, укрепляет наше могущество, согревает нас,— говорит Петер Гашпарович.— Но, главное, люди, работающие с советской нефтью, сотрудничают с

Советским Союзом не только экономически, но и душевно, и это делает их иными. Конечно же благодаря вашей нефти жизнь здесь стала совсем другой, однако исторический призыв Клемента Готвальда формулирует суть дела куда более объемно: «С Советским Союзом — на вечные времена!» Не с «советской нефтью», а именно с «Советским Союзом»..Это — самое главное...»

«Я учился работать на современных машинах у вас, в Новокуйбышевске, в 1962 году,— продолжает разговор Ярослав Земан.— Знаете, первый раз попал в советский поезд, еду из Москвы неведомо куда, в этот самый Новокуйбышевск, где есть установки типа «риформингов», на которых я собирался работать здесь, на «Словнафте». И вдруг один человек заходит в купе, потом другой, после еще один. Это в поезде про меня узнали, и ветераны войны начали приходить: «Мы освобождали вас, как там вы?»; начали появляться рабочие из Новокуйбышевска и рассказывать про свой завод. Сразу ощутил себя среди своих — нигде на свете не чувствуешь себя так естественно, как у вас. Добрые, открытые у вас люди и даже бюрократы пооборотистей, подобрее («Ну это ты, брат, загибаешь»,— подумал я, но не возразил), потому что на заводах, где был я, многие очень сложные вопросы решались по-деловому, на месте, быстро и точно. У нас в Братиславе, бывает, столько бумаг испишешь, пока добьешься...»

Земан улыбается, продолжая вспоминать: «Надо, чтобы люди больше знали о Советской стране. Пять лет назад я поехал в СССР туристом, с группой. Несколько женщин из нашей группы понабирали с собой шариковых ручек для торговли: слыхали от кого-то, что у вас не видывали таких чудес. Выбрасывали они потом эти ручки; тихо-тихонько выбрасывали...»

Мы еще долго ходим вокруг нефтеперегонных установок — советская нефть поступает бесперебойно, с первого дня и до сегодняшнего. Встречаемся с Ярославом Штефунко, который только что провел отпуск в Сочи; разговариваем о том, какое там прекрасное море... Еще говорим об одном словаке-туристе, вознамерившемся (та же история) приторговать ручками, жевательной резинкой и еще чем-то; люди пожалели его за такую бедность, сводили к директору универмага, помогли купить, что туристу надобно было... Штефунко смеется — ему тридцать

девять лет, план выполняется, отпуск только что отгулял, все в порядке...

Интересно быть на «Словнафте»; интересно здесь думать о том, что такое энергия; интересно наблюдать, как четко и полноценно перерабатывается советская нефть; но понимаешь одновременно, что, теоретически рассуждая, нефть можно купить за золото еще где-нибудь. Однако не все переводится в конкретность драгоценных металлов; чистое золото народной судьбы, чистое золото дружбы, чистое золото истины не подлежат девальвациям и разменам. Нефть нефтью, конечно, но не только она, не одни двигатели внутреннего сгорания определяют судьбы цивилизации. В словаре иностранных слов одно из значений слова «энергия» толкуется как «деятельная сила, настойчивость, решительность». Великие слова многозначны, и, воспринимая их упрощенно, мы не всегда правы.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 3

Вдруг я подумал, что пишу о нефти таким образом, словно добыча нефти и постройка нефтепровода автоматически оказываются великим благом для всех, кто причастен к транспортировке, обработке и освоению черной земной крови.

Я уже говорил (и вы сами, читатель, знали об этом), что все значительные события — социальны. В том числе те из них, которые связаны с нефтью. В доказательство сказанного — заметка из авторитетного американского журнала «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт»:

«Жители Аляски считают, что гигантский нефтепровод, пересекающий 49-й штат с севера на юг, не стал для них золотой жилой.

Все, что породили восемь миллиардов долларов, затраченных на постройку трубопровода в период с 1974 по 1977 год,— это астрономические цены на товары, продукты питания и услуги, самая большая в стране безработица и высокий уровень преступности. Кроме того, резко возросло количество расовых конфликтов между белыми и эскимосами, которые живут в ужасных условиях, добывая себе пропитание охотой и ловлей рыбы.

«Некоторые деревни эскимосов производят более удручающее впечатление, чем поселения бедняков в Аппалачах»,— отмечает губернатор штата Джей Хеммонд. Социологи считают эти конфликты результатом притеснения коренного населения и грубого попрания его национальной культуры.

Радужные настроения, появившиеся на Аляске в период строительства нефтепровода, сменились мрачными настроениями. Результаты недавнего опроса населения поразили тех, кто до этого считал Аляску «райским уголком». Шестьдесят процентов опрошенных откровенно

признались, что с удовольствием сменили бы место жительства...

По последним данным, уровень безработицы составляет двенадцать процентов, это один из самых высоких показателей в США. Больше всего пострадали рабочие города Фэрбенкс, где количество уволенных достигло восемнадцати процентов. Некоторые уже в течение целого года безработные, и сейчас они простаивают в длинных очередях у биржи труда в надежде получить хоть какую-нибудь работу».

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 4

Хлебный сноп и керосиновая цистерна тоже становятся оружием в недобрых руках. Обездвиженные машины, обессилевшие от голода народы — что может быть страшнее сейчас, именно сейчас, когда до третьего тысячелетия уже так близко, что дети, рождающиеся сегодня, едва успеют войти в студенческий возраст к двухтысячному году нашей эры?

Еще немного статистики: более четверти миллиарда детей школьного возраста не ходят в школу — нет школ для них, нет денег на школы.

В прошлом году человечество расходовало на экипировку каждого солдата в среднем в шестьдесят раз больше, чем на просвещение каждого ребенка. 570 миллионов людей официально считаются питающимися недостаточно — нет денег на пищу для них. Приведенные подсчеты исходят из мира капиталистического (говоря «человечество»; тамошние статистики не всегда помнят о нас, тамошние политики — тоже). Самая богатая из капиталистических стран, США, в 1978 году ввезла нефти на 42,3 миллиарда долларов, а в 1979-м закупила ее на 4 миллиарда больше. Чтобы один ребенок рос, не испытывая недостатка витаминов, и был спасен от многих болезней, связанных с недоеданием (тот самый ребенок, что молодым человеком войдет в третье тысячелетие), необходимо несколько центов в сутки. Но их нет. На детей денег не остается.

Впрочем, все на свете относительно — в том числе и рассуждения о сравнительной ценности детей и нефти. К примеру, некогда Китай считался одной из несчастнейших стран (он и сегодня кажется мне таким). Но Джон Д. Рокфеллер, основавший знаменитую нефтяную компанию «Стандард ойл», еще в начале века объявил, что люди Востока обретут счастье простейшим образом — надо заменить светильники с рыбьим жиром керосиновыми лампами. Не в просвещении, дескать, и тем более не

в витаминах сила (покойный кормчий Мао утверждал этот тезис и в дальнейшем).

Люди Рокфеллера сочинили и начертали иероглифами плакат (сегодня его назвали бы «дацзыбао»), который красовался на стенах самых уважаемых зданий столицы бывшей Поднебесной империи,— очень похоже на объявления марктвеновского янки, внедрявшего коммерцию при дворе короля Артура:

Если вы хотите счастья, долгой жизни,
здоровья и мира, то должны
окружить себя светом. Для этого
надо зажечь лампы Мэй Фу,
которые горят на чистом
керосине Мэй Фу.
«Стандард ойл» использовала
новейшие научные открытия и привлекла
искусных художников для создания
наших ламп, в которых сгорает
каждая капля керосина, не оставляя
ни малейшего запаха...

Я был бы склонен принять этот стишок за милую чепуху, которой немало записано в антологиях рекламной поэзии (особенно если учесть, что утверждение «не оставляя ни малейшего запаха» полностью опровергнуто последующим человеческим опытом), если бы в мае 1979 года не получил письма со вполне современной почтовой маркой США стоимостью в два доллара. На марке красовалась все та же керосиновая лампа с язычком пламени над фитилем и был начертан величественный девиз: «Американский свет воссияет над всей землей». Нет, что ни говорите, а одесское выраженьице «дело пахнет керосином» никак не удаляется из поля нашего зрения и памяти... Но тут же я стал размышлять серьезно, потому что вспомнил вдруг сизые перегарные шлейфы, тянувшиеся за вражескими танками, грохотавшими по разрушенной улице моего горящего города... Химики знают, сколько разных продуктов можно выгнать из нефти. А кто возьмется перечислить все способы, которыми можно использовать эти продукты?

«Вам надо съездить в Вояны»,— сказал мне секретарь Требишевского райкома Йозеф Баран и повел рукой в сторону труб, виднеющихся на горизонте. А я и сам хотел туда съездить — спасибо секретарю, что наши мысли так совпали...

Электростанция в Воянах очень заметна — и в словацкой энергетике, потому что из Воян исходит половина электроэнергии, вырабатываемой в республике, и еще потому, что двухсотметровая труба предприятия (сейчас достраивается трехсотметровая) видна с расстояний в сорок — пятьдесят километров. Если суммировать эти приметы, то можно быть вполне уверенным, что, в Восточной Словакии каждый хоть что-нибудь да знает о Воянах. Большинство моих собеседников знало даже, что существуют Вояны-1 и Вояны-2, две теплоэлектростанции, возникавшие последовательно, чтобы согреть, насытить энергией и светом огромный район Закарпатья, где все это — свет, энергия, тепло — издавна было в большом дефиците.

В этом месте мне следует остановиться и кое-что уточнить. Я не хочу, читатель, чтобы у вас создалось впечатление, будто я преувеличиваю дистанцию между понятиями «было» и «есть»; в случае с Воянами главная для меня проблема как раз и состоит в том, что дистанция между желаемым в развитии энергетики и традициями такого развития оказалась огромной. Не буду повторяться, подробно рассказывая, как преобразовалась здешняя жизнь,— все время ведь пытаюсь писать об этом, именно о качестве жизни, и все время понимаю, что аргументы мои не всегда поразят именно вас, чье сознание привыкло именно к такому же бытию: у ТЭЦ свой дом отдыха; училище, в котором триста граждан Чехословакии и пятьдесят шесть вьетнамцев постигают энергетические премудрости; собственный профилакторий, собственный пионерлагерь, строятся клуб и крытый бассейн. («Ну и что?» — спросил у меня дизелист, которому я восхищенно перечислил все это.)

Обе ТЭЦ, развернутые в районе Воян, связаны с со-

ветским сырьем. ТЭЦ-1 начинала работать на донбасском угле: свой, здешний бурый уголь малокалорнен и нерентабелен в добыче. Получали уголь из Донбасса прямо на территорию: широкая, чтобы не перегружать вагоны, колея подведена к агрегатам; больше полутора миллионов тонн угля в год и теперь разгружают Вояны с советских железнодорожных составов. Кроме того, мазут из «Словнафта» — до миллиона тонн ежегодно; это переработанная советская нефть, на которую рассчитаны агрегаты воянской ТЭЦ-2. С нынешнего года решили накапливать мазут, запасать понемногу — часть второй ТЭЦ переоборудуется для работы на советском газе. Газа много не накопишь, но ни у кого нет сомнения, что накапливать ни к чему: сказано, что будет поступать, значит, будет...

«Привыкли,— повторяет мне уже слышанное инженер Иво Черноцки, директор электростанции.— А знаете, к чему привыкали медленнее всего? Вовсе не к регулярности советских поставок — тут все спокойны, потому что Вояны возникали на советских угле и нефти, иначе не может быть, иначе никто не пробовал и пробовать не собирается. Медленнее всего привыкали к тому, что надо мыслить по-новому; как всегда, общение с Советской страной это — в массовом варианте — уроки не только экономики, но и морали. Сегодня здесь развернули современнейшее предприятие; а вчера в районе действовал один-единственный сахарный заводишко и люди даже не знали, каково это — мыслить категориями ТЭЦ мирового класса. В 1964 году приняли на работу первых сорок крестьян из окрестных сел; никакой пролетарской психологии у них и в помине не было; когда вскоре начались храмовые праздники в селах, крестьяне-рабочие перестали ходить к малопонятным дизелям и форсункам. И еще обижались на выговоры — ежегодно обновлялась четверть, а то и треть состава работников ТЭЦ; так года за три с половиной весь персонал обновлялся полностью. Только я вот удержался как-то...» — улыбается мне Иво Черноцки.

Все это очень важно: все-таки бытие определяет сознание. Ведь в годы угнетения и беды здесь — не только в интеллигентских, но и в крестьянских собраниях — много спорили о материях высоких, красивых, но точному учету не поддающихся, Славянские интеллектуалы, по-

жалуй, больше и дольше других народов Европы удерживали в интенсивнейшем обращении многие замечательные слова, изрекаемые экзальтированно и не всегда с готовностью к действию: «подвижничество», «справедливость», «жертвенность», «дух», «посвящение»... И вдруг вместо сказок о благороднейших крестьянских героях-разбойничках и замечательных интеллигентских мечтаний о мостике, обсаженном вьющимися розами, ведущем в Страну Свободы, Благородства, Справедливости, Света (все слова — с прописных букв), возникли вполне реальные проблемы реализации, интенсификации, капиталовложений, планирования, занятости, популяции (с каких букв эти слова ни пиши), и оказалось, что даже самых вдохновенных интеллигентов и самых очаровательных мужичков, столь колоритных на картинах в музее и в рассказах из народного быта, надо еще очень многому обучать. Научили. По крайней мере кто хотел — понял и научился. Это было тоже важнейшим уроком зрелости. Чувство хозяина рождается в народе исподволь и должно быть не только прочувствованным, но и деловитым. Сейчас на Воянах кадровая текучка не превышает шести процентов — это нормально.

А знаете, с чего начинали руководители ТЭЦ? Директор Иво Черноцки и парторг Юлиус Гарбуляк рассказали мне о своей попытке разобраться в здешних тенденциях и делах; научной попытке, потому что в 1970 году в Воянах провели огромное социологическое исследование. В Словакии уже действовала собственная Академия наук, и предложенная энергетиками работа пришлась по душе одному из ее институтов, где ученые тоже очень хотели знать направление процессов, происходящих в народной глуби. По договору с воянской ТЭЦ социологи начали...

В то время на ТЭЦ было занято около тысячи семисот человек — опрос же охватил семнадцать тысяч, потому что вовлекли в него всех членов семей и даже многих родственников, а то и просто близких знакомых сотрудников электростанции. Социологи долго размышляли над полученными результатами, а когда начали их публиковать, то не только социологам нашлось над чем поразмыслить.

Вопрос об энергетических источниках был очевиднее остальных: к 1970-му (году опроса) всем было совер-

шенно ясно, что советская нефть и советский уголь — нечто само собой разумеющееся. То, что они были, есть, будут, сомнений не вызывало. Также не вызывал сомнения факт, что с работой всегда будет все в порядке; подыскать себе место по вкусу было само собой разумеющимся — забота о трудоустройстве никого из опрошенных особенно не волновала. Что же стало главным? Ученые расставили основные заботы в таком порядке: культура, здравоохранение, спорт, дети. Этакий комплекс британского аристократа. Но в отличие от наследных принцев работники ТЭЦ проблеме фамильных поместий, то бишь квартир, ведущего значения не придавали. Убедившись, что в течение четырех-пяти месяцев можно получить квартиру, восприняли это как должное. Двадцать пять лет жизни при социализме развили (а последующие укрепили еще больше) всеобщий аппетит к равенству. («Не привыкли бы путать с уравниловкой,— говорит мне Черноцки.— Работать надо, работать...») Проблемы пошли не по традиционному кругу: то, что раньше надлежало добыть, давалось теперь безо всяких усилий. Умение пить воду, не всегда зная, откуда вытекает река, стало распространенным и даже опасным, если иметь в виду утоление жажды молодыми людьми, у которых судьба куда легче, чем у множества поколений их предков.

Реформировалась вся жизнь, и постижение ее законов стало куда более сложным, чем освоение новых форсунок на агрегатах примелькавшейся окрестным жителям великолепной ТЭЦ с двухсотметровой трубой.

«Коллективизация крестьянских хозяйств сильно изменила сознание: собственно с коллективизации начиналось формирование нового сознания и у наших рабочих,— говорит мне парторг Юлиус Гарбуляк.— Все-таки в республике сотни тысяч людей, вчера еще мысливших категориями хоть маленькой, да своей, частненькой собственности. Это очень непросто — выдавливать из души собственничество, которого еще предостаточно вокруг; отмахиваться от исторических анекдотов западных радиопередач, которые внушают тебе, что живешь ты не так; рассказывают веселенькие сказочки о плясунах в национальной одежде и политиках, о которых большинство современного населения и понятия уже не имеет».

Сдвиг, происшедший в сознании, огромен; энергия духовной истории по-разному воплощается в знаниях и поступках разных людей. «Мы порой давали определения покруглее, помягче,— продолжает Юлиус Гарбуляк.— Вот и выходит, что такие разнообразные и непохожие фигуры, связанные с нашей недавней историей, как император Франц-Иосиф, премьеры Масарик и Бенеш, а то и диктаторы сороковых годов, выстроились для иных молодых людей, как в музее восковых фигур, где все вылеплены с внешней похожестью, и только политического комментария на пьедесталах нет. Для стариков это была история жизни, заблуждений, побед и проигрышей; для многих — выстраданной веры. Часть молодежи получила все, не выстрадав и даже не продумав полученного. Можно, пожалуй, и так, только обидно и больно: это все равно что работать в Воянах, ничего не зная ни про машины, ни про мазут...»

Мы идем по колоссальным помещениям цехов теплоэлектростанции, посылающей в сеть миллиарды киловатт-часов ежегодно. Установки Воянской ТЭЦ строились на знаменитых заводах «Шкода», со «Шкоды» же пришли сюда многие опытные рабочие — для иных из жителей восточной Словакии первым и конкретнейшим интернациональным символом, примером сотрудничества, стала советская нефть, те самые 480 тонн мазута, ежесуточно сгорающего в установках чешского производства. Мы ведь привыкли с вами, читатель, к собственной силе и не всегда вовремя вспоминаем, сколько уверенности в себе и сколько желания жить добавляли нашим отцам одни лишь уличные демонстрации пролетарской солидарности, гремевшие на планете полстолетия или шестьдесят лет назад. Мы придаем сегодня этим демонстрациям форму вполне конкретную: советские уроки дружбы материальны и наглядны предельно, но ни один из них не должен забыться, в каких бы условиях он ни усваивался...

Юлиус Шлепецки работает машинистом турбогенератора. Раньше он монтировал электростанции на «Шкоде», а с 1965 года — здесь. Да, он понимает, что такое советская нефть для его родины; конечно, конечно, не было б этой нефти, не было бы и Воянской ТЭЦ-2. Не было бы его рабочего места. («Видите, вон в котле при температуре 1800 градусов сгорает распыленный

форсунками мазут? Чистая работа. Если бы это было на угле, здесь, знаете, какая бы пыль стояла — не продохнешь; а грязь какая была бы!») Обе дочери Юлиуса Шлепецки учатся в Братиславе на химфаке политехнического — тоже нефть...

Шлепецки говорит, что сам он никогда не был в Советском Союзе, дочери бывали. Одна даже переписывается с подругой из Челябинска. Собственно говоря, юридически он, Шлепецки, в Советском Союзе был — он с улыбкой вспоминает об этом,— потому что в 1946 году посетил в Ужгороде футбольный матч «ЦДКА» (Москва) — «Спартак» (Ужгород). Вполне возможно, что Юлиус Шлепецки видел на том матче даже Григория Федотова, но, как назло, он не запомнил ни одной фамилии футболистов, кроме знакомого учителя гимнастики, игравшего за «Спартак». Юлиусу тогда было 14 лет, и он больше никогда не пересекал стабилизировавшуюся вскоре государственную границу.

Ощущение Советской страны — то самое, что сочетается с ощущением нового общества, образом и качеством его жизни,— все-таки существует в каждом особенно и особо. Слишком уж заметная и серьезная у нас страна. Я уже говорил о пришедшем от нас духе равенства, но вместе с ним надо усваивать дух взыскательности нового мира. Кто объяснит?

«Мне, извините, впервые объяснили все это у вас в плену,— говорит мне Александр Цинке, глядя в сторону.— Что такое взыскательность, ответственность и все такое. У многих это здесь было, а у меня — в плену; на судоремонтном в Новороссийске пришлось работать. Здесь я вижу советскую нефть, поступающую по трубам, а там, в Новороссийске, она блестела на поверхности бухты, в танкерах плескалась. Я тогда еще не думал, что и для меня эта нефть... Как жил? Никогда в детстве не мог поесть досыта, работал от зари до зари — в детстве и мыслей других не было, кроме взаимосвязанных: еда и труд. Потом — война; в 1944 году надели на плечи чужую шинель и послали на русский фронт, в 1945-м уже был в безопасности, в глубоком тылу: плен. Глядел на нефтяную пленку, радужно растянутую по бухте, и не думал, что буду еще работать с той же нефтью, советской, которую нам пришлют по трубопроводу. Еще мне учиться многому надо бы-

ло, трудно я учился, если будете писать — не упрощайте».

Ни в коем случае не надо подгонять под готовые ответы и упрощать. Александр Цинке, побывавший в советском плену, вовсе не считает этот урок своей жизни лишним. Надо было прийти к пониманию того, насколько «убедительно добры» (его, Цинке, слова) советские люди, запомнить новороссийскую старуху, подавшую ему кружку воды, и понять, что война сделала со старухой, с ее городом и ее жизнью. Вода застревала в глотке у пленного...

Сын Александра Цинке работает механиком на «Словнафте» — прямо в устье нефтепровода, перекачивающего сюда сибирскую нефть; дочь, устроившаяся там же в вычислительном центре, жизнью довольна. И так формируются все династии нефтяников... Цинке несколько раз повторил мне, что́ для него было самым убедительным аргументом в пользу новой жизни; когда возвратился в 1947 году из плена, вдруг увидел — работы сколько угодно! А он сам родом из деревни Вешковцы, где постоянно бедствовали от безработицы; уж он-то знал, что это значит, когда есть работа.

Да, конечно, многие здесь «диалектику учили не по Гегелю», но усвоили ее накрепко. Такая уж это была диалектика.

Задача огромной сложности — сведение народных воспоминаний, народных надежд, планов, оценок в один кулак, в одну силу. Без этого трудно стать современной нацией. И с первых дней новой жизни коммунисты Чехословакии говорили о естественности этой задачи: все достижения и все ошибки должны быть строго учтены и осмыслены. Ведь из одной лишь Австрии столько фильмов приходит по телевидению: там тоже все осмыслено, хотя по-своему. Жаль, что у нас убедительных фильмов-ответов не всегда в достатке. Как бы там ни было, но мы хорошо знаем, что историческая, скажем, тема может использоваться в очень многих случаях как эрзац-комментарий к современности. А со словацким зрителем и слушателем проще: ведь государства здесь практически не было, и многие кинобоевики да «развесистая клюква» сочинений о «великолепных предках» годами предъявлялись народу едва ли не в качестве академических пособий.

А заглянуть бы в историю, даже недалекую, заглянуть пристально: ну, скажем, была поблизости от Воян гидроэлектростанция, давно закрывшаяся, да еще ТЭЦ была на буром угле, тоже не уцелевшая. Это материал для размышления, сфера честного выбора фактов из прошлой жизни для реального осмысления уроков. Все соединяется в единую сеть — надо научиться мыслить реальными категориями, чтобы постигнуть истинные правила соединений...

На пультах Воянской ТЭЦ видно, как ее линии электропередачи соединены с общечехословацкой сетью и общесоциалистической системой «Мир»,— стрелки показывают реальное напряжение в каждом пункте. Так же и память — всему своя собственная, очень непростая цена. Вот включатся сейчас телевизоры — прыгнут стрелки, фиксируя потребление электричества. Что отражается в зеркалах телеэкранов? Вот то-то и оно: нельзя, чтобы фильмы о блондинках в ландо, покачивающих страусовыми перьями на старых улицах Братиславы, Кошице или Нитры, теснили воспоминания о расстрелах безработных на тех же словацких улицах. В Требишеве и в соседних Воянах в тридцатые годы из пулеметов расстреливали демонстрантов, объединившихся под лозунгами «Работы и хлеба!». Фильмов о том, как сквозь старую Словакию прорастал сегодняшний день, не так много, да и где их увидишь — таких, чтобы хотелось смотреть?.. Зато из Вены показывали довоенную ленту с очаровательнейшей Франческой Гааль, успешно искушающей миллионерских сынков и носящей свои лохмотья с необыкновенной элегантностью — будто те лохмотья от Диора или Шанель (возможно, что так и было).

Снова вспоминаю свои разговоры с экс-пленным Александром Цинке и такими, как он. Мы ведь об этих людях тоже не рассказывали — тем более что пока пленный Цинке осваивал в тыловом Новороссийске профессию ремонтника танкеров и привыкал к виду и запаху советской нефти, с которой в дальнейшем ему суждено было встретиться здесь, на Дарговском перевале, отдали свои жизни тысячи и тысячи наших солдат. А кто-то должен снять фильм о том, какой ценой досталось освобождение территории будущих Воян. Двести гектаров у перевала были густо заминированы, и с

11 декабря 1944 года по 18 января 1945 года 1-я гвардейская армия прорывала здесь фашистскую оборону. Рядом была знаменитая 18-я армия 4-го Украинского фронта. Товарищи кинематографисты! Снимите, пожалуйста, хорошее кино об этом — только не с вертолета; мне безразлично, кто кому заходил во фланг, я ничего в этом не понимаю. Мне надо видеть лица людей, за полгода до конца войны замертво падающих на эту землю, спасающих ее и еще ничего не знающих про траншеи, которые когда-то лягут здесь под нефтепровод...

Славяне впервые пришли сюда около двух с половиной тысяч лет назад, пришли, утвердились и живут до сих пор. Всякое здесь бывало за эти двадцать пять столетий, сами понимаете: лютой зимой 1979 года случился, например, маленький энергетический непорядок — оказалось, что никто по-настоящему не заботился об экономии топлива. То есть заботятся-то все, но расходуется мазута намного больше, чем, скажем, на подобных предприятиях капиталистических стран. Был проведен специальный пленум ЦК КПЧ, расставивший все по местам, были введены новые методы экономии, в частности какое-то время начинали работать не с семи утра, как обычно, а с восьми-девяти, в результате чего миллионы лампочек загорались в учреждениях на полтора-два часа позже, хотя словаки мучительно переживали невозможность вскакивать с постелей на рассвете (в отличие от ряда других народов, словаки любят раньше начинать свой рабочий день и зато раньше его заканчивают). Здесь много проблем нешуточных и шутейных. Все серьезные проблемы решаются государственно, а в этом районе земного шара никогда не было государственных проблем, потому что и государства своего не было у народа. Когда я рассуждаю о вызревшей в людях мечте, то снова ищу возможностей увидеть лица людей, чтобы познать их характер. Да простится мне поэтому повторное упоминание о кино.

Вспоминаю фильм «Освобождение» и толпу, в муравьиной спешке мечущуюся под киносъемочным вертолетом. Снимали именно здесь — поэтому здесь и подумалось, как в некоторых лентах — от «Падения Берлина» до «Освобождения» — недоставало мне именно лиц, судеб людских, исследованных вплотную. Кино-

фильм не обязан быть пособием для штабных занятий по тактике, если уж назвался он художественным, тем более, что здесь же, в этих местах, предостаточно великих сюжетов...

Пишу это, перечитывая в своем блокноте запись рассказа секретаря Требишевского райкома КПЧ Йозефа Барана: всю войну коммунисты района скрывали от оккупантов знамя с вышитым портретом Карла Маркса. Когда в районный центр Требишев пришли освободители из 18-й армии, коммунисты вышли навстречу им с этим знаменем, прикрепленным уже к древку, и вручили спасенное знамя начальнику политотдела армии Л. И. Брежневу, принявшему делегацию вчерашних подпольщиков. Знамя теперь хранится в районе, и его несут ежегодно впереди первомайских колонн; как бы там ни было, но именно здесь был провозглашен Словацкий Национальный Совет, народная власть. С 25 января по 2 февраля 1945 года, целую неделю, Совет работал в Требишеве; не было еще ни еды, ни света, ни топлива — только лишь устанавливалась Советская власть. Но устанавливалась накрепко и навеки. Читаю мемориальную надпись об этом — над головой у меня ветер раскачивает лампочку — электричество пришло сюда из Воян. Сколько всего может соединиться в уроках и усилиях, неразличимых на первый взгляд; как электричество — никто не видел его, а лампочка горит, и я читаю мемориальную надпись.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 5

Это маленькое отступление о лекарствах. И о том, что порой связывается с представлением о них. Тема показалась мне стоящей не только потому, что в Будапеште работает знаменитая фирма «Гедеон Рихтер», производящая лекарства, чрезвычайно уважаемые во всем мире. И не только потому, что большая часть лекарств «Гедеона Рихтера» производится на основе продуктов переработки советской нефти. Попросту тема оказалась даже в первом приближении куда более многогранной, чем я предполагал...

В одной из редакций мы с приятелем захватили телефон и трезвонили по всем близлежащим будапештским аптекам в поисках лекарства, заказанного мне из дому. Но, как назло, никто не слышал про такое лекарство. После шестого или седьмого звонка встал человек, давно уже дожидавшийся кого-то у двери, совершенно незнакомый венгр: «Какое вам лекарство? У меня сестра бухгалтером в больнице работает, поеду сейчас, узнаю и достану, если смогу». Достал...

В гостиничном вестибюле мне вручили письмо от будапештской переводчицы и поэта Жужи Раб, живущей неподалеку от моей «Астории». К тому времени я уже месяц разъезжал по Венгрии, соскучился по дому и с тем большей радостью распечатывал письмо, еще не понимая, откуда оно могло прийти. Письмо было от Жужи: «Я вижу, ты в ностальгии. Пишу письмо, чтобы тебе, сиротинушке, не было скучно». Слово «ностальгия» у Жужи от наших с ней разговоров о судьбе рассыпанных по свету эмигрантских общин, а «сиротинушка» — оттого, что она закончила переводить Некрасова и принялась за Есенина. «Лучшее лекарство для души — голос друга» — такая афористичность у Жужи от восточной поэзии, которой она тоже напереводилась вдоволь. И от желания сделать человеку приятное...

Беседуем с кальвинистским пастором из Буды. Он

в замшевой куртке, коричневых вельветовых брюках, с бородкой клииышком; совершенио декоратнвный художник с парижского Монмартра. «Я ведь протестантский пастор,— говорит он.— Мы выстояли на этой земле н против мусульмаи и против папскнх католиков, сжигавших иашнх предков на площадях. Знаете, что было важно? Ощущенне родных людей, хотя верящих в другого бога, ио переполиенных совестью и желанием творить добро. Людн эти, жнвшие за Карпатами, стали нам будто лекарством от безнадежности. А какая великая проза: Толстой, Достоевскнй... хоть мир этой лнтературы бывал горек, он помогал преодолевать прямо-такн апокалнпсическое отчаяние, лечил...» Иваи Салимон, директор будапештского Дома венгеро-советской дружбы, рассказывал мне, что он слышал в одной из церквей проповедь, где священник приветствовал освоеиие космоса и тоже говорил о надежде. А я вспомнил, как был в Звездном н иаблюдал за треиировкой космонавтов, представил дистанцию от кафедры кальвнинстского проповединка до кабины «Союза» — тоже ведь тема для раздумий о расстояииях...

Еще одии сегодияшиий взгляд иа мир: ученица деревеиской гимиазии Эстер Тот победила на всевенгерском конкурсе юных знатоков русского языка. «Русский — как лекарство от замкнутости,— говорит она.— Мир стаиовится в тысячу раз шире. Я приия́лась учить русский несколько лет назад, после того, как побывала с детской экскурсией в Москве...»

А тем временем в Будапеште чистят фасады. Высятся этажеркн лесов, и гудят пескоструйные аппараты. Уже закоичена очистка улнцы Леннна; белизиой засияли дома на проспекте Ракоци. Говорю с адмниистраторами гостиницы «Астория», потому что очередь дошла уж до ее стеи. «Зачем? — говорю.— Ведь закоптится все через пару месяцев...» «Чем закоптится?! — восклнкнули адмиинистраторы.— Вы зиаете, что такое советская нефть и газ?! Это же лекарство от грязн; вы попробуйте, как мы, перейтн с отоплення углем на газ и увидите, насколько ваша жизиь стаиет чище. Это же лекарство от грязи!..»

На этом и закончу короткое отступление о лекарствах.

Лингвистика

LMNO

В поездке по Венгрии у меня одно время был замечательный толмач. Михай Кречко переводил почти синхронно и, судя по всему, точно — все это было полезно для дела, и я особенно ощутил эту полезность, когда Михай заболел, а по выздоровлении был переброшен Министерством культуры в ансамбль народного танца СССР, прибывший в Будапешт на гастроли. Дальнейшие мои встречи с переводчиками были интересны и многообразны — не буду их пересказывать, разве что вспомню одну-две. Все дело в том, что на пути моих странствий встречалось все больше людей, знающих русский язык. Это показалось мне достаточно интересным и важным — особенно в Венгерской Народной Республике.

Венгрия от Словакии отличается для меня еще и тем, что словацкий язык в основном понятен: по множеству мостиков, переброшенных между славянскими островами в океане разноязычия, можно передвигаться с определенной долей уверенности. Зато по-венгерски я не понимаю ничего; не улавливаю даже интонаций, поэтому стараюсь не отрываться от переводчика, требую от него полной синхронности, да где таких переводчиков наберешь. Вот был у меня Миша Кречко, да ушел на экскурсии с балеринами. Каждый мой разговор с венграми в присутствии неопытного толмача был в два раза продолжительнее такого же разговора, скажем, со словаками; а если разговор длился столько же, то был он лишь вполовину емок. Впрочем, я это зря, вы, дорогой читатель, отлично знаете, что продолжительность беседы вовсе не совпадает с ее весомостью; скорее всего, пытаюсь сам себе объяснить, почему в разговорах с венграми я так заинтересовался лингвистическими подробностями. Наверное, сам характер беседы оттого, что ведется она через толмача, меняется, беседа становится сдержаннее, попробуйте, например, рассказать анекдот или непосредственно отреагировать на реплику, если переводится реплика на язык, принадлежащий к

малопонятной для нас и очень сложной угро-финской группе...

В венгерском городе Сольнок случилась и вовсе забавная историня. Меня попроснлн выступить на обувной фабрнке, утнлнзнрующей какую-то часть бесконечного ряда нефтепродуктов. Поскольку мой переводчнк именно к моменту выступлення занемог и сосредоточился на пнтье горячего чая в своем номере сольнокской гостнннцы «Тисса», адмнннстрацня обувиой фабрикн сказала мне, что переводчнца у них будет собственная — да еще какая!

Переводчнца была н вправду потрясающая, а ко всему еще н жена летчнка, учнвшегося в Советском Союзе. Переговорить мы с ней перед вечером не успели, примчалась она прямо к началу, а подробностн ее семейного бытня поведали мне фабрнчные организаторы встречи, считавшие, что законный брак с летчнком, учившимся в Советском Союзе, гарантирует жене знанне русского языка.

Я очень старался: рассказывал сногсшнбательные исторни, приводил случан из писательского бытия, от которых любая из наших аудиторий хохотала бы до упаду, делился творческими планами, комментируя свон сочинения, как переводившнеся, так н еще не переведенные на венгерский язык. Всякий раз я делал паузу в интересном месте рассказа, чтобы заинтриговать собравшихся, и кивал своей очаровательной переводчице. Та старательно переводила мою тнраду на родной венгерский язык н кивком разрешала мне продолжать. И я продолжал заливаться соловьем-гастролером, лишь время от временн удивляясь некоей торжественной угрюмости слушателей. Угрюмость я относил, впрочем, за счет не постигнутого мной венгерского темперамента (непонятно только, откуда у них родилась такая великолепная и забавная оперетта?), нн одна нз моих шуток совершенно не имела успеха, все серьезно слушали, ни разу не улыбнувшись. Я закончил под бурные аплоднсменты, был награжден улыбками и цветамн, после чего нам с переводчнцей выделнли автомобиль для возвращения в город. Уже сндя рядом со мной на заднем сиденье «Волгн», женщина заговорнла иа странном языке, эдаком воляпюке, в котором можно было понять однн междометня. Кое-как я уразумел, что русского языка

она не знает, почти не имеет о нем понятия, хотя в сольнокской библиотеке, где она работает, все убеждены, что русским она владеет в совершенстве: еще бы, ведь муж учился в Советском Союзе... Это стало частью репутации библиотекарши-летчицы, а репутацией она, как всякая женщина, дорожила. Поэтому, оказавшись в затруднительном положении, она принялась пересказывать моей аудитории отрывки из статей об СССР, прочитанных ею в последнее время, и очень просила меня не сердиться на нее за это, благо статьи, по ее мнению, были вполне выдержаны в политическом и всех других отношениях. Мы еще немного пообменивались междометиями, и я уразумел, что если бы даже у меня возникло желание отругать милую толмачку, она все равно бы ничего не поняла.

Сам виноват. Надо было в детстве расширять знания иностранных языков за счет скандинавских, угро-финских и тюркских.

Впрочем, умение разговаривать и умение договориться между собой не всегда связано со знанием языка, оно возникает постоянно — в контактах, стремящихся к углублению. Петр Иванович Коротков, руководитель группы советских специалистов на нефтеперерабатывающем комплексе в Сосхаломбатте, освоил, например, венгерский язык в первые полтора года работы. До этого Петр Иванович служил директором однотипного советского комбината в Новополоцке, удостоился Государственной премии СССР за свою тамошнюю деятельность и не так давно был командирован в Сосхаломбатту. Оборудование в Венгрии оказалось однотипным с тем, что используется у нас, технология той же, но мучительным было незнание языка. Ведь каждый советский человек интересен в современной Венгрии не только как знаток своей специальности, он еще и — советский человек. Коротков начал изучать венгерский язык, отвечая на вопросы, мучительно докапываясь до сути проблем, разрешить которые люди стремились именно в разговоре с советскими специалистами. На комбинате в Сосхаломбатте были даже учреждены специальные дни, когда советские специалисты отвечают на вопросы. Профессиональные контакты налаживаются мгновенно, но работу на предприятии, выросшем в рамках СЭВ, люди воспринимают как контакт политиче-

ский: «Нефть нефтью, но как там у вас, как вы живете?»

Американские фирмы, стремительно облачающие человечество в униформенную голубизну джинсовых гарнитуров, нашивают свои звездно-полосатые государственные атрибуты на задние карманы и на другие не менее заметные части ковбойских туалетов. На иных французских духах слова «Сделано во Франции» начертаны всюду — измучишься, пока доберешься до пробки. Все английские лавки завалены десятипенсовыми пластмассовыми кульками с совмещенными крестами флага «Юнион Джек» и призывом «Покупайте британское!». Торговля хочет быть политикой, политика обижается, когда ее сравнивают с торговлей, но тем не менее нигде на свете товар не отделяется от репутации страны, производящей товар,— будь то нефть, или жевательная резинка, или консервированное пиво, или автомобиль. Ко всем товарам в разных формах как бы приложен вопрос, из-за которого Петр Иванович Коротков выучил венгерский язык: «Нефть нефтью, но как там у вас, как вы живете?» И тот вариант лингвистики, с которым наш мир сталкивается ежечасно, бывает куда как далек от академического...

Советские монтажники тоже рассказывали мне о своих лингвистических проблемах. Было это в Сосхаломбатте, в помещении чистеньком, нарядном, где собрались рабочие, монтирующие установку изомеризации легких бензинов. Эта установка сияла рядом, лакированная, словно дорогой лимузин, и непонятная, как прекрасная дама. Видя этот монтаж, можно понять французских кубистов, которые в начале века обнаружили новую красоту в блестящих переплетениях машинных внутренностей.

Но рабочие не знали про французских кубистов. Положив на стол свои синие пластиковые каски, они пили чай. Александр Флегонтович Миронов из Ярославля и Олег Дмитриевич Хорьков из Рязани. Оба держали в свободных руках самоучители венгерского языка и медленно перекатывали на губах трудные венгерские предложения. «Понимаете ли, — сказал Миронов, — когда мы сюда приехали, выделили нам симпатичную сосхаломбаттскую переводчицу по имени Жужа. Но взобрались мы на свои перегонные агрегаты, поглядели

с венграми в тот же самый чертеж, все поняли и принялись за дело. Переводчицу нам выделили на весь рабочий день — вот она все эти восемь часов читала или гоняла чаи в нарядной, а мы ее так ни разу и не позвали. В чертежах все было ясно: поделили мы с венграми участки работы и монтировали понемногу. Перекуры у венгров бывают реже, и перекуры здесь короче наших — так что в течение целого рабочего дня, бывало, ни словечком не перебросимся. Переводчица чай попила-попила, видно, надоело ей, и перестала к нам приходить. А тут-то как раз и началось: мы с венграми уже перезнакомились, хочется поговорить, а не умеем. У них после работы — сто тысяч вопросов и самый главный: «Нефть нефтью, а как поживают у вас?..»

Венгры учат русский — учат его в школах и на множестве курсов, потому что язык этот причастен к их сегодняшнему и грядущему дням. Вместе с необходимой нефтью приходит ощущение необходимости целого мира, откуда проложен нефтепровод. Люди, работающие вместе, прирастают к жизни друг друга, и это им кажется естественным. Не говорю сейчас о таком очевидном деле, как изучение языка для пользы профессиональной, ведь один из авторитетнейших в мире источников знания — советская научная литература; она издается широко, она доступна и популярна, многие учились на ней. Это все важно, и мы еще будем говорить об этом; но научные труды в конце концов здесь умеют читать и по-английски, и по-немецки, и по-французски. Особенное место у русского языка в жизни и, главное, особенность, индивидуальность пути каждого человека к нему, необходимость поиска и нахождения языков не только для получения информации, но достижения взаимопонимания — вот что кажется мне важным и нетрадиционным. Об этом и пишу: о лингвистике дружбы, если читатель простит мне такое опрощение ученого слова...

В Сольноке, на предприятии, которое называется сложно и длинно Верхнедунайское нефтеразведочное и эксплуатационное управление (а на самом деле попросту занимается поисками и эксплуатацией практически всех венгерских нефтяных месторождений), мы разговаривали с инженером Михаем Вигом. «Разгова-

риваем с друзьями по-русски и по-венгерски, нам нужны оба эти языка, чтобы нормально жить и работать. Десять лет назад я окончил Нефтяной институт в Москве — все пять лет учебы жил в общей комнате с парнем из вашего прикарпатского города Калуша Валерием Зацаринным. Валерий научился разговаривать по-венгерски, я — по-русски. После института Зацаринный поехал на работу в Татарию, в город Бугульму. По командировке я вскоре прибыл туда же, потому что в Татарии производился эксперимент, важный как для советских, так и для венгерских нефтяников. Снова работали вместе, и русский язык был необходим, как воздух. Вскоре Валерий Зацаринный приехал на две недели сюда, в гости, и, кроме всего прочего, усовершенствовался в венгерском языке.

Это словно вторая родина для души, Советский Союз. Другие отношения между людьми: проще, открытее,— мои родители, например, не сразу могут понять, как это я так запросто названиваю друзьям не только в столичную Москву, но и в украинский городок Прилуки. Советская жизнь не скрытна — это новый тип жизни, вот что важно для нас. Вот вы будете пожимать плечами сейчас, но когда мы с нефтяниками в Бугульме распили пол-литра, я совершил не только подозрительный с точки зрения трудового законодательства (хоть пили мы после работы) поступок. Это был поступок новый по смыслу: старый буржуазный господин венгерский инженер ни за что не уселся бы к столу — да тем более выпивать! — с простыми буровиками. Но мы с этими рабочими мгновенно нашли общий язык...»

«Это именно те слова: общий язык»,— вмешивается Дьердь Тот, инженер того же управления, который начал учить русский язык еще в гимназии. Тот был летчиком, а затем пришел работать сюда, в Сольнок, и привык к работе на буровых. «Мы ведь ездим бурить в Ирак. У нас бывают для монтажа своего оборудования специалисты из ФРГ и Голландии, — продолжает Дьердь Тот.— Но что интересно: поработаем с ними и разъезжаемся. Никто никому не пишет, личные отношения, как правило, не устанавливаются, никто языков не учит. С вашими — совсем по-другому. Приедет человек на пару недель — и сразу же свой и надолго. Исклю-

чений почти не бывает. Перезваниваемся после, переписываемся, а сколько тут переговорим!»

В нефтяных управлениях Будапешта, Сольнока, Сосхаломбатты, когда я разыскивал нужных для книги людей, мне почти всегда прямо в коридоре встречался кто-нибудь, умеющий говорить по-русски. Языковые барьеры рушились, потому что рухнул главный, социальный барьер, разделявший нас. Нефть пришла по следам великих добротворцев, которые до того, как проложить нефтепровод, возвратили этой земле свободу. Все взаимосвязано. «Я хотел вам сказать,— улыбнулся мне Михай Виг,— что у меня есть собственные аргументы любви, но, по-моему, все уже поняли одно очень важное обстоятельство, во многом определяющее ваш авторитет — человеческий и государственный. Вам так нелегко было достичь всего, чего вы добились, и вы хотите, чтобы другим было легче, чем вам! Все-таки поразительны щедрость ваша и доброта...»

Это все я говорю о языке. И не только о языке. Но раз уже было сказано в этой главе о смешной истории с «переводчицей», я просто обязан перекрыть ее историей торжественной. История эта причастна к нашему разговору и потому еще, что Жужа Раб, знаменитая переводчица советской литературы, сама согласилась съездить со мной в Сосхаломбатту; там, среди нефтяников, книги переводов из советской литературы расходятся особенно быстро и ее, Жужу Раб, хорошо знают.

Впрочем, ее везде знают. Мы разговариваем на темы лингвистические, интернационалистические и другие, которые можно определить учеными словами, но которые тем не менее просты и повседневны. Лучше уж я расскажу по порядку.

Жужа Раб живет на горе, в Буде, занимая второй этаж старого кирпичного дома. Слив с высоких деревьев, что в саду под верандой, никто не собирает, и каждой осенью самые стойкие из них присыхают морщинистыми черными шариками к безлистым ветвям; продолговатые сливки, которые на Украине зовут «горками». Жужа Раб бьет кулачком по стволу, но он, мощный и древний, даже не вздрагивает; черные шарики остаются на своих местах. «В саду моего детства была точно такая же слива,— говорит Жужа.— Отец преподавал

в гимназии латынь и греческий, но вместе с любовью к классике прививал нам с братом любовь к вполне современному миру, бушующему вокруг. И к садам тоже; где бы я ни была, всегда тосковала по своему саду — по тропе к нему, по его сливам...» Вспоминаю, как в начале шестидесятых годов мы встретились с Жужей в Киеве, она и тогда говорила, что Киев — словно собранные воедино сады ее молодости, она может даже деревья узнать. Впоследствии я встречал Жужу Раб в Москве, в Баку, в Будапеште; мы давно подружились и не раз говорили с ней о людях, которые должны обогащать мир доброй волей и дружелюбием,— словно садовники... «Тема сада, метафора сада песен привычны восточной поэзии с древнейших времен. Может быть, это во мне зов предков? Ведь пришли мы когда-то из-за Урала, из Азии, почти по трассе нынешнего нефтепровода. Мы, венгры, любим повторять, что мы такие европейцы, дальше некуда, еще и в центре Европы живем. Но, словно память о долгом пути пращуров, несем в себе многое; даже во внешности — погляди, какие мы скуластые...»

Жужа очень иронична, остро мыслит, остроумна в спорах и отношении к себе самой. То, что она успела сделать, Жужа объясняет наследственностью, семейными традициями, историей — лишь бы не начали ее расхваливать публично и серьезно, а хвалить есть за что. Основная переводчица советской поэзии (да и прозы немало перевела), писательница вдохновенно работает (трудно сыскать другое определение), видя в труде этом свой долг, а не основание для отличий и похвал. Хотя отличий и похвал у нее много, между ними и советский орден «Знак Почета», премия имени Максима Горького, присужденная Союзом писателей СССР. Жужа Раб к тому же один из солиднейших оригинальных поэтов Венгрии: две большие бронзовые медали республиканских премий лежат у нее на стеллаже (венгерские литературные премии обозначаются медалями настольными, а не нагрудными, чтобы они не другим, а тебе самому с письменного стола или стеллажей напоминали об уровне, уже достигнутом однажды; для чего же они еще?). Лишь ворочая кипы книг, понимаешь, сколько успела Жужа Раб. Пушкин, Лермонтов, Фет, Тютчев, Блок, Есенин, Пастернак, Ах-

матова — это лишь часть переведенной русской и советской классики. Из современной советской поэзии назову по памяти лишь немногое: Айги, Ахмадулина, Казакова, Винокуров, Левитанский, Самойлов, Евтушенко, Чаклайс, братья Чиладзе, Нийт, Окуджава, Руммо, Шесталов, Роберт Рождественский, Сулейменов, Вознесенский... Здесь же переводы (сложнейший труд!) исторических украинских песен и дум, романов Гончара, Стельмаха...

Милая, красивая, умная женщина, она вовсе не предполагает переполнять вас ощущением своего подвижничества: просто обогащает сады своего народа — они зреют для всех, как ее собственные сливы на будапештской горе. Это долг перед памятью об отце, перед родной поэзией в конце концов. Начала изучать русский, а затем и другие славянские языки в год освобождения Венгрии от фашизма. В 1946 году поступила на филологический факультет Будапештского университета, публиковать переводы начала еще в годы студенчества. «Когда пришла Красная Армия, у нас в доме поселился генерал. Мы понимали, что идет война, что так надо, и не возражали. Но генерал приглашал нас к чаю, учил меня русскому, а когда Красная Армия продолжила наступление, отчитался перед нами за каждую тарелку и каждый стул, которыми пользовался, живя у нас. Солдаты все расставили по местам. Нас поразили эти порядочность и дружелюбие — таких генералов и таких солдат видеть не приходилось; тем более что генерал подарил на память томики русской прозы». (Можно бы рассказать здесь, как Жужа, став уже известным поэтом, разыскала-таки генерала в Москве, но это, как говорят, совсем другая история.) «И с нефтью твоей это тоже связано,— говорит мне Жужа.— Книги, хлеб, нефть... Я это так цельно чувствую, потому что соприкасаюсь с венгерской жизнью больше, чем ты... А то привязался ты к своей нефти, а она ведь только часть целого...»

Судьба маленькой Венгрии простой никогда не была, уродовали ее и сгибали под самые разные хомуты множество раз. И если говорить о самых известных венгерских писателях, их убежденный интернационализм, переводческое подвижничество — словно кондиционированный опыт борьбы за братство и дружбу в мире.

«Иначе не выживем»,— говорили мне в Венгрии много раз и со всей убежденностью.

Метафорические и взаправдашние сады Жужи Раб постоянно с ней. Сад ее детства, старая слива под окнами, плодоносящий сад мировой культуры, русская и советская литература — всюду она ощущает себя садовником.

Мне очень приятно таким торжественным «штилем» говорить об этой доброй и популярной в Венгрии женщине — таких здесь еще не было, ибо лингвистика Жужи Раб социальна. Когда мы перечисляем все, чего не было в Венгрии и что появилось за последние десятилетия, то, начав со слова освобождение, легко вводим остальные слова в логическую систему. Как это выстроены буквы в алфавите? Л, М, Н, О... Так, если Н — это Нефть, то О — это Освобождение, М, пожалуй, Мир, а Л, если вам угодно, Лингвистика. Все подряд.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 6

Янош Тот, руководитель отдела смазочных масел Дунайского нефтеперерабатывающего завода в Сосхаломбатте, долго молчит, обдумывая вопрос. Затем виновато улыбается: «Сам не знаю. Пытаюсь вспомнить что-нибудь особенно интересное из встреч с советскими людьми, из моей работы с вашей (и нашей!) нефтью и, право, не знаю. Может быть, сначала надо? Был ноябрь 1944-го, когда Красная Армия освободила мою деревню Вамошдьерг. Было мне в ту пору семнадцать лет, кроме работы в поле, я ничего еще не видел; послали меня работать на постройку взлетно-посадочной полосы для ваших бомбардировщиков. Они заправлялись у нас, возле Вамошдьерга, и улетали бомбить Будапешт, где еще оборонялись фашисты. В деревне у нас все разглядывали красноармейцев пристально и молча: языка никто не понимал, да и страшновато было — освободители, конечно, но война все-таки идет. Последние из немцев, стоявшие в нашей деревне, были хиленькие мальчишки, прямо фольксштурм, плакали по ночам; а двое, что были на постое у нас в доме, пришли воевать со школьными учебниками в заплечных мешках; так после них те учебники в углу и валялись. Ну, значит, пришли красноармейцы, в доме у нас трое жили; смотрю, нашли они немецкую «Алгебру», листают, о чем-то разговаривают. Подозвали меня, показывают, а я не понимаю, не доучился в ту пору я до алгебры, вся моя наука была в поле да возле скотины в хлеву. Красноармейцы серьезно так головами покачали — показывают мне, что снимают автоматы и кладут перед собой книгу; мир, мол, уже скоро... Да пока тот мир — ушли они дальше, и через три месяца зашел ко мне один из них, возвращался он, раненный, в феврале 1945-го. Показал, что двое друзей его, Иван и Сергей, имена я запомнил, погибли на пути к Праге. Учебник алгебры лежал на том же месте; красноармеец полистал его, а потом как хлопнет об землю учебником! Затем подумал, нагнулся, взял книгу и положил на подоконник...

А я вскоре после Победы ушел в Будапешт и начал работать там, на Чепеле, вот и столкнулся впервые в жизни с производством нефтепродуктов. Дело в том, что немцы оставили, отступая, запасы танкового горючего в Будапеште. Нам его отдали, и мы налаживали новое производство, перегоняя солярку. Сказали как-то, что придет к нам в бригаду русский нефтяник, поможет, мол. Как раз был обеденный перерыв, сидим глядим в грязный пол своего цеха, есть нечего. Пришел русский, молодой такой, в военной форме, только без погон. «Чего не обедаете?» — руками нам показал. Мы виновато улыбнулись: нечего обедать, сам, что ли, не видит. Русский ушел. Через некоторое время возвратился с буханкой хлеба и аккуратно разделил ее между нами. Где он взял хлеб, ума не приложу, тогда хлеба всем недоставало. Отладил русский установку, ушел, а я его на всю жизнь запомнил. Первые советские люди в моей жизни были в военных гимнастерках; но один мне книгу давал, другой — хлеб. Интересно вам это? Извините уж, но вы спросили о первых встречах с русскими — я вам и сказал...»

Янош Тот берет чашку с кофе и стучит об нее ложечкой. Кофе остыл, да он его и не собирается пить — просто думает о своем. Затем, не глядя на меня, добавляет: «Вы же о нефти писать хотели — так это и о нефти. То я помогал советские бомбардировщики заправлять, а то — первое горючее на Чепеле дистиллировал. Так уж оно получается — все сразу...»

ПАРТНЕРЫ

В городе Сосхаломбатте было удивительно интересно. Город этот, если повторить примелькавшуюся метафору о нефти — крови земли,— сердце нефтяной Венгрии. В нем находится Дунайский нефтеперерабатывающий завод, и миллионы тонн нефти, приходящие сюда по трубам из Советской страны, плюс те сотни тысяч тонн, что добываются в нефтеносном венгерском районе Алфельд, превращаются во все, что из них надлежит выгнать, именно здесь, в Сосхаломбатте. Короче говоря, на здешнем комбинате перерабатывается абсолютное большинство нефтяных рек, впадающих в Венгрию.

Нефть пришла сюда в 1964 году; городом Сосхаломбатта стал в 1970-м. А до этого было такое вот кукурузное поле в сорока с лишним километрах от Будапешта. Комбинат объявили общевенгерской комсомольской стройкой, возводили его всей страной: и комбинаты такие были здесь вновь, и тип строительства был прежде невидан. Но тогда, в начале шестидесятых, стало уже ясно, что развитие Венгрии лимитируется ее энергетической базой. Вырастала страна, и все в этой стране становилось куда более масштабным, чем прежде.

Приметы нового? Я дальше постараюсь вам рассказать о конкретных людях; здесь же несколько самых общих характеристик. Итак, начинали строить комбинат крестьяне, понятия не имевшие о нефти, выравнивали кукурузное поле. Была здесь деревушка древняя, корнями своей истории уходившая во времена Римской империи; потомственных нефтяников в округе не было вообще. Все начиналось с поставок советской техники, проектной документации, помощи в монтаже. Здесь же формировались собственные кадры технической интеллигенции нового профиля; и сегодня из 2876 работников комбината около 1200 продолжают учиться, из них многие в Будапештском политехническом, открывшем филиал в Сосхаломбатте. Девять из каждых десяти мо-

лодых рабочих уже имеют специальное образование; среди тех, кому нет еще тридцати, только один человек на всю Сосхаломбатту без восьмилетки. Практически все инженеры, техники, большинство кадровых рабочих пришли сюда молодыми, здесь начинали трудиться, здесь создавали семьи (комбинат в последние годы построил для своих работников больше тысячи трехсот квартир), расширяли свой комбинат и здесь же планируют свое будущее.

«Ну, дай бог!» — говорю я, обращаясь к здешнему парторгу Ласло Зиманьи. Тот хитро глядит на меня: «Да мы не столько на бога надеемся, сколько на Советскую власть!» Тысячу раз я ощущал чужие надежды, обращенные к моей Родине, и думал о том, что, значит, мы живем правильно и недвусмысленно, раз столько людей не боятся жизнь свою связать с нами; легко так, естественно связывают, уверенные, что мы не подведем.

Парторг Дунайского нефтеперерабатывающего завода Ласло Зиманьи — молодой человек; ему еще только двадцать восемь лет, но в Сосхаломбатте он трудится уже давно, с 1968 года. Здесь он окончил химический техникум, здесь начинал работать как специалист, здесь женился, получил квартиру. В последние годы здесь же возглавлял комсомольскую организацию: на предприятии более пятисот членов партии, около семисот комсомольцев. Ласло Зиманьи — человек очень серьезный, говорит медленно, улыбается редко; он с севера Венгрии, из самой что ни на есть рабоче-крестьянской семьи: мать — крестьянка, отец — бывший шахтер. Ласло узнал, что пришла советская нефть, создается новое предприятие, поехал в Сосхаломбатту, выучился, приобрел авторитет, стал одним из руководителей предприятия. Для него это естественно: жил, как все... Как относится к Советскому Союзу? Хорошо относится, хоть никогда не был там — так вот сложилась работа, что не довелось. Но ведь советских людей видел все время — вот только что сдавали ректификационную колонну на заводе — там сварщики советские и венгерские, Горбачев, Пикош, Бабенко, Васари, работали вместе, вместе и разбили, как положено, бутылку венгерского шампанского о высокий блестящий столб совместно смонтированной колонны. Из Советского Союза оборудование приходит все более совершенное,

сейчас строят установки для повышения октановых чисел бензина, очистки его от серы; заодно построили установку для получения элементарной серы из советской нефти. А сейчас будут строить комплекс для изомеризации легких бензинов, для дальнейшего их очищения; и еще ведется борьба с загрязнением дунайских вод — вон там стоят новые фильтры; чистые вода и воздух тоже необходимы Сосхаломбатте, всей Венгрии они необходимы, идет борьба и за них.

В Сосхаломбатте легко дышится. Не в обиду будет сказано нашим нефтехимикам, но в Сосхаломбатте дышится легче, чем в Омске или в Сумгаите,— здесь жилые и производственные помещения строились надолго и с превеликим уважением к тем, кто здесь будет жить и работать. Мощные насадки фильтров на трубах пропускают струйки теплого воздуха, врастающие в теплое осеннее небо. «Мы ведь маленькая страна,— улыбается мне Зиманьи.— У нас и воздуха и воды меньше, чем у других. Каждый грамм на счету. Беречь надо...»

Дунайский завод возводился людьми, которые ни разу не были заброшены и предоставлены сами себе, возводился без накладок, по точному графику. Да и сейчас рабочие поездки в Тамбов, Рязань, Новополоцк в порядке вещей. Специалистов готовят централизованно: завод сдает заявку о том, сколько ему надобно специалистов и каких именно; общегосударственный нефтяной трест обеспечивает завод инженерами самых тонких профессий, готовя их у себя или в институтах СССР. Каких-либо сложностей не случалось ни разу. «Слушайте, Ласло,— говорю я, желая сбить парторга с его насыщенных информацией троп.— А как вы себя чувствуете, выходя в необъятный мир, сплошь занятый переработкой нефти? Вы ведь в центре Европы, и вокруг вас разнокалиберные трубы аналогичных предприятий из доброго десятка стран. Даже Дунай, который всем нам так дорог, вы самостоятельно не спасете, потому что великая река кроме ваших заводов поит и моет еще предприятия советские и словацкие, австрийские и румынские. Ощущаете ли вы собственную соизмеримость с технизированной, перегоняющей нефть Европой? На уровне ли вы? Не чувствуете ли себя провинциалами? Вам ведь твердят небось по всем пришептывающим радио, что связались-де с Советским Союзом...»

Зиманьи бьет себя ладонями по бокам, словно курица крыльями, и клокочуще смеется: «Уж кто-кто, а мы знаем себе цену. Ведь каждый венгр, в том числе из Сосхаломбатты, хоть раз в два-три года, а выезжает на несколько недель за границу. Страна у нас маленькая, а погулять любим! Мы гостили и в Югославии, и в Австрии, и в Румынии, а некоторые и в Канаде, и в США. Никогда любовь к Венгрии, гордость за нее не были у наших людей столь глубокими и массовыми; никогда еще мы не приходили в мир с так высоко поднятыми головами. Нации гибнут от провинциальности, а мы сейчас провинциалы в куда меньшей степени, чем когда бы то ни было. И такие заводы, как в Сосхаломбатте, кроме всего прочего,— лекарство от провинциализма. Ведь мы если и повторяем «мы дали», «нам дали», то делаем это уже иначе. Мы понимаем свое партнерство, а не «зависимость», о которой верещат враги сегодняшней Венгрии. Мы видим, как на зарубежных предприятиях зачастую перерабатывается совсем другая нефть — полученная иначе, используемая иначе, отношения между людьми там тоже совсем другие. Да, у нас еще огромный резерв: на многих предприятиях Запада, надо признать, нефть перерабатывается подробнее, скрупулезнее, мы еще только стремимся к этому; отношения с вами расслабляют иных людей, вы это знаете — мол, даст Советский Союз столько нефти, сколько надо будет, там нефти хватает. Но все равно у нас с вами отношения партнерства, мы не чужие, мы друзья, мы рядом, а во многих странах приходилось видеть страх оттого, что кончится нефть, и как быть тогда. Советская нефть поступает так, что все уверены: она никогда не кончится. Наверное, это не всегда хорошо, что мы так спокойны, но все-таки славно, что у нас нет страха. Весь мир корчится от страха, почитайте, что пишут, поглядите, какие кино снимают, а нам не страшно...»

(Немного отступив в сторону от Дунайского нефтеперерабатывающего завода, я хочу возвратиться в Будапешт, на улицу Розенбергов, 21, расположенную возле парламента. На четвертом этаже капитального здания, выстроенного в конце прошлого века, находится ТЕСКО — организация, координирующая контракты венгерских специалистов, работающих за рубежом. Не

буду пересказывать в подробностях все, о чем довелось переговорить с руководителями ТЕСКО Тибором Хетеши и Дэчи Ласлоне, но одно обстоятельство из имеющих отношение к нашей теме показалось мне достойным упоминания немедленного. Это роль советской нефти в международных делах ТЕСКО. Ведь до 1968 года даже кадры для собственной Сосхаломбатты готовились Венгрией в Советском Союзе; сегодня же немало венгерских нефтяников высокой интернациональной квалификации работают в странах Ближнего Востока и в Африке. Венгрия монтирует и поставляет энергетическое оборудование очень широко — вот только что подписан контракт о поставках для двух огромных электростанций в Турции. В Венгрии очень хорошо научились работать с нефтью, мазутом, бензином; с техникой использования нефти и с техникой поиска нефти здесь тоже все в порядке. Опыт строительства нефтепровода «Дружба» дал стране кадры, которых у нее не было никогда. Огромный советский трудовой полигон бесценен для будущего; когда я недавно прочел, как наши нефтяники трудятся в алжирской компании СОНАТРАК, то еще раз подумал о колоссальной международной роли примера небывалых отношений, установившихся между народами в мире социализма.)

Сейчас в Сосхаломбатте больше двадцати специалистов — выпускники советских вузов. Очевидно, в дальнейшем их может быть меньше. Венгрия готовит сегодня собственных нефтяников, и неплохо готовит; это естественно, так же как естественным было то, что в начале шестидесятых годов здесь много работали советские инженеры. Все шло параллельно — школа производственного сотрудничества и школа человеческих отношений, хотя сами работники Сосхаломбатты не склонны разделять одно от другого, нет, мол, смысла фракционировать отношения между народами; познание Советского Союза для большинства из тех, кто живет здесь и работает, было процессом чрезвычайно важным, личным и поучительным.

Практически все главы моей книги посвящены тому, как нас видят со стороны. Я не уставал удивляться, наблюдая, насколько личны бывали аргументы у моих собеседников, рассказывающих о Советской стране, а главное, что рассказы эти всегда бывали патриотичны-

ми; ни намека на попытку подстроиться к собеседнику или польстить ему. Словно ворочаются во мне голоса собеседников; вижу глаза их, вижу лица друзей, ни одно из которых не было отведено в сторону, и поэтому ни одно не забыто мною.

Золтан Балог занимается вычислительной техникой в отделе автоматизации комбината. Он пятнадцать лет назад окончил в Москве Институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина и с той поры трудится в Сосхаломбатте. Балог из городских, его отец и мать трудились на почте, с промышленностью вообще и с нефтехимией в частности не имели ничего общего. Сегодня в Венгрии приобрел широчайший размах процесс совершенно новый — в связи с тем, что старые классовые связи и принципы обрушились напрочь, открылось огромное количество новых профессий и новых сфер приложения сил, здесь выкристаллизовываются «династии», прежде невозможные, но определяющие весь дух жизни в стране. Министры из плотницких семей, главные инженеры из семей почтальонов, руководители Госплана из малоземельных крестьян. Та часть нации, которая веками не могла реализовать свой творческий потенциал, раскрывается красиво и полно в политике, производстве, во всем многообразии кардинально изменившейся жизни; это примечательно и важно.

«А что было важным для меня? — переспрашивает Золтан Балог.— Ну, прежде всего, окно в мир; в огромнейший советский мир, раньше неведомый. Мы ведь были провинциалами — нити провинциализма, как грибница срезанного мухомора, еще прошивают наш грунт, и ничего странного в этом нет — не все сразу, не от всего избавляемся в одночасье. Поэтому прикосновение к огромнейшему советскому миру всегда интересно и заставляет задумываться любого венгра, особенно из тех, кто постарше. Ну, например, самое простое: я считал, что в СССР живут одни русские. А попал в студенческое общежитие губкинского московского института, и рядом со мной — армяне, украинцы, грузины, азербайджанцы, узбеки; сразу же захлестнуло многообразие и многонациональность вашей страны, то, как легко человек любого происхождения становится своим: поляки, венгры, болгары срастались с вашей средой очень быстро, когда принимали советские правила межнационального равен-

ства. Не упрощайте нас, такое сотрудничество не просто. Изучая в Нефтяном институте свои мазуты, бензины и парафины, мы изучали одновременно множество новых принципов устройства жизни...

(В центре Европы шовинизм и национализм вспучивались не раз и не раз раскатывались погромами, открытыми декларациями о нациях первосортных и второсортных, таких да сяких. Даже два соседних народа, словаков и венгров, стравливали в столетиях до крови, до резни, до взаимоуничтожения. И все-таки народная душа настроена на равенство и добро. До чего же уверенно стираются межнациональные предрассудки, межнациональная вражда при социализме! Я не говорю «легко», я говорю «уверенно»; даже уход в срамные анекдотики, рассказываемые хриплым шепотом,— уход того, что вчера еще было программой благополучно скончавшихся шовинистических партий, провозглашалось с парламентских трибун, говорит о многом. Я упомянул о словаках и венграх. Здесь затихают даже анекдотики, здесь и вправду отношения между народами изменились к лучшему и эмоционально и государственно. В Словакии, к примеру, одних венгерских театральных и танцевальных коллективов около шестисот; в Венгрии около трехсот школ для национальных меньшинств, где преподавание ведется на родных языках, в том числе на словацком. А еще тридцать пять лет назад призывы к словацко-венгерской резне подсовывались куда как энергично; было кому подсовывать.)

«Мы ведь и раньше знали, что вокруг нас — огромный мир, но боялись этого мира,— говорит Золтан Балог.— Главное было — спрятаться от всех и защититься. Путешествовали и прежде, профсоюзы еще в тридцатые годы организовывали экскурсии вокруг Европы; но в той же Европе почти не было порогов, которые мы переступали на равных. Интенсивнее всех вокруг света ездили бедняки в поисках дома и хлеба: на родине для них не было ни того, ни другого...»

Ощущение родины многообразно; и то, как тебя воспринимают люди, пришедшие в дом твой извне, очень важно. Мне тысячу раз говорили, восхищаясь, как легко советские остаются на сверхурочную работу или варят стыки трубопровода в двадцатиградусный мороз на ветру. (Это что! Я в Сибири видел рабочих, которые сва-

рнвали стыкн газопровода нлн бурили при сорока градусах ннже нуля...) Говорнли мне, правда, и о нашей удалой безалаберностн, о любвн к перекурам, но это было не столь серьезно; главное, что здесь повернли в наше умение н в нашу искренность. В уменне н в нскрённость социалнзма, иначе говоря. Очень ннтересно сказала мне Дьердне Дало, техннк-химнк, начальннк лаборантской группы: «Вот пришла к нам советская нефть — мы думали, что хорошо, но в этом должно быть и что-то плохое. Не вернлн, не умелн вернть в добро, творнмое честно, без подвохов, без того, чтобы нзымать у нас взамен нечто ценное и необходимое. Вы не обижайтесь, но я говорю откровенно о том, как привыкание к новому обществу и новому образу жнзни должно было многое преодолеть в прежнем историческом опыте. Где-то в конце пятидесятых годов мы начали верить все тверже и в шестндесятых поняли, что иначе жить невозможно. Знаете ли, поменять герб на парламентском шпиле нетрудно — расплавить автогеном железный стержень и приварнть новый. Но какне стержнн расплавлялись в человеческих душах! Расплавились. Что было революционным для меня, стало привычным для детей монх. Они просто не поннмают, как бывает нначе; иногда я жалею даже, что не поннмают; знали бы прежнюю жизнь — больше эту ценилн бы. Впрочем, для моих роднтелей невероятным событием было уже то, что я пошла учиться и выучилась — отец очень скептически относнлся к моим претензиям на поступление в техникум, а теперь жалеет, что я не пошла в институт...

Была я в Москве, видела первомайскую демонстрацию — огромное впечатление! Людн шли, как будто понимали, что на ннх смотрнт весь мир. У вас очень политичные люди — именно политическая ответственность нх необыкновенно высока. У нас такой еще нет. Отсюда и самоотверженность ваших людей, ответственность н в мелочах н в главном. Вот былн у нас в лаборатории две советские специалистки в прошлом году — знаете как работали! У каждой из них — я же знаю! — в кармане был список того, что купить надо; обе первый раз за границей, в Будапешт им хочется. Но так работали, что н нам стыдно было лениться, стыдно было раньше срока уйти с рабочего места! И с ними интересно было... Очень у вас ответственные и самоотверженные

люди,— оттого, что мы все время встречаемся с ними, сами другими становимся...»

Парторг Дунайского нефтеперерабатывающего завода Ласло Зиманьи выводит меня на городскую площадь. У него жесты Петра I, закладывающего город на болотах, которому надлежит стать окном в Европу,— все в будущем. Ласло рассказывает мне о городе Сосхаломбатте, в котором будет тридцать тысяч жителей (сейчас — вдвое меньше), демонстрирует не существующие еще фонтаны, клубы и парк культуры. Собственно, все это есть — клуб, парки, фонтаны, но будет лучше, больше, просторнее. В центре будущей главной площади города — монумент венгеро-советской дружбы; две бетонные ладони с Вечным огнем, пылающим в них. Вокруг завтрашний парк, проглядываемый насквозь, потому что деревцам его по два-три годика и они не сблизились кронами, шелестят каждое по отдельности. Вечный огонь рвется из труб, соединенных в связку, похожую на концертный орган, увиденный сверху, но Вечный огонь безмолвен, и мы с Ласло Зиманьи молча глядим на него. «Все по-новому,— говорит парторг после паузы.— Хожу по цехам, приглядываюсь. Понимаете ли, мы стали чуть-чуть самоуверенны, это плохо. Молодые не столь экономны: старики работали как в аптеке, а молодые — как в гастрономе. Я сам еще молод, и думаю, почему это мы так вот сразу перестали бояться возможных бед и напастей? Жизнь моих родителей прямо переполнена была ожиданием неприятностей...»

Идем в кафе, где официант приносит не заказанный нами коньяк и с выражением лица, общим для обслуживающего персонала мировой системы общепита, искренне убеждает нас, что коньяк был заказан. Деваться некуда, опустошаем свои рюмки, запивая плохой коньяк великолепным венгерским кофе; где бы я ни пил кофе в этой стране, плохо сваренного не было почти нигде. Зиманьи рассказывает мне о том, что близлежащий Будапешт сманивает людей в свои кафе, театры и парки — отдыхать в Сосхаломбатте никто не привык, разве что многодетные домоседы. Театра в городе нет, а договор со столичной труппой имени Мадача остался формальным актом, зафиксированным в анналах демонстраций содружества работников умственного и физического труда, но никак не реализовался в спектаклях на сцене

Сосхаломбатты. Вспоминаю такие же показушиые соглашения, которых, что греха таить, достаточно и у нас...

Размышления об уроках содружества и сотрудничества всегда поучительны. Сейчас, когда мы достигли высочайших степеней откровенности, настала пора обобщений. Пока ученые аккуратно формулируют свои выводы иа страницах академических монографий, мы размышляем, тех монографий не ведая. Сейчас, когда я перелистываю свои сосхаломбаттские блокиоты, мне особенно интересеи процесс осмыслеиия достигнутого, изложение уроков, извлекаемых из работы каждым — в данном случае из работы у нефтяных рек.

«Ну ладно,— сказал мне Ласло Ваппел,— я вам скажу иечто приятное, если вам еще ие надоели и еще желательны уверения в том, что прошлое, иастоящее и будущее Сосхаломбатты немыслимы без Советской страиы. Но, понимаете ли,— и это не очень хорошо, по-моему,— ие часто мы задумываемся о том, чем является для нас дружба со Страной Советов. Не спросили бы вы, и я, может, не задумался бы. А сейчас вот хочу сказать, что мой личный вывод прямо-таки совпадает с марксистским тезисом о роли труда в формироваиии личности: ведь иастоящее взаимное уважение возникает в труде для общей цели. Вот мы вместе работаем, плечом к плечу трудимся ие один уже год, поэтому и смогли так сблизиться. Мы, веигры, хорошо знаем вашу живую жизнь, это очень важно, потому что мы увидели, разглядели все вплотную,— уже и в Рязань ездим, и в Прилуки, и в Ярославль, и в Кострому, в рабочих общежитиях пожили, в столовках, не охваченных «Интуристом», поели котлет с макаронами. Пока иас возили только в Третьяковку да в Оружейиую палату, было не так, было парадио; а теперь вот мы иастолько приблизились друг к другу, что видим все вплотиую. Тут уже другая опасность — сохранить бы перспективу...

Мне лично советские люди просто помогли обрести мир, в котором живу. Я окоичил в Леиииграде Технологический институт имени Ленсовета, приехал в Сосхаломбатту. Здесь в то время группой советских специалистов руководил Василий Тимофеевич Козлов из Рязани, он обрадовался мие, тем более что в дипломной работе я проектировал установку, схожую с намечен-

ными к постройке на Дунайском заводе в начале семидесятых. Мой дипломный ленинградский чертеж поспел как раз вовремя. В то время, в 1969 году, завод был — третья часть нынешнего, так что было где развернуться. Но все происходило в контакте со специалистами из СССР: вместе монтировали, вместе выбивали несвоевременные поставки (хорошо запомнилось новое русское слово «толкач»), вместе праздновали пуск новых объектов. Надо сказать, что оборудование из Советского Союза идет самое лучшее, иногда и у вас еще не везде такое ставят. Мне Василий Тимофеевич Козлов говорил, что так и должно быть, потому что для вас, внутри страны, это вопрос экономический, а для нас — политический. Он, кстати, такие разделения делал условно, потому что политика с экономикой связаны накрепко; но идея перевести меня в заводские экономисты из цеха, где непосредственно перерабатывалась нефть, принадлежит ему. Козлов убедил меня в том, насколько больше пользы может принести в руководстве человек, для которого нет производственных тайн. Василию Тимофеевичу нравилось, что у нас работают аккуратно и чисто, он всегда сравнивал цехи советских заводов с нашими, радовался, что мы планируем и строим с перспективой. У нас ведь некоторые нефтяные емкости еще ни разу не заполнялись: мы сдаем их в аренду, местные кооперативы хранят в них осенью вино...»

Завод виден насквозь, только некоторые цехи и некоторые машины уведены за стены или под шиферные навесы. Самые чувствительные к внешним условиям барабанные вакуум-фильтры и компрессоры стоят в помещениях, потерявшихся в океане открытых ветрам и солнцу сияющих труб, цистерн и колонн. Здесь вправду очень чисто и постоянно ощущаешь, как люди ценят и любят свой Дунайский завод,— так по чистоте в квартире можно ощутить отношение хозяев к жилью.

(Советский рабочий из Ярославля Александр Флегонтович Миронов рассказывает мне в обеденный перерыв: «Вот забыл я свои ключи разводные на площадке, ну, думаю, пиши пропало. Ан нет, прихожу назавтра, они аккуратно так же лежат на столе, все до единого. Привезли нам вон тот силикатный кирпич — так они же его руками разгрузили на поддон, сложили в штабелек, еще

и пленкой полиэтиленовой обернули. А чтобы кирпич из самосвала на асфальт вывалить, так это у них ни-ни... И нулевой цикл доводят до полной вылизанности, строить приятно с таким нулевым циклом. Берегут и уважают заводской ритм...»)

Даже ничего не смысля в технологии, можно многое понять, просто проходя по Сосхаломбатте. День за днем я приезжал в цехи и чем больше ходил по ним, тем больше хотелось пересказать хотя бы несколько встреч с работающими на Дунайском нефтеперегонном заводе; технологию обработки нефти я здесь не расписываю, это вы найдете в любом учебнике. Или хотите, чтобы я рассказал, каков процесс переработки именно в Сосхаломбатте?

Первой стадией переработки нефти является фракционная переработка, осуществляемая на четырех установках атмосферной и вакуумной перегонки. В их атмосферной части получают фракции светлых продуктов (бензин, керосин, дизельное топливо). Остаток — мазут — разгоняется на масляные дистилляты и гудрон в вакуумной части установок. Прямогонные фракции бензина, полученные на трех установках АВТ, направляются для дальнейшего разделения на узкие фракции в установку вторичной перегонки. Фракция с температурой кипения 62—105 градусов является сырьем для ароматизации.

Достаточно? Я же вам говорил: если кто-то принимается за чтение этих очерков, собираясь постичь сокровенные тайны крекинга, то лучше прочесть учебник.

«Учебник? — говорит мне опытный Янош Тот, руководитель отдела смазочных масел.— Я учебники по-настоящему раскрыл через несколько лет после Освобождения, уже совсем взрослым человеком. Работал с нефтью на Чепеле и учился. Очень хотелось учиться; еще в молодости пришел как-то я к совещающимся инженерам и заглянул в их расчеты. Инженеры начали хохотать, а один из них похлопал меня по спине и сквозь смех выговорил: «Это не твоего ума дело, не суйся, пастушок!» Очень хотелось учиться. Жизнь моя и моих родителей различны по уверенности и по перспективе, а не только по отношению к нефти. Какие там технологии и лабораторные столы! У нас в деревне еще

в сороковые годы учитель говорил школьникам, когда начинался дождь: «Если завтра погода будет такая же, не приходите в школу, учение вам все равно ни к чему; вот выглянет солнышко — приходите, я вам еще что-нибудь расскажу...» Новое достоинство у нас, новая уверенность. Что касается нефти и прочего, то, понимаете ли, нам и другие страны давали многое, но мы не все брать хотели, потому что кровью и жизнью Венгрии приходилось расплачиваться. А Советский Союз дает *не унизительно и надежно*. Вы не представляете, до чего важно не только то, *что* дают, но и *как*. Мы ведь стали умной нацией, все понимаем...»

Сижу за журнальным столиком в квартире Арпада и Аллы Ковач и говорю о том же: как живете, как вам работается? Алла Ковач — ленинградка, восемь лет назад они с Арпадом поженились, еще когда учились в Ленинградском горном институте, и уехали к мужу на родину. «Мама,— говорит Алла,— очень расстроилась, когда последний раз гостила в Сосхаломбатте,— я, говоря о Венгрии, сказала: «У нас...» Но ведь это и вправду родной дом. Я начинала с нуля — без языка, без знания условий, только лишь с дипломом советским. Была напряжена, как струна,— любой косой взгляд довел бы меня до истерики, до немедленного бегства домой. Поверьте, не было ни одного косого взгляда, помогали, охаживали меня, даже благодарили, словно я — это Советский Союз. С таким удовольствием иду на работу! И детям в садике хорошо — миллион друзей и никаких проблем...» Дети согласно кивают и бросаются на красивые круглые бутербродики неимоверно заграничного вида, которые мама приносит к столу. «Дети!» — восклицает Алла Ковач, улыбаясь двум веселым мальчишкам, и виновато глядит на меня. За окнами — гладкая степь с шоссе, уходящим в сторону Будапешта, и выгороженными квадратами завтрашних фундаментов города Сосхаломбатты.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 7

Далее последует подробная справка, необходимая вам, читатель. Привожу ее по серьезной книге, все данные совершенно официальны, подумайте над ними.

«Для стран СЭВ нефть имеет огромное значение. При этом речь идет не только о топливе для автомобилей и самолетов, потому что бензин, дизельное топливо, смазочные и моторные масла — лишь небольшая часть того огромного количества продуктов, которые получают из этого удивительного вещества. Нефть — необходимый компонент любого промышленного производства. Ни одно предприятие не сможет работать без нефти или ее производных... Из 7 млн. т нефти можно получить столько продукции, сколько из 100 млн. т бурого угля...

По данным СЭВ, использование горючего и энергии с 1971 по 1990 год возрастет в 2,5 раза. Этот прогноз явился результатом анализа, данные которого были оглашены на XXIX сессии СЭВ в Будапеште. Сессия еще раз указала на важнейшее значение советских запасов полезных ископаемых для других стран — членов СЭВ. На долю СССР приходится 95 процентов всех запасов угля, нефти, газа, 98 процентов железной руды, 100 процентов фосфатов, 80 процентов калийных солей. Советский Союз поставляет странам СЭВ 90 процентов импортируемой ими железной руды, 60 процентов каменного угля и марганцевой руды, 75 процентов фосфатов, 80 процентов строевого леса... В 1976—1980 годах намечено увеличить поставки топлива на 43 процента по сравнению с 1971—1975 годами. Около половины этого объема составят нефть и нефтепродукты».

Эту справку я привожу по авторитетному изданию — работе немца Фреда Меркса «Черная кровь». Это очень интересное исследование о том, как черные нефтяные реки последовательно разделяют народы, становятся источниками не только энергетическими, а источниками войн, шантажа, бедности. Данные о нашей нефти выне-

сены в отдельный раздел. Наша страна принципиально не похожа на мир, отвергнутый ею, так же и отношения наши с другими странами выстроены по-новому. Это очевидно, что бы ни врали о нас. Именно потому, что мы стремимся устраивать жизнь иначе, писать дегтем неправду на наших воротах будут еще долго: ведь каждая социальная система использует свой деготь по собственному усмотрению. Но цифры, приведенные выше, усердно замалчиваются. Как и то, что мы продаем нефть социалистическим странам по ценам, которые ниже сложившихся на мировом рынке. И то, что рассчитываться с нами можно не только звонким золотом, как с прочими экспортерами нефти. С нами можно рассчитываться зеленым горошком, автобусами, модными платьями и прокатом цветных металлов; мы ввели нефть в общую систему поставок; мы ввели торговлю в общую систему отношений с другими народами. То, что нас очень не любят страны и социальные системы, поступающие иначе, лишь свидетельствует о четкости советского образа отношений с другими народами. Во всяком случае, оттого, что мы добывали в минувшем году более полутора миллионов тонн нефти и газового конденсата ежедневно, теплее стало не только нам.

А теперь, чтобы ввести сказанное в систематический ряд примеров, я приведу еще одну справку — это уже из недавней «Нью-Йорк таймс». «В настоящее время,— пишет специальный помощник президента США Питер Борн,— Соединенные Штаты находятся на 12-м месте из 18 основных промышленно развитых капиталистических стран, оказывающих помощь. За год США тратят в 17 раз больше на военные расходы и в 6 раз больше на производство алкоголя, чем на официальную помощь...»

Так что все социально и все объяснимо, если, разумеется, искать объяснений. Во многом это разговор о категории, именуемой «образ жизни». Так вот живут люди на свете, и страны вот так живут; каждая посвоему...

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 8

«Вы уже знаете, как народ умеет работать. Вам это нравится, и нам нравится тоже. Но не менее важно убедиться в том, что народ умеет думать. Даже интересно, как быстро люди умнеют. Вы никогда не пробовали высчитать, как, за какое время и при каких обстоятельствах народ умнеет?» — Доктор Яи Санто, заместитель директора Института вирусологии Академии наук Словакии, задает вопросы очень быстро и так же быстро бросает взгляды мне в лицо.

Я заехал сюда, в очередной раз направляясь на «Словнафт», и длинный корпус возле шоссе не произвел впечатления гигантского — по крайней мере снаружи. С инженером Игорем Михаличем, сотрудником Союза писателей, который по доброте своей сопровождал меня в Братиславе, мы поспорили о категории почти метафизической, называемой «народная репутация». Эта тема нам казалась до того важной и до того не хотелось завершить обсуждение чисто теоретической дискуссии, что мы даже притормаживали по пути и, широко жестикулируя, продолжали спор, вышагивая по придорожной траве.

Родная сестра Михалича вышла замуж и уехала в Новую Зеландию; мы немного поспорили на темы новозеландского житья-бытья и пришли к выводу, что словачке очень трудно будет акклиматизироваться в очень далеком и чужом крае, где времена года текут наоборот, а люди передвигаются вверх ногами. А почему? Я видел прекрасно ассимилирующихся немцев, финнов и португальцев. Что, словаки иначе устроены?

Инженер Михалич разводит руками: «Иначе. Мы еще только начали привыкать к своему собственному дому, к тому, что где-то на свете есть солнце, земля и вода, которыми можем делиться с миром как хозяева... Знаете, как долго и настойчиво словаков приучали к тому, что они бессмысленны, бездарны, что они не нужны никому, даже себе. Это так важно — иметь дом для собст-

венного народа. Если такой дом есть и ты это понимаешь — невозможно уйти!»

Доктор Ян Санто повторяет вопрос о том, как быстро народ умнеет. Он спрашивает меня о впечатлениях от промышленности, о том, как понравился «Словнафт», и вдруг очень серьезно предупреждает, чтобы во всех разговорах я вдумчиво разделял красивые чаяния, высокие планы и реальные, конкретные факты. «Мы любим фантазировать, мы еще только учимся точности государственного мышления. Думаете, сразу это дается?

Институт вирусологии основан в 1953 году,— видите ли, нельзя вырывать из контекста народной жизни что-то одно. Надо помнить об институте, когда думаешь о нефти,— все ведь было в одно время. Тогда же уверенно строился «Словнафт», металлургические комбинаты и химические заводы на востоке и юге Словакии; одновременно с производственными корпусами строились корпуса для институтов и лабораторий новой Академии наук.

К нам приехали советские ученые. Академик Блажкович принимал здесь советских академиков Здродовского, Чумакова, Павловского, Смородинцева. Первые научные темы делали мы совместно, до сих пор многие проблемы решаем именно так...» — все это сказал мне доктор Рудольф Брезина, руководитель отдела. Доктор Брезина очень известен в ученом мире. Когда в африканской Руанде началась эпидемия сыпного тифа, Всемирная организация здравоохранения командировала туда именно его. Доктор Брезина и его отдел совместно с советской экспедицией были в 1963 году и в Кемерове, выделили там неизвестный еще вирус клещевого энцефалита — это было открытием всемирным. Что и говорить, за четверть века своей истории институт приобрел репутацию высочайшую. Вот и год назад проводился конкурс на стажерские места для желающих подучиться у словацких вирусологов. Конкурс был выше, чем при поступлении на модные факультеты университета,— 60 человек на 15 мест, даже один американец из штата Монтана просился в братиславскую науку...»

Этот удивительный институт поражает не просто как учреждение исследовательское. Такие заводы и такая Академия наук, такие специалисты в стране, которую еще на нашей памяти лихие публицисты окрестили

«Конго в сердце Европы»,— это явление социальное. Это было недавно, сорок с небольшим лет назад. Все-таки мир, распахнувшийся доброжелательно и широко, воспитывает широту взгляда на себя и широту мышления.

«А что Советский Союз? Все — Советский Союз! Мы возникали при такой вашей помощи, что теперь делаем любые свои разработки и всякий раз понимаем (а только с институтами Москвы и Ленинграда у нас семь общих тем), что все это не одна наука — мы возникали соединенно с вами — и давно уже ушли за рамки официальных соглашений по сотрудничеству,— доктор Ян Санто знакомит меня с очаровательнейшей сотрудницей и смеется.— Светлана Присташова пятнадцать лет назад закончила университет в Киеве. Там у нее была, конечно, другая фамилия, да вышла девушка замуж за нашего исследователя...»

«Далеко уехали»,— говорю Присташовой. Та удивляется: «Почему же далеко? Вы, может быть, не поверите, но мне ни разу не дали понять, что я родилась и выросла не в этом мире. Собственно, я и вправду ведь в этом мире выросла. Общий мир... Все рядом...»

Сестра инженера Михалича вышла замуж в Новую Зеландию, и ее как отрезало: далеко это и вверх ногами. Антиподы.

И все-таки до чего все интересно! В стране, где не было ровным счетом ничего, кроме объектов для сочувствия, сформировались мировые центры науки и производства. Чувство свободы и чувство владения своим домом! До чего же великолепна неудержимость этого процесса, когда в душе и в жизни народа происходят великие события и народ в тысячу раз полнее распахивается перед миром и перед самим собой...

Мы с инженером Михаличем едем к центру города. «Как важно все это — возникновение веры в свою силу, в свои возможности,— говорит он.— Нет, вы поглядите на лица этих людей! В атобусе такого не ощутишь, там все похожи, а расходятся по рабочим местам — и какие люди! Если бы я писал, то так бы и начал: «Когда поразмыслишь над таким институтом по пути на «Словнафт...» Молча пересекаем новый район города.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 9

Это просто удивительно, как все на свете оказывается в конце концов в надлежащем месте. Совершенно не знаю исключений из этого правила: ни для людей, ни для денег, ни для дворцов, ни для корон. Кстати, о коронах — не о чехословацкой денежной единице, название которой тоже происходит от монархических реквизитов, а о «металлическом, с украшениями головном уборе монарха, являющемся символом его власти» (так гласит словарь русского языка, составленный С. И. Ожеговым).

На старых государственных регалиях буржуазной Венгрии чеканилась корона с покосившимся крестом на верхушке — «венец святого Стефана», многократно провозглашенная символом государственности. За свою бурную жизнь корона многое повидала, но в XX веке судьба ее сложилась окончательно. Короне пришлось очень нелегко, когда она свалилась с головы последнего Габсбурга, а затем особенно — когда настал март 1919 года.

В марте 1919-го в Венгрии была провозглашена Советская власть — это была первая Советская республика после декларированной в Петрограде. Будапештская Коммуна продержалась ровно сто тридцать три дня. Когда палачи, щедро оплаченные монетами с короной на аверсе, вешали пленных революционеров на уличных фонарных столбах, никто еще не говорил о том, что завтрашние проспекты назовут именами героев. Не до вечной славы было и не до вечной памяти — Будапештскую Коммуну громили безжалостно, так, чтобы раз и навсегда. Расстреливали, выжигали до пепла Советскую республику Словакии — она, вдохновленная Будапештской Коммуной, была провозглашена в июне 1919-го и, продержавшись три недели, рухнула, не сдав без боя ни одной баррикады. Владимир Ильич Ленин писал тогда в своей работе «Привет венгерским рабочим»: «Вы ведете единственно законную, справедливую, истинно революционную войну, войну угнетенных против угнетате-

лей, войну трудящихся против эксплуататоров, войну за победу социализма. Во всем мире все, что есть честного в рабочем классе, на вашей стороне». Это было время, когда нашу собственную Республику Советов душили столь же безжалостно и теми же руками топили ее в крови. Но мы выстояли. Множество интернационалистов из Венгрии и Словакии после разгрома их революции ушли отстаивать нашу, потому что Революция была общей и звалась она пророчески — Мировой.

На шпиле будапештского парламента оставался герб с тремя шишками патриотических гор, и корона с покосившимся крестом чеканилась на монетах, печаталась на государственных кредитных бумагах, и через год адмирал Хорти именем этой короны установил в стране черную диктатуру.

Корона с покосившимся крестом возлежала на алой подушке, и подушка выглядела так, что нажми на нее — засочится кровь.

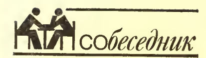
Кровь лилась обильно, а когда затем корона исчезла, кровь тоже лилась; рельеф короны чеканился на деньгах, которые ничего не стоили, потому что ничего не стоила свергнутая власть, стоявшая за мертвой короной.

Но Будапештская Коммуна воскресла. Час за часом прирастали к тем ее первым ста тридцати трем дням, сращиваясь в десятилетия.

...В Национальном музее, что в двух кварталах от набережной Дуная, выставлена сегодня тысячелетняя корона Венгрии с инвентарной биркой. Стоит она в небольшом зальце на втором этаже, на стенах увеличенные фото деталей возвращенной короны. Королевский венец, оказывается, был украден фашистами в 1944 году; после почти трех с половиной десятилетий отсутствия корона приехала в Будапешт из-за океана, где ее прятали очень долго и безуспешно. Впрочем, сто тридцать лет назад корона переживала тоже невеселые времена: ее на четыре года вовсе зарыли в землю. Но в тот раз корона спаслась: ее отрыли, возложив на голову Франца-Иосифа, того самого императора, чей портрет засиживали мухи в швейковской пивнушке «У Калиха». В те времена корона жила затворницей, ее извлекали на свет лишь по торжественным датам. А нынче все просто: с прочими экспонатами наравне выставлена она в постоянную экспозицию, потому что в календаре у Венгрии

не осталось торжеств, по случаю которых венец, неведомо когда сделанный, мог бы снова символизировать нечто государственное, устрашающее и сильное. Нет уже такой власти, и нет государства такого. Кончилось почтение: на корону глядят, как мы на шапку Мономаха в Оружейной палате Кремля.

Люди медленно движутся мимо часовых (скорее сторожа в форме, чем почетный караул в зале музея); люди шутят, разглядывают увеличенные детали короны (тема для размышлений об исторической справедливости). Когда-то имперские идеологи Австро-Венгрии любили писать, что простых венгров научили обнажать головы перед каждым, кто символизирует власть. Нынче перед каждым будапештцем и каждым гостем столицы лежит венец, сдернутый с головы последнего короля,— монархию заставили снять ювелирную шляпу перед народной республикой. Будапештская Коммуна возвратилась, и корона — в кунсткамере у нее.



«Давайте поразмыслим спокойио,— сказал мие Яи Фериаиц, заместитель председателя Госплаиа Словакии. — Мы ведь зиаем, что делаем. В достигнутом иашей республикой иет иикаких нелогичиостей. Напротив, я могу вам сейчас иазвать цифры иаших достижений, иамечеииых иа будущий или даже более отдаленные годы. Мы ведь совсем ие похожи иа того мальчика, что гулял-гулял по чистому полю, а после разогнался и — прямо на соревноваиия, сиганул на такую высоту, что все ахиули. В наших серьезиых делах мы ие хотим иикаких спортивных виезапиостей; сильиая стороиа жизии иашей в том, что жизиь эта была подготовлеиа, закоиомерио вызрела у нас и победила. Закоиомерио!»

Ян Фериаиц сделал паузу, порылся в красиой глянцевой пачке и выудил из нее сигарету. Оглянулся вокруг, отхлебиул кофе — все это сосредоточеино, все это в раздумьях о чем-то очеиь удалеииом от комиаты, где мы встретились, от сигареты, от кофе. Яи Фериаиц продлил паузу еще иа несколько десятков секуид и повернулся ко мие: «Не иадо сиисходительио рассуждать о том, как малеиький и иесчастиеиький иарод Словакии погряз в исторических потемках. Это было бы иеправдой. Мы, если хотите, в своей судьбе — часть всемирного великого процесса ликвидации угнетения и тираиии. Перерывов в истории ие бывает. Мы созревали имеиио для той жизии, которой сейчас живем; у иас имеиио те друзья, которых мы мечтали иметь и которыми гордимся. Все по логике истории. Пусть в прошлом у иас была простая честиая трудовая репутация пахарей, сеятелей, рабочих; оиа вовсе не исключает того, как мы умио и совремеино живем сегодия. И еще одио: в такой ситуации, как наша, неожиданио опасными стаиовятся некоторые деятели искусств — имеиио как воииствующие провииициалы. Ведь куда легче воспевать, идеализировать, придумывать иаше цимбальио-фольклориое прошлое, чем осмысливать настоящее...»

Ян Ферианц — человек средних лет, очень подтянутый и очень занятой. Собственно, быть полноценно занятым, а не суетливым может лишь человек организованный и собранный. Как Ян Ферианц. Мы нарочно договорились, что встретимся после четырех часов дня не в Госплане, а в Союзе писателей. Дело в том, что за полчаса до окончания рабочего дня в кабинетах словацкого Союза писателей (и всех прочих союзов писателей, которые мне известны) никого уже нет; сотрудники разбегаются с такой скоростью, словно у входной двери подложена мина с часовым механизмом, которая вот-вот со страшной силой бабахнет. В Госплане Словакии (и всех прочих госпланах, которые мне известны) рабочий день не кончается никогда; поэтому назначать там свидание, да еще и с руководителем,— только время терять. И мы с Яном Ферианцем встретились в четыре в кабинете секретаря Союза словацких писателей...

Я много слышал об интеллигентном руководителе Госплана именно от литераторов Братиславы; договариваясь о встрече, мы определили с Яном Ферианцем, что просто «поговорим»,— тему не следовало формулировать более точно, тем более что статистика Ферианца переполняет, он может сыпать числовыми выкладками без остановки, я в этом убеждался сам.

Но все-таки это не книга о цифири. Вы, дорогой читатель, можете найти множество других сочинений, где сосредоточенно приводятся все проценты и все расчеты, все планы, выполненные и только еще намеченные. Я вовсе не собирался писать еще один такой сборник, а если бы и собрался, то Ян Ферианц не мог бы стать героем его: он не констатирует, а комментирует факты.

Сказанное Ферианцем в начале нашего разговора очень точно в отношении к современности; это вообще одна из отправных точек моего путешествия — неприятие любых попыток разодрать народную историю на куски. Каждый народ формирует свою судьбу в течение долгих столетий — и беспрерывно; самые крутые повороты истории логичны, если задуматься, а решающие повороты — результат всенародных усилий. Посему бессмысленно устраивать засады против современности в прошлом, пытаться отмотать исторический фильм в обратном направлении, сыграть его с новыми героями и

сначала. Ни у кого еще не получалось это, хоть пробовали не раз.

«И не получится,— говорит мне Ян Ферианц.— Ведь борьба против логики, в том числе исторической,— безнадежное дело. Вы знаете, в любезном моему и вашему сердцу процессе поставок нефти тоже есть Большая Историческая Логика. Мы, западные славяне, закарпатские славяне, словаки — зовите нас как угодно,— всегда видели в собственном стремлении на Восток путь к спасению. Мы, понимаете ли, других своих соседей давно уже проверили на дружелюбие и знали, что окончательно положиться на них трудно, хоть ладить мы научились со всеми. Но тепла — не просто душевного, а элементарного физического тепла, источников энергии — нам всегда недоставало. Практически наш энергетический кризис длится сто лет беспрерывно и до изобретения автомобиля и после его изобретения — с 1848 по 1948 год. Бурый уголь из Чехии не решал проблем совершенно, а нефть оставалась мечтой, экзотическим продуктом, который необходим, но который неоткуда взять. Собственные нефтяные залежи были чисто символическими, в серьезный расчет принять их было нельзя.

Судите сами. Молодой социалистической Чехословакии надо было развивать промышленность на современном уровне. Без энергетики такое развитие невозможно. Собственно, мы пробовали многое, но только в пятидесятые годы, начав углублять свое сотрудничество с другими социалистическими странами, особенно с вашей страной, начали выходить из многих, в том числе энергетических, тупиков. После 1963 года мы уже впрямую включились, например, в общую электрическую систему социалистических стран — обязательно увидите в Восточной Словакии, это недалеко от Кошице, пункт, где система «Мир» вводит свои провода на территорию Чехословакии. Я не буду даже пробовать объяснить вам несколькими словами все многообразие нашей энергетики — с 1972 года мы начали строить еще и атомные электростанции. Скажу только, что без советской нефти мы как современная держава не могли бы существовать: хоть это одна лишь часть энергетики нашей, химии, теплофикации, но важнейшая!

Снова-таки идейная сторона дела чрезвычайно важна, о ней надо помнить все время. Если бы мы, напри-

мер, покупали иефть на золото у арабскнх шейхов, иас бы разулн н разделн н мы нн в чем не былн бы увереиы инкогда. То цены повысят без предупреждения, то пересмотрят поставкн. За советскую иефть мы платим по ценнннкам, твердо устаиовленным иа несколько лет вперед, и цеиы эти гораздо ннже мировых; мы можем рассчнтываться за советскую нефть товарамн, а не золотом; мы можем плаинровать вашн поставкн н работу собственных предприятнй перспектнвно,— ин на однн день н нн на одии грамм вы ие нарушнли поставок нн разу за все долгне годы. Вот образец отношеннй между странамн, о которых должен знать мир. Не о том, зачем иужна иефть,— об этом, кажется, уже все знают. А о том, как нефть нн разу ие была нспользована нн для экономнческого, ин для политнческого шантажа. Ни разу! Вот урок Советского Союза не только нам — всему миру!

Порядочиость в отношениях между государствамн н между народами, объединеиимн в государствах, всегда была понятнем классовым — все с этим согласны. Так же точно, как с первых лет Революцин нас шантажнровалн каждой пригоршней зерна и каждым внитиком, которые мы хотелн бы купнть у капиталнстов, так н Чехословакня подверглась экоиомнческому бойкоту капиталнстнческих страи иемедленно после февраля 1948 года, когда к властн пришли коммуннсты во главе с Клементом Готвальдом, твердо сказавшнм: «С Советскнм Союзом — иа вечные времена!» Избрав путь к соцналнзму, Чехословакия обрела и всех его врагов. Начав строить отношения с государствами на принципах равеиства, Чехословакия совершеино точно узнала, что далеко не все намеревались разговарнвать с ией иа равиых. Те, кто прежде любнл покрнкнвать, теперь иачинали ворковать, но смысл воркований и окриков оставался прежнним: чехи и словаки получат от Запада иечто прнятное и даже, может быть, полезное н вкусиое, если протяиут шляпу перед собой и пропоют иа весь мнр фразу вроде той, под которую Воробьяншнов попрошайннчал у «Цветнnка»: «Мсье, же не манж па... Гебен зн мир, бнтте. Подайте что-ннбудь депутату Государственной думы...» Чехи н словакн не попроснли — на инх очень и иадолго разобиделнсь, если можио счнтать за обнду чье-то нервное отношение к твоему чувству собственного достоии-

ства. Впрочем, времена в мире катастрофически изменились. Судя по всему, процесс этот давний, потому что, тоскуя по нравам изысканным и привычным формам общения, еще полковник — однополчанин незабвенного Швейка — вспоминал: «Нету нынче среди офицеров того чувства товарищества, какое было в наше время. Бывало, каждый офицер старался хоть что-нибудь привнести от себя в общее веселье. Поручик Данкель (был такой), так тот, бывало, разденется в клубе донага, ляжет на пол... и изображает русалку». Конечно же тем, кто привык командовать в прежней Европе, трудно было приспособиться к жизни, при которой послушные когда-то народы отказываются изображать интеллигентных нищих или кафешантанных наяд. Иерархия изменилась. Кстати, Гашек, бывший одним из активистов демократического движения среди чехов и словаков в начале века, причастен к изменениям не только книгой о Швейке... Для современной Словакии неоценимо важным был выход из униженности. Новое собственное достоинство конечно же связано с Советской страной и ее опытом».

Ян Ферианц перечисляет мне кризисы, очень жестоко бившие по буржуазной Чехословакии, а по аграрным, отсталым словацким районам и вовсе немилосердно.

«Слабых бьют дважды,— несколько раз повторяет Ферианц старую поговорку и добавляет: — А глупых вообще без счета колотят. Словакия как современная нация формировалась в условиях капитализма, необходимо помнить об этом. Кризис за кризисом обрушивались на нас — до глубочайшей депрессии 1929 года, приведшей к полному экономическому развалу. Со второй половины тридцатых годов фашистская Германия неотвратимо проглатывала одно наше предприятие за другим, окончательно делая маленькую Словакию сырьевым придатком большого рейха, все туже пристегивая ее к своей военной упряжке, выжимая экономику до капли. Что нам было, скажем, до нефтеперегонного «Аполо» в Братиславе? Чужая нефть, чужие хозяева и продукция, уходящая за рубеж... Словакия принадлежала народу едва ли больше, чем золотые и алмазные копи сегодняшней Южной Африки принадлежат тамошнему коренному населению.

Давайте больше думать и говорить о духовных процессах, изменяющих нашу жизнь. Иначе все разброса-

ешь по пунктикам и не сведешь вместе — нефть, университеты, дети, крестьяне... Ведь заводы и учебные заведения есть в любой стране мира, но самое главное — как они определяют качество жизни. Мы ведь совершенно с иных, чем когда бы то ни было, позиций оцениваем и обсуждаем свою жизнь. Поглядите сами: было у нас в сельском хозяйстве занято больше семидесяти процентов населения. Сейчас уже едва больше пятнадцати, а планируем, что вскоре будет одиннадцать процентов. Вот вам перестройка всей структуры, всего образа жизни, всего быта, по сути. Сейчас у нас урожаи ячменя и пшеницы на уровне высочайших в Европе, во всяком случае, свыше 50 центнеров с гектара — дело обычное. Настолько же обычное, насколько перед войной обычными были урожаи в 12 и 13 центнеров. Вот вам еще одно изменение в отношениях человека с землей предков, отношения эти стали куда лучше, человечнее, доверчивее, умнее, если хотите.

Мы были темным углом в центре Европы. А сейчас сорок тысяч ученых трудятся в научно-исследовательских центрах республики.

Не надо так на меня глядеть. Не делайте вид, будто вы устали от собственной победной статистики, будто вы все знаете! В таком притворстве — наш социалистический снобизм, сказал бы я. Вы же сами знаете: определят где-нибудь в Алабаме чернокожего школьника в первый класс, еще и полицейский водит его для безопасности туда и обратно — так их пропаганда поднимает такой тарарам на весь мир: в газетах пишут, по радио передают, ах, какое, мол, равноправие! А тут мы накормили, выучили, обеспечили работой, вывели в число самых развитых в мире народ, живший вчера еще на уровне алабамских негров, и, видите ли, нам это может показаться привычным, нас утомляет статистика... Пусть эта статистика врагов наших утомляет!

У нас прирост населения — один из самых высоких в Европе; разве это не значит, что люди с уверенностью глядят в свой завтрашний день, что они не только за себя — за детей спокойны? Ни в одном районе буржуазной Чехословакии никогда не было столько детей, причем детей выученных, умытых, одетых, сытых, обследованных врачами. У нас в высших учебных заведениях работает тридцать пять факультетов. Никто не переубе-

дит меня, мы просто обязаны размышлять над статистикой и заставить остальной мир размышлять над ней. Такого думающего общества, умного и человечного государственного строя не было еще. Как же необходимо, чтобы все о нем знали! Вы по-братски делитесь с нами нефтью — спасибо! Но главное — мы разделяем успех от реализации общей социальной идеи, и дружба наша — это целый комплекс взаимных уроков и уроков для всего человечества. То, что нефтепровод наш тоже называется «Дружба» — одна только сторона великого общего дела. А вы как считаете? Вы же собрались писать именно об этом...»

Вот хотят знать, как я напишу книгу. И в то же время во мне поселяется ощущение страны, в которой все цельно и едино, и невозможно писать о чем-то одном, не прикасаясь по очереди ко многим атрибутам такого предметного и такого цельного мира современной Словакии.

«Мы научились мыслить по-современному, а значит, научились ответственно относиться к миру, который принадлежит каждому из нас и всем вместе. Это, знаете ли, тоже советский, ваш урок — понимание того, что спасительная формула «всем вместе» не исключает, а, напротив, даже усиливает личную ответственность каждого.— Феранц улыбается.— Я приведу вам пример из сферы личного опыта. Дело в том, что не знаю, как у вас, а у нас в Словакии все любят иметь знакомое начальство, у которого можно что-нибудь выпросить «для общества», что-то непредвиденное и незапланированное, чем потом можно будет хвастаться. Очень это бывает смешно: так же, как и то, что словаки ходят к начальству не по одному, а непременно делегациями. Шутки шутками, но с тех пор, как я стал госплановским руководителем, никогда не приходят ко мне меньше чем по трое; один просит, другой поддакивает, а третий для устрашения бумажками шелестит. Вот так пришла несколько лет назад делегация из родной моей деревни Важец. Пришли и жалуются, что урожаи у них плохие, кооператив бедный. Словом, везде хорошо, а плохо только у жителей Важеца, той самой деревни, откуда, мол, происходит госплановское начальство, то есть я. А что у меня попросишь? Думали-думали мои земляки и спрашивают: «Что ты делаешь здесь?» А я отвечаю им, что,

мол, думаю, только и делаю, что думаю; предложил землякам поразмыслить вместе. И знаете, оказалось, ничего им не надо было выпрашивать, даже мелочи какой-нибудь. Просто надо было им подумать и вспомнить, что у нас в Важеце высокая влажность, обильная солнечная радиация, и подобрать растения, которые дадут лучший урожай, чем традиционная пшеница, которую земляки мои мучили на горных делянках. Так, вы знаете, они нашли какую-то траву, что вегетирует при минус семи градусах, и собирают по два-три урожая зеленой массы в год, скот развели, богатый кооператив стал — хоть куда! Вот я и повторяю им и не им, что думать надо, для того нам и дана такая страна. Мы за нее теперь отвечаем, нам думать надо о ее благе денно и нощно. Самое трудное — не только научить людей секретам переработки нефти. Надо, чтобы они думали как хозяева страны своей и судьбы... А для того, чтобы так мыслить, надо преодолеть все уроки гнета, все усилия тех, кто владел страной этой во времена, когда она принадлежала (или отдавали ее) чужим недобрым, унижающим народ властям».

Этим людям уже тысячу раз внушали, что надо работать, и ничего больше. Им внушали, что словакам не положено думать, даже неприлично, и несвойственно это, и нетрадиционно. Были отработаны многие способы унижения целых наций, снижения их до уровня жителей заповедника для богатых туристов, до уровня трактирных скрипачей и вокзальных носильщиков, не выше. Возвращаясь к советским урокам, в том числе к Уроку Нефтепровода, надо непременно помнить, что широкая река советской нефти пошла в страну, из которой и собственные-то капли нефти всегда откачивали за рубеж...

Стоп! В этом месте я делаю паузу, необходимую для того, чтобы перейти в другую страну. Да простится мне сейчас географический скачок, потому что пишу я о закономерностях не столько национальных, сколько социальных. Вот и решил я прийти в Будапешт прямо из Братиславы; в Госплан из Госплана, от Яна Ферианца к одному из руководителей Госплана Венгрии — Кароли Грислишу.

Если Ян Ферианц происходит из деревни, да еще горской, прижавшейся к склонам Татр на высоте 850 мет-

ров над уровнем моря, то Грислиш формировался в кругах, близких к аристократии. В детстве он подрабатывал на жизнь тем, что собирал мячи возле частных теннисных кортов, мать работала в богатых домах поденной прислугой. Кароли Грислиш — ироничный человек, по манерам может показаться даже этаким представителем изысканной европейской публики. И в то же время он до того точно и серьезно умеет говорить о хлебе, что понимаешь, каким голодным и непростым было детство этого человека. Манеры — от желания солидно и достойно представлять свою страну; он, Грислиш, никогда не считал, что расхлябанность поведения и одежды утверждает демократизм. Скорее наоборот: Грислиш говорит о своем отце, который был рабочим высочайшей квалификации и всегда учил детей именно рабочему достоинству, определяющему классовую репутацию, что гораздо значительнее, чем репутация каждого из отдельно взятых людей.

Разговариваем в будапештском Госплане — огромном улье с застекленными ячейками сот; надо сказать, что мне никогда не нравились дома этого рода, восторженно именуемые журналистской братией «современными дворцами из стекла и бетона». Никакие они не современные, чувствуешь себя словно карасик в аквариуме. В древние времена в помещения без передней стенки поселяли людей, которых собирались тяжко наказывать, заставив жить в этакой витрине. Ни секунды уединения. Впрочем, в нашем с Грислишем случае стеклянная стена, для меня по крайней мере, обрела смысл. Мы разговаривали, а под нами по узким древним улочкам Будапешта кружили автомобили, трамваи, пешеходы и велосипедисты; если сесть у окна и заглянуть в уличное ущелье, можно увидеть очень целеустремленный мир, мчащийся у подножия стеклянно-бетонного улья и тоже похожий на поток пчел, точно знающих, где их поляна и какие пасеки ждут их к вечеру.

«Нравится? — спросил у меня Кароли Грислиш.— А вот если вы включите сейчас любую из передач западных радиостанций, работающих на венгерском языке, то вам с подробностями расскажут, насколько люди эти переполнены мечтами о том, чтобы уехать на благословенный Запад и там загребать лопатой золото и разные разности, которых на Западе, как известно, хоть пруд

пруди. Что греха таить, наша пропаганда бывает не шибко поворотливой, но западная в передачах, о которых я говорю, уж точно прогадала, рассчитывая невесть на кого. Знаете, что забыли они? Из нашей маленькой Венгрии ежегодно выезжают за границу множество людей. Практически каждый венгр хоть раз в несколько лет, а где-то за рубежом бывает. У нас морей нет, страна маленькая, так что интересно поездить по свету, тем более что валюту любой страны можно приобрести в Венгерском банке за наши форинты. Так вот, выезжает из страны множество людей, а навсегда остаются за рубежом считанные единицы. Никто никого за фалды не держит, хочет человек остаться — пусть остается. Так ведь мало кто хочет оставаться, все едут обратно (а перед войной венгры, словаки, другие жители бывшей Австро-Венгрии считались в Северной Америке самой дешевой рабочей силой). Вот прошумели у нас подлейшие, снаружи заваренные события, связанные с контрреволюцией 1956 года. Ну и что? Те, кто и сбежал тогда сгоряча, сами обратно пришли, и Венгрия приняла всех, кто понял свою ошибку и чья совесть была чиста перед родиной. Сегодня уже все яснее ясного. Вот люди эти, что спешат сейчас по делам, они твердо сделали выбор, страна сделала выбор, и все, кто говорит, что социализм нам навязан, врут. Нам капитализм навязывали, но ничего не вышло! Самый главный поворотный момент в народной истории — свободный выбор; счастлив народ, который может сделать его. Наш народ выбрал».

Мы с Грислишем медленно перелистываем экономические сводки, в том числе о снабжении республики нефтью. Трубы «Дружбы» пришли сюда, одно из главных устьев экономики — рядом, в нескольких десятках километров от Будапешта, в Сосхаломбатте. Меньше семи миллионов тонн советской нефти в год сюда не поступало уже в течение многих последних лет. Этого вполне достаточно, более чем достаточно, потому что Венгрия даже сократила добычу бурого угля на нерентабельных шахтах, стала меньше его перевозить по стране, разгрузив железные дороги. Здесь все одно к другому — от того, что железные дороги стали посвободнее, до того, что в Будапеште стены стали почище и в городе исчезли вполне лондонские туманы, посещавшие столи-

цу, когда она отапливалась углем и копоть, смешанная с водяной пылью, делала дыхание невозможным, особенно для сердечных и легочных больных.

«Человек, имеющий печь на мазуте, а не на угле, хорошо знает, что такое советская нефть для него лично,— продолжает Грислиш.— Он может даже не знать, из какой синтетики сшита одежда его и сделан порошок, в котором он стирает одежду. Но венгры знают, почему им тепло, на каком бензине ездят автомобили и каким горючим заправлены самолеты «Малева». Люди массово знают — подчеркните эти слова — *массово знают*, что их благосостояние, жизнь, тепло в доме зависят от нашего сотрудничества. Кстати, еще один урок взаимодействия: мы выработали собственный, патриотический взгляд на события, но взгляд этот немыслим без ощущения, что ты — член великого содружества. Это я ведь вам не просто так говорю, чтобы сделать приятное советскому гостю. Люди мыслят интернациональными категориями. Такого никогда не было, а без этого нельзя считаться современной нацией и державой. Я вам приведу недавний пример: довелось лететь из Москвы вместе с группой венгерских крестьян района Эгер. Были они в Москве на ВДНХ с пятидневной экскурсией. Слышу, крестьяне высчитывают, сколько надо иметь им новой техники, о бензине даже не разговаривают: для них само собой разумеется, что бензин был, есть, будет,— привыкли. Подсаживается вдруг ко мне главный механик кооператива. Прослышал, что летит кто-то из Госплана одним рейсом с ними, и начинает мне рисовать на салфетке. «Нам бы,— говорит,— вот эти узлы взять от венгерского виноградного комбайна, а эти вот — от советского; такая машина была бы!» Ну, прямо СЭВ в действии, никаких сомнений даже у крестьян не осталось. «Надо взять это в Советском Союзе, это — у нас». Крестьяне узнали великие слова: *общее, вместе*. Да за одно это наше сотрудничество заслуживает золотого памятника! Вот и надо нам с вами поменьше расшаркиваться и раскланиваться без толку друг перед другом. Конкретные дела делаем! Так изменяются люди, словно деревья, которым тепло и солнечно, простите за такой поэтизм...»

Рождается человек. Мы строим трубопроводы, прокатные станы, выращиваем хлеб и печатаем книги. Но —

воплощением смысла всей этой работы — рождается человек. Я не могу вместить в эту книгу интервью со всеми, да и не надо. Вот здесь две беседы: с крестьянским сыном и сыном рабочего. Они выучились и наелись досыта точно тогда же, когда все остальные рабочие и крестьянские дети в их странах. И стали интеллигентами, образованнейшими людьми, точно тогда же, когда ими стали десятки тысяч детей вчерашних Венгрии, Чехословакии,— сейчас я говорю только об этих двух странах. А после они, выстрадав, отработав, завоевав свои жизненные позиции, разговаривали со мной, и трудно было разделить дни последовательных жизней, аргументы последовательных фраз, и не надо было ничего разделять.

Мы разговаривали, а по трубопроводам привычно шла нефть — именно советская нефть; но мы говорили о том, что именно Революция делает таким наше сотрудничество. Разговор этот был важен для нас, а велся для вас тоже, читатель, потому что для каждого народа и для каждого человека важен собеседник-единомышленник, которому веришь, как себе самому.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 10

Вначале немного статистики. Венгерский академик Йожеф Балинт опубликовал поучительные результаты своих исследований: речь идет о формировании профессиональной интеллигенции. Среди 597,6 тысячи представителей этой группы населения 331 тысячу, то есть 55,4 процента, составляют выходцы из рабочей и крестьянской среды. Среди остальных лиц умственного труда лиц рабочего и крестьянского происхождения 69,1 процента, или 629 тысяч на 910 тысяч исследованных. Вся нация становится иной. Изменения эти глубинны и поучительны для любителей потолковать о «народе вообще». Нет такого народа. Венгры, формирующиеся сегодня, образованнее, причастнее к современности, чем несколько поколений их предков были причастны к собственным временам. Это всего лишь одна из мыслей, пришедших в голову при взгляде на статистику сегодняшней Венгрии.

Во всяком случае, я не решусь немедленно оценивать названные процессы во всем их многообразии, разве что еще больше утверждаюсь в несогласии с частью моих коллег по литературе, упорно считающих, что низкий образовательный уровень родителей обязательно подразумевает высокие духовные качества у детей. Здесь — о другом: о том, как народ становится хозяином собственных судьбы и страны, о новом достоинстве людей, охотно творящих новую репутацию своей державы и собственную свою гордость. Это очень ответственно. Это уже не бряцание на гуслях, бандуре или цимбалах в тени загадочного компьютера. Это новая ответственность за страну, в которой твои предки не имели права или возможности жить столь же ответственно и достойно, как живешь ты. Это понимание нового своего места на свете, государственность мышления, проявляемая теми, чье государство и чье мышление вчера еще были поставлены вне закона, та самая «собственная гордость», о которой писал Маяковский и которая конечно же социальна.

Я перескажу вам, дорогой читатель, интересную историю, опубликованную недавно в самой популярной газете Венгрии — «Непсабадшаг». Мне кажется, все это имеет отношение к разговору, который мы повели. Тем более что я видел, насколько материал из «Непсабадшаг» взволновал и заставил задуматься многих моих венгерских знакомых, причем все они соглашались с героями газетной статьи.

А героями статьи были двадцать пять молодых венгров, недавно получивших дипломы о высшем сельскохозяйственном образовании. Согласно межгосударственному соглашению, они были командированы в Соединенные Штаты Америки стажироваться в избранных специальностях. Молодых специалистов распределили по фермам, и фермеры сообщили им, что готовы к приему венгров. Как привыкли принимать венгров за океаном, выяснилось чуть позже.

Рассказывает Шандор Сарваш, практиковавшийся в одном из охотничьих хозяйств штата Висконсин: «В семь утра начиналась моя смена, продолжавшаяся 12—14 часов. Но что это была за работа! Я кормил свору собак, чистил их конуры, а когда заканчивал с псами, прибывал первый транспорт свеженастрелянной дичи. Как раз был фазаний сезон, и мне, спрятав диплом поглубже, приходилось ощипывать и потрошить фазанов. Меня и еще одного человека поселили в полутемном складском помещении, оказавшемся к тому же настоящим королевством мышей. Напрасно пытался я доказать фермеру, что приехал сюда не на заработки, что я не поденщик,— хозяин даже не захотел прочесть договор...»

Иштван Тот, один из лучших выпускников Высшей сельскохозяйственной школы Венгрии, попал вместе с друзьями в штат Огайо. «Если уж надо заниматься такой тяжелой физической работой,— говорит он,— то лучше поискать ее в кооперативе у себя дома, а не разрешать так эксплуатировать себя. В США у нас не было права даже выйти за пределы фермы. Мы были как заключенные».

И еще одно заявление венгерского стажера, цитирую: «Мы не против физического труда, но он же не означает самую грязную, самую утомительную работу с утра до вечера. Я сын хлебороба, другие тоже не бело-

ручки. Мы умеем работать, спросите кого угодно. Но между работой и эксплуатацией есть большая разница».

А все-таки прекрасно, что это говорят венгры, крестьянские дети, потомки людей, которых унижали во множестве стран эмиграции в течение долгих десятилетий! А все-таки прекрасно, что это говорит человек из страны, которую кое-кто и сейчас рад был бы унизить. Ан нет, не выйдет. Помните историческую фразу из первого советского букваря: «Мы не рабы, рабы — не мы!»

Вот в эту сферу сам собой и перерастает разговор о духовном опыте социалистических стран, о народной интеллигенции, а точнее, о народной интеллигенции при социализме.

Достоинство

Не знаю, как в других местностях, но в Киеве, только что освобожденном от оккупации, была короткая мода на подошвы из автомобильных шин. Покрышка раскраивалась остро отточенным ножевым штыком (после отступления немецкой армии их оставалось в избытке). Из раскроенной подошвы всегда торчали какие-то нитки, другими нитками к шинной подметке прикреплялись разнокалиберные куски кожи. Думаю, что иным из нынешних модников это могло бы понравиться как вариант архиоригинальных сандалий. В детстве именно такими я оставлял за собой следы — похожие на отпечатки колес маленького автомобиля. Детство мое удирало от войны на этом автомобильчике и никуда удрать не смогло. Когда я проезжаю по странам, чья судьба удивительным образом решилась в годы войны, чья свобода родилась из военного пламени, то постоянно возвращаюсь в те самые сороковые суровые годы, которые столькому научили мир, столько в нем изменили.

Мои-то сандалии с подошвой из шины износились или потерялись — уже не помню, зато помню точно такие же сандалии, где из раскроенной на подметку автопокрышки тоже торчали суровые нитки. Их я видел в музее Освенцима и в который раз подумал, как страшны бывают вещи, переживающие своих обладателей, сколь жестоко это бессмертие — нетленные, ничьи сандалии с подметками из шины...

Все-таки самое важное в том, для кого делаются автомобили и в какую дорогу обуваются их колеса. Дальнейшая моя жизнь была прямо-таки переполнена встречами с различнейшими приспособлениями для путешествий, но лишь намного позже узнал я, что нити, видневшиеся из раскроенных покрышек,— это корд, теперь его делают из медной проволоки или синтетиков. И еще я выяснил, что шины в основном производятся из нефти, вернее продуктов ее переработки, которых в покрышке больше всего. Вот видите, так мы и вышли на

круги своя: книга эта начиналась с размышлений о нефтепроводе, и большинство ее глав «нанизаны» на «нефтяную тему»; материал любой книги должен организовываться вокруг стержня серьезного и солидного. Нефть, история нефти, истории, связанные с нефтью,— это очень поучительно и социально. А что касается моих экскурсов в детство — простите уж, тем более что ассоциации завязывались «по теме». Просто увидел вдруг на цементном полу цеха черный отпечаток, похожий на растянутый след моих детских сандалий; было это в городе Пухове, у самых Татр, и завод назывался «Гумарне 1 май». «Гумарне» — это от слова «гума» — резина, а «1 май» — имя завода; именно в этот день 1950 года он дал первую продукцию. Хотя, говоря по правде, история основания предприятия не так уж проста. С нее и начну.

Поучительно возвратиться к 1 мая 1950 года, потому что в цехи завода вошли тогда 2800 рабочих; таких крупных предприятий в Пухове не было сроду, асбоцементная фабричка и маленький пошивочный цех женской одежды в счет не шли. Сегодняшние пуховские «гумарни» дают работу — и какую! — уже пятнадцати тысячам людей, но к этому привыкли. До сих пор удивляются тем первым 2800 работникам: никогда здесь не видывали такой концентрации занятой рабочей силы. В районе была одна из высочайших в Чехословакии концентраций безработных людей, поэтому сразу же после войны в принятую тогда программу индустриализации Словакии был включен пункт о постройке пуховского завода. Советская нефть и продукты ее переработки тогда еще поступали в цистернах, а не по трубопроводу. К Пухову подтянули ветку железной дороги, по этим же рельсам должно было проехать оборудование для новых цехов. Первые производственные помещения строились специально под красивые американские линии — их уже закупили, они уже плыли через океан, их уже выгружали в Гамбурге. До сих пор пуховцы ездили на заработки в Америку — впервые в истории Америка ехала к ним.

Америка не приехала.

Настал февраль 1948 года, и Клемент Готвальд декларировал историческую формулу отношений новой Чехословакии к будущему: «С Советским Союзом — на

вечные времена». Соединенные Штаты наложили эмбарго на поставки в социалистический мир. Оборудование, выгруженное в гамбургском порту и адресованное пуховской стройке, отправилось в обратный трансатлантический рейс. Кто-то за океаном решил, что американские производственные линии не переживут контакта с продуктами переработки советской нефти.

Цехи, построенные под оборудование, которого не будет, отпечатки самодельных бедняцких сандалий на песке... Здесь было голодно, безработно, и стало совсем страшно от безнадежности. Вот тогда-то оборудование поставил киевский завод «Большевик» — вне всяких планов, назло попыткам сломить нас — «нас» потому, что при помощи эмбарго ломали всех сразу — весь социализм. Уже на Западе содрали со стен и с афишных тумб последние из плакатов, гласивших о боевом содружестве стран антигитлеровской коалиции; эхо фултоновской речи Уинстона Черчилля, объявившего начало холодной войны, отразилось от предгорий Высоких Татр, и все-таки оборудование продолжало поступать: из городов Чехии, из Ярославля, из Киева. Это было аргументом, убедительным для пуховцев, всегда прежде затравленных всемогуществом мира, перед которым они были совершенно беспомощны. Оказалось, что еще есть — образовался! — другой, дружественный, очень сильный и надежный мир. Если раньше уходили в эмиграцию, чтобы жить благодаря недостижимо великолепным и несокрушимым американским дядям, то теперь оказалось, что можно прожить и вопреки им; можно уже не бояться, слыша, как дяди щелкают ковбойскими кнутиками. Это было новой репутацией — не завода, а государства и социальной системы, в которых возводился завод. Так приходило ощущение приобретенного достоинства и силы.

Все изменилось. Умышленно первый вопрос о том, с чего начиналась в Пухове новая жизнь, задал я не работнику «Гумарни 1 май». Люди, занятые на предприятии, по преимуществу другой жизни не знали. О том, как дела, я спросил у заместителя председателя сельскохозяйственного кооператива «9 май», что выращивает под Пуховом ячмень, картофель и кукурузу. Шин здесь и вправду никогда не производили, а уж картофель-то выращивали спокон века. Франтишек Немчек

и сказал мне первые слова, которые я впоследствии часто слышал в Словакии: «Все качество жизни здесь изменилось. Картофель и кукуруза растут, как росли, просто их стало гораздо больше. Но *качество жизни другое*, это главное». Невысокий, плотненький Немчек говорит очень серьезно: «Знаете, это другой мир, по духу другой, по смыслу жизни. Перед войной нас всего с полсотни школьников из Пухова училось, а в моем классе осталось к пятнадцатилетнему возрасту человек двадцать пять, и лишь двое из них были крестьянскими детьми. Как сейчас помню, 14 марта 1939 года вторглась к нам германская армия, учительница наша вдруг взглянула в окно и заплакала. Мы ушли по домам, потому что не осталось у нас ни города своего, ни даже своей школы. Я же говорю вам — другая теперь жизнь, качество у нее другое. Я, знаете, многое повидал в жизни и повидал свет; и нигде даже не слыхал о том, чтобы отношения складывались так, как у нас с советскими людьми. Ну, «Гумарни» — это само собой, делают из советской нефти транспортеры и автопокрышки, снабжая ими весь мир, но тут ведь все в один ряд, даже то, что советские солдаты из Центральной группы войск приезжают к нам картошку копать — в помощь. Знаете, как они ностальгически копают картошку, простые деревенские парни, точь-в-точь как наши...

А еще я в Одессу недавно съездил. Мне на экскурсии показали могилу словака, погибшего в прошлой войне. Словак партизанил у вас и прославился как герой...»

Мы разговариваем с Немчеком в его кабинете, где на каждой полке минимум по три бюста Льва Николаевича Толстого; кооператив «9 май» дружит с колхозом «Новая жизнь» Тульской области, и, видимо, иные тамошние предприятия считают, что именно в сувенирном толстовстве можно найти ответ на толстовский вопрос: «Что же нам делать?» Разговариваем о земле, об урожае, о том, какие удобрения принесла нефтехимия и когда в Пухове произведут достаточно синтетического каучука. В поле зрения окон кабинета Немчека высокие трубы пуховского завода «1 май». Все-таки, как бы там ни было, сегодняшний Пухов прославлен на всю Европу «Гумарней», и в окрестных кооперативах относятся к этому даже с некоторой гордостью — знай, мол, на-

ших. Предприятие начало работать в День пролетарской солидарности, здешние люди привычно уже трудятся и живут с четким ощущением собственной присоединенности ко многим народам и странам. Им это ощущение дано вместе с освобождением, и оно подкреплено железной дорогой, нефтепроводом, работающим именно для них...

Но Штефан Росина, заместитель директора завода, начинает сразу с проблемы: «Мы добры. Весь мир социализма поучительно добр. Мы скромны — не всегда хотим (или не всегда умеем) рассказать о своих достижениях. Знаете, нам чрезвычайно важно сохранить стремление к сообществу, то самое, с которым воскрес Пухов и вся страна, то самое, что стало для нас первым и убедительнейшим уроком нового мира. Было время, когда мы от голода, от беды, от беззащитности стремились прижаться друг к другу и найти родное плечо. Теперь мы стабильны и материально и морально. «Из какой же надобности быть вместе?» — заявляют иные. И мещанство подымает голову, появляются человечки, стремящиеся расползтись по конуркам, детишки, группирующиеся согласно общественному и материальному положению папаш, вокресает культ бездуховности мелких лавочников. Это угроза серьезная, и всякие подпорки контрреволюции появляются отсюда; шестьдесят восьмой год был как раз бунтом мелких лавочников против социализма...

Наконец-то молодое поколение получило возможность выразить себя в труде дома, реализовать себя на родине, но иного мира оно и не знало! Как научить детей ценить этот мир? Как научить сытых ценить хлеб? Вот в братиславской «Правде» только что опубликовали статистику, над которой надо бы задуматься: среди школьников 10—15 лет лишь 47 процентов знало, чем занимается на работе отец (зато 27 процентов понятия об этом не имело, даже не догадывалось). Только 51 процент детей знало, где работает мать...»

Память. Как возвращаться по следу, чтобы люди запомнили всю дорогу в сегодняшний день,— от этого в огромной степени зависит беспрерывность пути в день завтрашний. Путь, избранный нацией, должен сохранять свою убедительность постоянно и для каждого из ее граждан. Я запомнил еще одну фразу, которую мне то-

же довелось услышать множество раз, в Пухове мне повторил ее Владимир Тараба: «Завидуем вашей культуре межчеловеческих отношений. Все дело в том, что советские люди, приезжающие сюда в командировки, очень убедительны». Все, что Владимир Тараба знает о советских людях, основано на впечатлениях от встреч с ними на предприятиях, а в стране у нас Владимир не был, с «Интуристом» Золотое Кольцо не посещал и видами спорта, популярными в Советском Союзе, не увлекался. У Тарабы есть две серьезные общественные нагрузки: он заместитель комсорга предприятия и попутно руководитель местной секции атлетической гимнастики, а попросту говоря, культуризма, не шибко поощряемого у нас. Честно говоря, я не знаю в подробностях, вредно или полезно накачивать себе такие мышцы, как у Владимира Тарабы, но комсомольский руководитель предприятия выглядит словно греческий бог или цирковой атлет с афиши; фигура у него такая, что понимаю, почему Владимира пригласили в Америку на какой-то там вселенский конкурс этих самых культуристов. Владимир собирается в Соединенные Штаты, желая доказать тамошним мужчинам и женщинам, что и в современной Словакии можно развить мускулы будь здоров. Многие из района Пухова развивали себе мышечную систему уже за океаном, работая на тамошних конвейерах, фермах, шахтах. Бывали здоровые ребята и среди них, хотя не уверен, что мускулы нагуливали они с тем же удовольствием и легкостью, что Владимир. «Врач и колхозник разговаривают у вас на равных,— вздыхает Тараба.— Мы боремся за такую же культуру межчеловеческих отношений, как у вас. И за такую же культуру межнациональных отношений. Раз я говорю об этом, значит, несовершенств хватило и на мой век. Хоть надо сказать, когда я написал землякам-эмигрантам в Канаду о том, как складывается моя, прирожденного пуховца, жизнь, кое-кто решил там, что я такой-сякой красный агитатор и никто больше. Им бы мои проблемы...

Короче говоря, здесь я родился, здесь закончил среднюю школу, здесь приобрел профессию, отсюда же поступил на экономический факультет Братиславского университета, где учусь заочно. В Пухове женился, через два месяца после женитьбы получил изолированную квартиру. Нет, вы мне скажите, где еще на свете может

случиться такое? Все здесь, конечно, развернуто на основе переработки советской нефти, но разве это от нефти мне такое везение? Конечно, не будь нефтепровода, не было бы нашей «Гумарни 1 май», но, не будь социализма, ничего бы этого не было вообще...»

Мы идем по цехам, и я слушаю фамилии советских людей, которых никогда не видел и, может быть, не увижу. Но сколь велика убедительность поступков и жизней! Мне рассказывают, как замечательно умел петь одессит Эдуард Бевзо, недавно монтировавший в Пухове пресс для мембран; а кроме того, он ходил по цеху и всем показывал приемы своей работы; просто так показывал, потому что знал собственное умение и хотел поделиться им, рассказать, как используются такие же вот станки в Одессе. Или работали два монтажника с киевского завода «Большевик» — Стародуб и Мироненко. Их вспоминают как близких друзей, потому что Мироненко, прошедший войну, устраивал молодежные вечера, разучивал фронтовые песни и провел вечер встречи с ветеранами.

«Вокруг советских всегда особенная атмосфера,— говорит мне Тараба.— Они владеют таким даром общения, равноправного и щедрого, что всех это потрясает. Мы ведь иначе жили, даже я медленно нащупывал пути не то что от народа к народу, а друг к другу. И вдруг в эту нашу зажатость, или как там называть, врываются широкие, откровенные советские люди, их дружелюбие ни капли не вымучено, естественно до последнего слова. Это ведь все пришло вместе с нефтью, если уж вас интересует нефть, но это все не менее важно...»

Инженер Штефан Росина формулирует тот же тезис чуть поученее — он говорит, что где-то читал эту или очень похожую на нее мысль: «Дыхание, скажем, не является для человека самоцелью, однако без кислорода, усваиваемого при дыхании, мы гибнем. Та же нефть вовсе не самоцель, но без энергии, химии и всего, что связано с нефтью, мы не станем современной державой, не сможем достойно жить на свете. Нефть и все, что с ней связано, укрепили новое достоинство наше. Конечно же мы научились жить по-другому, чем когда бы то ни было. И одна из главных проблем — не упростить ничего и ничего не забыть. Не успокоиться и ни за что не растерять уроков, полученных на таком нелегком и таком

важном пути. Уроки обретенного нами достоинства многообразны и важны, они не только для нас...»

Еще один пример того, что мелочей не существует, того, что в любой подробности соединяется множество примет, а любое большое дело, такое, как нефтепровод, торговля нефтью, становится в центре очень многих проблем, а не только хозяйственных. Недавно я прочел, что в Великобритании промышленники потребовали принять закон, ограничивающий закупки шин в социалистических странах. По своему качеству и по доступности эти шины превосходят большинство западных образцов. Себя-то мы снабжаем полностью, но сегодня уже 11 процентов потребностей стран капиталистического Общего рынка в шинах тоже удовлетворяется социалистическими предприятиями, в том числе из Пухова...

Штефан Росина, один из руководителей «Гумарни 1 май», начинал работать еще в 1947 году в Готвальдове. Там можно было многому научиться в обращении с резиной, тот город ведь назывался когда-то Злин, и там был один из самых жестоких центров эксплуатации во всей Европе — предприятие обувного магната Бати. Штефан Росина с 15 лет начал работать на конвейерах в Готвальдове, там же закончил химический техникум, оттуда ушел учиться в Братиславское высшее техническое училище. «Для меня Советский Союз — это не только освобождение и не только работа,— говорит он.— И не только нефть как сырье для работы. Для меня Советский Союз — это возможность выучиться, стать специалистом. Никто в нашем роду такой возможности не имел...»

Я видел, как у нас в Западной Сибири, в Тюменской области, работали «Татры», обутые в шины из Пухова. Шины выдерживали любую жару и мороз, и всемогущие таежные комары и мошки были им нипочем. (Это я уже шучу, но должен вам сказать, что во спасение от гнуса шествовал сквозь мокрый таежный кустарник с пылающим и чéрно дымящимся куском подожженной списанной шины в руке.) Не говорю уже, что завод имени 1 мая удовлетворяет почти половину потребностей Чехословакии в транспортерах и шинах,— диапазон предприятия куда шире. В Пухове делают транспортеры для шахт, сооружениях в самых разных условиях — от нашей Воркуты до Бельгии, Венесуэлы и даже Заи-

ра. В Кривом Роге и в Донбассе транспортеры, изготовленные в Пухове, работают великолепно, специальные поставки для советских предприятий увеличиваются с каждым годом, сейчас разработали полотно транспортера, выдерживающего лютый мороз,— для самого Крайнего Севера. Для Севера же производятся многие сорта шин удивительной крепости и, сказал бы я, элегантности. Одно удовольствие было смотреть, как на машине «Бузулук» шину делал Петер Блажко, слои соединялись в слитность черной конструкции, в толщу которой на вечные времена заделывается номер 85 — личное клеймо Петера. Он отвечает за свою продукцию, где бы она ни использовалась в дальнейшем. Петер Блажко делает за смену 24 шины, каждой из которых гарантирован пробег в 75 тысяч километров («Почти все выдерживают по 100 тысяч»,— говорит Блажко). Бракованных шин почти не бывает («Так на них же люди ездят, какой тут брак может быть? Никакого!» — разводит Петер руками в толстых черных рукавицах). Машины советско-чехословацкого производства «Бузулук» с программным управлением. «На Западе таких установок нет, там вот такую шину делают в два этапа, на двух машинах,— объясняет Петер.— А я вот работаю здесь, и мне интересно, может быть, «Татра» на моих шинах будет по сибирским нефтяным полям ездить. Оттуда ведь нефть, переработав которую, мы и для шин сырье получаем...»

Нефть... Трудно даже высчитать, куда расходится наша нефть в виде изделий.

Когда мы идем в рабочую столовую пообедать (белые скатерти на столах, цветы, раздатчицы в крахмальных фартучках, и все это в огромном зале, для сотен людей сразу, никакой показухи — просто привыкли так), рядом с нами за столом обедает большая группа людей, разговаривающих по-английски. «Канадцы,— показывает мне на них Штефан Росина, улыбаясь и подмигивая.— Приехали на переговоры о закупке наших шин...»

Вспоминаю, как по дороге из Братиславы в Пухов мы останавливались в Нитре. Вопрос об отношении к Соединенным Штатам или Канаде там, кроме всего прочего, тоже вопрос престижа — слишком уж много людей уезжало отсюда за океан в поисках хлеба. Слишком уж долго разнокалиберная пропаганда вбивала в

головы людям историйки о заокеанском рае. Несколько поколений словаков направленно воспитывалось прямо-таки с комплексом неполноценности по отношению к Новому Свету. После войны все понемногу начало становиться на свои места, я уже вспоминал о том, как выглядит ситуация в Пухове. В Нитре мне привели пример еще более определенный, и сделал это директор тамошнего завода «Пластика» Штефан Плева. Перед тем как я расскажу об услышанном в Нитре, несколько общих сведений, которые кажутся мне важными.

Дело в том, что в Нитре работает огромное предприятие «Пластика», производящее множество самых разнообразных изделий на основе советской нефти. Все это, и Пухов и Нитра,— комплекс производств с одним корнем — советским нефтепроводом. Там более очевидны закономерности устройства жизни и отношения к ней на этих и множестве других предприятий современной Словакии. И отношение к чужой жизни и преодоление собственных и чужих комплексов — все это важно и все это универсально для целого народа и его новой зрелости. Мне очень понравилось, как немолодой уже и все на свете видавший директор «Пластики» Штефан Плева рассказывал о своей поездке в Соединенные Штаты в составе делегации руководителей крупнейших предприятий Чехословакии. Принимали по высшему разряду: со зваными обедами, торжественными проходами по цехам и визитами к мэрам промышленных городов. И вот в одной из индустриальных столиц США, Питсбурге, делегацию повели в кафетерий большого завода. Вежливые официанты бросились к ним с подносами, вежливые девушки бегом передвигались по залу, очищая столы. Вежливый сопровождающий сообщил чехословацким директорам, что на предприятии нашли свое счастье представители многих наций Европы. «Откуда вы?» — спросил Плева посудомоек. «Из Словакии!» — ответили те. Посудомойки никогда не видели собственного директора, а о том, что директора бывают словаками, да еще у себя на родине, они понятия не имели. Когда Штефан Плева представился им, посудомойки перестали рассказывать о своем эмигрантском великолепии и начали спрашивать, сколько зарабатывают работницы на «Пластике» в Нитре...

Чувство хозяина. Если оно проявляется у тебя на ро-

дине и ты вправду им проникаешься, жизнь наполняется смыслом, которого в ней прежде никогда не было и не могло быть. Жизнь наполняется достоинством; однажды обретя его, ты уже без него не обойдешься.

Штефан Плева сражался в партизанах во время Словацкого национального восстания. Он раздумчиво говорит о том, что восстание, гремевшее как раз в тех местах, где в дальнейшем прошел нефтепровод, словно расчищало ему путь. Одним из главных уроков восстания было для Плевы понимание того, насколько всякий народ неоднороден, в том числе его собственный словацкий народ. В отрядах СНВ (так часто называют Словацкое национальное восстание даже в официальных документах) плечом к плечу сражались словаки, чехи, венгры, русские, украинцы, а драться приходилось не только с немецкими фашистами, но и с венгерскими убийцами от Хорти и Салаши, со словацкими кровавыми «черными гардистами» Тисо, с русскими власовцами и украинскими бандеровцами. Восстание охватило народ и поэтому звалось Национальным; но восстание было прежде всего социальным, социалистическим. Убитые враги не предъявляли паспортов с графой о национальной принадлежности, они были в фашистской форме и гибли как фашисты. Штефан Плева говорит о жертвенности и героизме с о в е т с к и х людей, тоже не разделяя их по национальностям; сила шла на силу, идея против идеи. Победила наша идея и наша сила. (Юрай Конч, молодой инженер с «Пластики», рассказывает мне, что был в Киеве на дарницком комбинате «Химволокно» и познакомился там с работницей, отец которой погиб при освобождении Нитры. Семья погибшего ежегодно приглашает гостей из Нитры, с «Пластики», словно наращивает нить своей кровной связи с этим городом и этой страной.)

Так что и «Пластика» в Нитре — часть огромной системы отношений, процессов, шедших и продолжающихся в самых разных сферах жизни. Города и человеческие судьбы сращиваются накрепко, народ выжил, народ продолжает свою историю на таком крутом витке, который многим на свете еще и не снился. А очень многим снился, но с ужасом; никогда не следует забывать о врагах...

Словом, главное, что люди знают, каким образом они

пришли к сегодняшней жизни. «Надо поддерживать в них это знание, это новое достоинство, не разрешать никому ни на миг забыть, разменять, снизить его,— говорит мне Рудольф Байзик, секретарь Нитранского райкома КПЧ, и постукивает пальцем по столу.— Знание становится человеческим убеждением и реальной силой, это закон жизни, и никто с нами ничего не сделает, если мы сохраним в себе такое сильное и такое жизнеутверждающее знание, если не возведем убежденность, содружество, достоинство исключительно в сферу митинговой парадности, а будем и дальше жить ими и с ними».

Рудольф Байзик улыбается и говорит мне, что в промышленной сегодня зоне Нитры история некогда оборудовала рай для пейзажистов, даже когда пейзажей никто еще рисовать не умел. Здесь испокон века простирались красивые луга с белыми аистами. Последний аист, впрочем, улетел отсюда в конце войны, испугавшись стрельбы с колокольни в Чинеши. Но зато словаков отсюда изгнать не могли никакими канонадами. До славянских поселений или одновременно с ними жили здесь также кельты, даки, римляне и даже варвары, в чьем имени объединилось еще несколько народов. Но, как выяснили археологи, и в Нитре гордятся этим, все-таки именно здесь находится первое хлеборобское захоронение в Средней Европе...

За двадцать лет, примерно с 1918 по 1938 год, Словакия была распродана по множеству адресов; все красивые и некрасивые исторические подробности теряли смысл, потому что страну, ее историю и народ растаскивали по кускам, ликвидируя напрочь. Чувство тогдашней беззащитности было почти абсолютным, даже надежда сохранялась только у самых сильных. («Отец с 1932 года был в КПЧ,— рассказывает мне Байзик.— С 1938 года отца взяли под гласный надзор, и трижды в неделю он отмечался в полиции. У соседа-коммуниста было припрятано радио, старенький, никудышный приемник, но это радио было им дороже всего, потому что ловило Москву, постоянно было настроено на Москву, и по вечерам мы вместе слушали передачи. До сих пор помню адрес, которым передачи заканчивались: «Москва, Солянка, 12». В этом радио было все — и надежда на свободу, и просто надежда на выживание...») Голосу Москвы верили; по ее голосу искали путь к

завтрашнему своему дню. Даже вооруженное восстание созревало и подымалось, прислушиваясь к голосу из Москвы, так совпадавшему с его собственным голосом. Уже позднее сбросили оружие на парашютах, людей в помощь, но вначале было Слово. Сообщество наше вызревало и формировалось в совместной борьбе и работе. Ничем более прочно народы сблизить нельзя; люди формируются не в болтовне, а в стремлении к общей цели; вот и стоит здесь припомнить мудрый тезис о том, что идея, овладевшая массами, становится материальной силой...

Когда я сказал такие слова в кабинете у Байзика, он развел руками, соглашаясь: «Без этого все наши райкомы и другие организации никогда бы не стали авторитетны. Вообще главные изменения именно в качестве жизни, в смысле жизни, в новой наполненности каждого ее дня. Мы порой фетишизируем материальный уровень, а ведь он вторичен: важно не только, что мы научились делать, скажем, из нефти, а то, как именно и откуда пришла к нам эта нефть. Для меня самая главная — первая — встреча с советскими людьми произошла в 1951 году; строили один из энергетических центров новой Словакии, город Гандлова, и приехали из-за Карпат очень достойные, несуетливые, трудолюбивые и серьезные люди. Так начиналась жизнь по новым правилам, так наша дружба становилась не только результатом движений души, но и результатом обдуманного и взвешенного выбора пути. Мы стали жить достойнее. Пройдите по цехам «Пластики» в Нитре — совсем новые люди там, совсем новые словаки. Вот делают они пластмассовые бочки для вина, дренажные трубы или мешки для удобрений — это для них так естественно — и социализм, и нефть, и работа; столько изменилось лишь за несколько десятилетий, что народная душа, не вызрей эти изменения в ней заранее, ни за что бы не перестроилась так быстро. Ну ладно, вам надо увидеть нефть, пойдемте, я вам покажу наши сырьевые резервуары, в жизни вы не видывали таких огромных...»

Чем определяются наши впечатления от города или страны?

Я знаю, что вы мне, читатель, сейчас скажете о событиях исторических, значительных. Согласен, вы правы. Но все-таки да простится мне эта вставка о мелочах...

Когда я собрался писать все, что напишу дальше, вспомнилась история, рассказанная мне тремя умными инженерами-нефтяниками на заводе в Сосхаломбатте. Инженеры были командированы в Москву и в день приезда туда пошли пообедать в ресторан при гостинице «Бухарест». Так уж получилось у них, что попали обедать инженеры именно в Замоскворечье.

Инженеры хорошо разговаривали по-русски. Воспользовавшись этим, они попытались объяснить метрдотелю, чего хотят от предприятия общественного питания. Метрдотель обвел взглядом пустые столики и сказал, что мест нет. Инженеры видели, что места все-таки есть, и поэтому сели в углу зала. Что было дальше, вы, несомненно, представляете себе. Два официанта без меню и подносов по очереди сообщили инженерам все, что они думают о людях, просто так желающих пообедать в ресторане, где их не ждали. Позже, когда метрдотель узнал, что визитеры настоящие венгры из-за границы, он прислал к ним третьего официанта с меню и подносом, но уже не было у нефтяников ни аппетита, ни настроения. Когда они уходили из ресторана, то услышали вдогонку, что вот, мол, какие господа.

Венгры были самого что ни на есть рабоче-крестьянского происхождения, на душе у них стало кисло, и несколько следующих встреч подряд с коллегами, друзьями, с хорошими людьми, которым нет цены, пошли насмарку.

«Почему это?» — спросили у меня инженеры из Сосхаломбатты.

И вправду ведь — почему? Почему такое случается в обществе, впервые в истории объявившем, что человек

человеку — друг, товарищ и брат? Давайте поразмышляем вместе.

Пишу рано утром, вспоминая, как просыпался в разных городах мира и думал о собственном городе, собственном опыте; разные это мысли бывали.

Будапешт просыпается рано. Около пяти утра прямо под окнами 248-го номера гостиницы «Астория», в котором я жил, развеселые рабочие шумно выгружают ящики с молоком, хлебом, пивом и разными разностями, столь необходимыми для нормальной человеческой жизни. Рабочие не виделись со вчерашнего дня, у каждого множество новостей, которыми они считают нужным обменяться во весь голос непременно под моим и множеством прочих окон «Астории». Тишина была противна ресторанным рабочим, и, когда им разговаривать не хотелось, они грохали ящиками так свирепо, словно хотели проверить жестяные банки на звонкость.

Я включал радио, размышляя о том, пожаловаться администратору или не надо. Так и не пожаловался, потому что уже слышал однажды, как на ломаном английском языке администратор объяснял смуглому страннику неведомой мне национальности, что это не его собственная гостиница, а государственная, и в ней (именно потому?) других номеров нет. Грустно слушая радио, я свесился и заглянул под кровать, где у самой стенки давно уже белело что-то вроде окурка; мне стало интересно, когда эту самую штуку оттуда вытащат. Все-таки гостиница первого класса, ей доверено обслуживать интуристов. И за номер уплачена куча денег.

...В старой и очень респектабельной гостинице «Карлтон» (обе они с «Асторией», думаю, помнили еще австро-венгерские времена) у меня в номере зазвонил телефон. Мучительно перебирая слова, дежурный сообщил на некоем синтетическом наречии, в обиходе именуемом «славянское эсперанто», что дежурная с коммутатора ушла куда-то, а мне как раз звонят из Киева. Если я хочу поговорить с Киевом, сказал дежурный, то могу спуститься прямо в вестибюль, потому что ему, дежурному, тайны устройства коммутатора неизвестны. Лифт не работал. Я оделся, сбежал с четвертого этажа вниз, а в телефоне остался разве что голос киевской телефонистки, сообщавший, что время, заказанное для разговора, истекло. Если вы думаете, что дежурный, барышня с

коммутатора или, не дай бог, гостиничный администратор сказали мне по этому поводу что-нибудь извинительное, то вы глубоко ошибаетесь. Я и сам уже почти ничего не мог понять и даже не знал, прав ли я, что с такой решительностью переехал в новомодную гостиницу «Киев», подальше от Национального театра и памятника поэту Гвездославу, стоявших у меня под окном.

Ах, как вспомнил я вздрогнувшего старичка в гостинице симпатичного венгерского города Сольнок! Старичок дремал в вестибюле, и я через переводчика спросил у него, что сделал бы хозяин гостиницы в буржуазной Венгрии, если бы гости носили свои чемоданы самостоятельно, а дежурный в это время подремывал в кресле. Старик должен был знать; старик знал. Сверкнув всеми пуговицами да позументами своей ливреи, дежурный сказал мне, что в буржуазной Венгрии порядки были жестокими, капиталистическими, там дремавшего дежурного выперли бы с работы в два счета, совершенно не заботясь о нем. Осознав преимущество социализма, старичок дремал, совершенно не заботясь обо мне и всем остальном населении этой и остальных гостиниц планеты. Старику снились геральдические львы.

Кто это придумал, что при социализме должно быть хорошо всем — и тем, кто делает свое дело плохо? Кто придумал, что доброта социализма подлежит испытаниям наглостью? Кто придумал, что отсутствие безработицы подразумевает нежелание дорожить своим рабочим местом?

Существует тезис о том, что по мере нашего приближения к бесклассовому обществу враги становятся все свирепее. Это написано и напечатано, это все знают. Но существует тезис о том, что при народной власти можно прожить на сплошном злоупотреблении ее человечностью. Этого нигде не печатали, но это широко известно. Мне приходилось видеть людей, замечательных наших героев, которые не могли быть воспитаны нигде, кроме социалистического мира; молодежь, едущую на стройку кошицких домен в Словакии, на венгерские буровые или на БАМ; летчиков и космонавтов, потрясших мир самоотверженностью; подводников, побывавших на Северном полюсе. Видел я и таких, кто не выжил бы при капитализме, — накипь, своевременно не снятую с поверхности социального варева и вдруг ставшую заметной, потому

что при всей своей бесполезности она фыркает и пузырится. Это я уже не о безобидных гостиничных беспорядках, я о вещах посерьезнее, потому что знаком с пьяницей-литератором, который всякий раз, когда его волокут к машине, прибывшей из вытрезвителя, кричит о том, что интеллигента терзают.

Я видел в капиталистических странах людей, наслушавшихся брехливого радио, уехавших от нас на поиски молочных рек с кисельными берегами и горько плачущих на берегах чужестранных рек, пахнущих соляркой и еще бог ведает чем. Люди эти поражались тому, что в новоприобретенном ими мире никто не прощал перекура в рабочее время и пяти изуродованных деталей, кофе, пролитого на блюдечко, и ругани в адрес покупателя не твоего магазина. До чего уж быстро при социализме можно отвыкнуть от капиталистической бесчеловечности! Но до чего медленно приходит в иные души понимание гуманности, благородства и, если хотите, добродушия нашего общества!

...Сейчас утро. Пять часов. Я слышу, как во внутреннем дворе гостиницы «Москва» один из дворников кричит другому: «Слышь, Коля!» Иду к окну, чтобы взглянуть на них. Жаловаться не буду. «Тоже мне, большой господин!» — скажет мне дворник (непременно скажет, если уж заорал в пять утра). И вправду, какой из меня господин? Нет нынче господ. Ни в одной из стран социализма нет их и не будет. Только это значит, что настало наше господство, и помните, как поется в Интернационале: «А паразиты никогда!» Очень хочется, чтобы «паразиты никогда». Хочу верить, что это не только мечта.

У Иштвана Рудински есть в Курске теща. Сам Иштван работает главным механиком нефтеразведочного управления в Сольноке. С времен, когда он закончил Нефтяной институт имени Губкина в Москве, прошло уже больше десяти лет. С тех пор он бывает в Советском Союзе раза по три ежегодно в командировках и еще раз вместе с русской женой — в Курске, по тещиным приглашениям. Рудински прекрасно владеет русским языком, научившись ему и в институте и дома, он великолепно знает нашу страну, исколесив ее и вдоль и поперек не только как инженер-нефтяник. Обучаясь в Московском нефтяном институте, Иштван играл на гитаре в студенческом эстрадном оркестре, на гастролях доводилось бывать в Ленинграде и Киеве, в Дубне и в городах Сибири. О Сибири он вспоминает с особенной важностью, рассказывая о встречах в Иркутске, Братске, Новосибирске, Кемерове; в Новосибирске у эстрадного оркестра даже концерт сорвался, столько было желающих прорваться в зал. (Иштван с профессиональным актерским гонором вспоминает, что толпа новосибирской молодежи весело штурмовала концертный зал при сорокаградусном морозе.) Огромная часть жизни, огромная часть характера, огромная часть души Иштвана Рудински формировались в Советском Союзе. Он понимает это, и мы вместе пытаемся выделить уроки, воспринятые главным механиком сольнокского управления от советских людей.

«Понимаете ли,— говорит Рудински,— легче всего было вначале. Первые студенческие впечатления были не шибко глубокими: ну, поезд, ну, Москва, непохожий на наш, большой город...»

«Не говори,— вмешался инженер Дьердь Тот, присутствовавший при беседе.— Меня как раз тогда-то поразила дружеская, почти домашняя обстановка именно в общем вагоне поезда и проводница, напоившая меня самым вкусным на свете чаем. Не говори...»

«Может быть, ты и прав,— покивал головой Рудин-

ски,— но я быстро начал знакомиться с жизнью вплотную. Женился на студентке Московского текстильного института, приобрел тещу в Курске, которая ничем не могла нам помочь, и помучился, пытаясь снять изолированную квартиру или хотя бы хорошую комнату в Москве. Не так охотно сдают комнаты в Москве иностранцам».

«Не знаю,— согласился Тот.— Я комнату в Москве не искал. Но тоже помню свое первое отрицательное впечатление. Это здоровенный дядя, ставший мне в московском троллейбусе на ногу и заоравший на меня же. Люди в Москве и вообще в Советском Союзе куда откровеннее наших, открытее. Но и несдержанны они бывают ужасно...»

Рудински и Тот виновато глядят на меня, словно любое невосторженное воспоминание о советской жизни может ввергнуть меня в пучину идейных шатаний, а также в мировую скорбь, гнев и тоску. Мы сидим в подвальчике, облюбованном сольнокскими нефтеискателями под свой клуб, и вокруг нас вращается шум, в котором продолжено множество событий прожитого рабочего дня и множество человеческих голосов, подогретых до нынешней громкости маленькими рюмочками абрикосовой и черешневой палинки, беспрерывно путешествующих от стойки к маленьким столикам, раздвинутым по темноватому пространству подвала. Здесь любят потолковать по душам, а мне больше ничего и не надо, тем более что минувший рабочий день был до отказа заполнен у всех нас. Мы еще накануне условились о встрече в этом клубе-подвальчике, но собрались еще не все — работа заканчивалась в разное время, да и кто знает, когда у нефтяников заканчивается работа?

С утра я поехал на буровую. Это возле деревни Верпелит, километрах в девяноста от Сольнока, если по шоссе; но потом еще ехать по жаре и пылище в сторону от шоссе неведомо сколько. Мой водитель считал, что на таком хорошем бензине просто неприлично ездить со скоростью, не превышающей ста двадцати километров в час, и это придавало поездке дополнительные особенности. Но я все равно не смог пробить головой крышу «Волги», постучал по ней изнутри, постучал, но пробить сил не хватило. Или ухабы были не столь круты.

В раскаленных небесах над буровой кружил очень

декоративный аист, напоминая своим присутствием о близлежащих болотах. Неподалеку вышагивали очень серьезные пограничники. Собственно, когда природа распределяла запасы своей нефти по подземным резервуарам, она еще ничего не знала о государственных границах. В дальнейшем же оные пределы сложились так, что аист, поднявшись чуть выше над венгерской буровой, может увидеть румынскую буровую, пристроившуюся с другой стороны границы.

Но аист кружился невысоко; стоя рядом с буровой, можно было его разглядеть подробно и чувствовать, что они привыкли друг к другу — здешние аисты и люди. «Эта буровая путешествует по здешним холмам да оврагам около восьми лет,— говорит мне Иштван Балаж, инженер-буровик, командующий тремя такими установками сразу.— Мы вот уже добурили до тысячи трехсот метров, дальше идем. В этом районе начали находить нефть с конца сороковых годов, и нет-нет, а находят ее снова. Правда, собственными запасами удовлетворяется едва пятая часть национальных потребностей, но поиск оправдывает себя».

Балаж мыслит государственно. Молодой инженер ведает поисками в прямоугольнике со сторонами примерно в сто и сто пятьдесят метров. Он в 1976 году закончил все тот же Московский нефтяной институт, и это первая его большая самостоятельная работа. В подчинении у Иштвана около ста рабочих, он знает их поименно и в лицо, очень этим гордясь. Вислоусый высокий парень в больших кирзовых сапогах и тельняшке. «Тельняшка и сапоги — с последней сибирской практики,— говорит Балаж.— Школа советской работы и советской жизни — это еще и тоска по вашим масштабам, по размаху, по отношениям между людьми. Для нас ведь даже такие отношения, которые у вас привычно уже существуют между рабочим и инженером, тоже относительная новость. Здесь всегда было по-другому. Ностальгия по советской жизни существует у большинства из тех, кто с ней близко соприкасался: очень уж определенная у вас, надежная и масштабная жизнь...»

Мимо нас ходят рабочие, пыхтит движок возле вышки, и где-то глубоко под центром Европы скребется долото нашей буровой. Дело здесь отлажено и ведется очень квалифицированно и надежно, хотя большинство

из работающих на буровой из вчерашних и позавчерашних крестьян, освоивших и эту работу,— не на земле, так под ней. Главный мастер Иштван Мого человек опытный, но тоже из первого поколения нефтяников в своем роду: пошел когда-то за полюбившимися буровиками, был рабочим в поисковой группе, а затем закончил техникум и окончательно связал жизнь с буровыми. «Ваш нефтепровод дает уверенность. Мы понимаем, что этой вот нефтью,— Могор показывает выгоревшую траву под ногами,— мы Венгрию не удовлетворим. Это капля, ручеек, а по «Дружбе» сюда приходит река. Венгрия очень маленькая, здесь в каждом есть ощущение цельности страны, народа, проблем, событие в каком-нибудь селе моментально становится известным всей Венгрии. Так что мы вот тут, у деревушки в местности Верпелит, бурим, а вся страна рядышком, и мы все знаем. Очень уверенно нам в Советском Союзе стало. И отношения между людьми другие. Вот я с четвертым инженером работаю, но Балаж первый инженер с советским образованием, это сразу чувствуется. Он и лебедку ставить умеет, и долото извлекать, и работать на равных. Знает больше, потому и руководит, причем знает не только нефтяное дело, социалистическую жизнь знает. А знаете, как я мастером стал? Ходил за старыми специалистами, а они мне ничего не показывали, прятали даже. А я все равно ходил за ними, приглядывался, зиму проработал, у нас ведь считается, что если человек зиму выдержит в поле, то остается насовсем. Потом ушел старый мастер на пенсию, и я его заменил. Был самым молодым буровым мастером Венгрии — с двадцати шести лет. Теперь учу молодых, сам учусь где могу, говорю же вам, совсем новые отношения между людьми устанавливаются, вот что главное. Не так сразу, но чувствуется, что иначе живем. Старики это особенно чувствуют; мои родители мне тоже много рассказывали, они свою порцию старой жизни хлебнули, поэтому особенно радуются, видя, как я живу. Знаете, приходят такие, как инженер Балаж, учившийся в СССР, и по-другому работа и жизнь строятся. Меня за Советскую власть словами агитировать не надо, работа и жизнь убедили меня, что так лучше. Теперь уже я должен работать так, чтобы сын по мне понял, что настоящая его жизнь, хорошая, надежная жизнь и ему

надо будет делать ее еще интересней и лучше. Как я себя хозяином в жизни почувствовал, хозяином большого дела на всю жизнь, так и он должен. Убедительно работать надо и жить, чтобы дети поверили, как поверили мы...» Иштван Могор не кокетничал, говоря о том, что ощущает себя хозяином Венгрии, он именно так сказал и взмахнул рукой вдоль всего горизонта, даже аиста захватив в поле взмаха. А все началось с нефти. Очень многие делянки жизни соединены единым смыслом ее, поверх профессий, поверх многих привычек, формировавшихся в течение столетий и рухнувших за такое короткое время.

Очень многое начиналось с нефти. По крайней мере отправной точкой становилась нефть, хотя, впрочем, и она, как любая отдельно взятая проблема цельной жизни, лишь подробность ее, более или менее важная.

Я разговаривал с выпускником московского губкинского института Иштваном Балажем, сидя в домике-времянке, построенном среди венгерского кукурузного поля, и венгерский аист кружился над нами. Под землей этой плескались невидимые нефтяные моря, океаны и лужицы; трубопровод нес в себе черную кровь планеты, словно шланг, растянувшийся на тысячи километров от немыслимо далекой Сибири до центра Европы. Но, если техника приняла в себя энергетическую реку и та загорелась, задвигалась, застучала в печах и моторах, то не менее важно, что люди приняли условия жизни, принесшие им столько энергии и тепла. Самые умные поняли сразу же; те, кто поглупее, позже поймут; а те, кто и не собирался понять, пусть себе как хотят, только бы другим не мешали и врали поменьше... Конечно же нефть — могучее оружие в борьбе за современное развитие страны, но даже самые современные пушки без солдат ничего не стоят. Главное — люди, и если это война за будущее, то прежде всего за людей завтрашнего и послезавтрашнего дня.

Иштван Балаж глядит на меня, выискивая в памяти еще какой-нибудь пример, способный заинтересовать разговорчивого визитера из Советской страны. А затем негромко щелкает пальцами, ведя ладонью перед собой: «Вот из моих рабочих-нефтяников никто не бывал в Советском Союзе. Даже мастер Могор не был. Но русский язык многие из них учат сами, без всяких напоми-

наний и поощрений. А в прошлом году еще такая вот случилась история: рабочие целыми бригадами включились в конкурс, объявленный журналом «Советский Союз». Опять же, живем в поле, никто ни к каким конкурсам нас не обязывал и не обяжет, даже за журналом надо было ездить на попутном газике за несколько километров. Так ведь ездили, отвечали на вопросы правильно, несколько призов получили, даже о каком-то съезде профсоюзов (я подглядел как-то) ответили. Я, учившийся в Советском Союзе, понятия о нем не имел...»

Это уже не подробности, а смысл жизни. Поэтому, наблюдая венгерского аиста, кружащегося над буровой в поле под Верпелитом, я думал о том, как люди, добывающие здесь нефть, приняли Советский Союз в свое бытие и свое сознание, зачастую относясь к нашей репутации словно к своей собственной. Если теоретизировать начатый разговор, то я бы решился сказать, что в Венгрии массово произошло новое определение собственного места в истории. Определение это начиналось со взрыва, с ломки многих старых привычек и отношений. Но аргументация нового мира была многообразно убедительной — преобразование судьбы целого народа и множества отдельных человеческих сознаний и судеб, движение в сторону социализма становилось все более массовым и последовательным. Не только место в истории, даже собственное место в пространстве воспринималось людьми по-новому; произошло как бы смещение духовной территории венгерского государства к Востоку. Это уже не я говорю, это мне говорили очень многие собеседники в Сольноке, Будапеште, Пече, Сосхаломбатте — везде, где приходилось бывать. Форма отношений между людьми, убедительность образа жизни подчас привязывают к нам куда прочнее, чем все технические средства, бросающиеся в глаза при первом же знакомстве с любым предприятием. «Нефть нефтью,— сказали мне буровики из бригады Иштвана Балажа,— но советское долото далеко не самая надежная часть установки бурения. Движки и лебедки хороши, а долота так себе. Но мы привязаны к вашей стране не только и не столько общностью техники — долото ведь легко заменить,— мы связаны общностью жизни, и нам естественно спокойное и надежное наше отношение к Советской стране...»

«Спокойное-то оно не у всех,— продолжает эту же мысль Иштван Рудински, с которым беседовали мы вечером в подвальчике — клубе нефтяников.— Поскольку Советский Союз партнер надежный и благородный, то у нас появляется публика, желающая связать с вами свою собственную нерадивость. Мол, надежный Советскию Союз все дал, да не такое; скважину мы недосверлили, потому что советские буры ломаются. Нефти мало не потому, что мы не хотим ее экономить, а потому, что Советский Союз мало ее дал. И тому подобное. Западное радио тоже тут как тут со своими пришептываниями, только ухо подставь. И многие слухи ширятся потому, что мы еще не во всех случаях откровенны между собой во всем, не бываем достаточно инициативны в пропаганде новых отношений между народами. Порой мы бурчим и ругаем сами себя, слушаем, как с Запада поносят нас же. Но оттуда нас ругают, потому что знают силу нашу и хотят уменьшить ее; наше бурчанье же зачастую от неинформированности. Думаю, что сказанное мною понятно уже и усвоено многими в Венгрии, но не всеми, к сожалению. Тем более нам надо поэнергичнее выходить из состояния тихой бесконфликтной влюбленности, в которую мы впадаем, как в обморок. Надо говорить откровенно, но надо иногда и прикрикнуть на болтунов. Надо помнить, что конъюнктурщики никуда не исчезли, они явление надсоциальное, как тараканы. И бюрократы тоже не исчезли, надо говорить о них, потому что вредят волокитчики не просто нашей или вашей стране, всему социализму вредят...»

«Что ведь интересно, — говорит Дьердь Тот, — мы, инженеры-нефтяники, чьи судьбы неотделимы от Советской страны, постепенно переполняемся ощущением не только общности наших достижений, но также ощущением общих трудностей. Вот ругает Иштван бюрократов почти дословно теми же словами, которыми поносят эту публику наши друзья в Советском Союзе. И это по душе мне: это ведь важно, это высочайший уровень откровенности, достигнутый нами. Это мы с вами разговариваем, ничего не скрывая, как родные, ни с одним бы американцем или австрийцем не стали бы, пожалуй, так говорить сразу же, в первый день...»

«Мы с тобой совсем уж иной тип инженера,— говорит Рудински.— Ведь у наших венгерских предшествен-

ников очень много уходило в чисто внешнюю респектабельность, надутость. Работать, конечно, старые инженеры тоже умели дай бог, но один из них мне прямо так и сказал: «Я не говорю еще ни слова, только подхожу к рабочим, а все они должны уже понять, что подошел господин инженер!» Что-то, разумеется, было в этом, но мы уже по-другому воспитаны, сформированы. Нас учили не отдавать приказы (хотя умеем и это), а трудиться вместе с рабочими, уважать их как равных; упрямые и заносчивые начальники из нас не получаются...»

Вертим в руках свои рюмочки с палинкой, торжественно беседуя на высокие темы. В подвальчике становится душновато от табачного дыма, и я в тысячный раз обещаю себе забросить сигареты подальше, потому как понимаю, что дышать уже почти нечем. Дьердь Тот, судя по всему, придерживается того же мнения, потому что встает и открывает окно, впуская в подвальчик немного дворовой пыли, смешанной с воздухом.

«Ну вот,— бурчит он, возвращаясь к столу,— сейчас официанты несуетливы, им до чистого воздуха дела нет; станут они вам еще окна распахивать!..»

«Шутки шутками,— продолжает Рудински,— но репутация страны складывается как мозаика в современных музеях — из самых неожиданных деталей. Вот не открой Дьердь окна, сегодняшняя духота и головная боль могли бы испортить нам впечатление от встреч со здешними нефтяниками. Не спорьте, сами знаете, сколько значат подробности, насколько трудно бывает отделить мелочи от главного. Это относится и к вашей и к нашей жизни: мы ведь все самые обыкновенные эмоциональные люди, трамвайный грубиян может перебить сотню самых светлых эмоций, как это ни обидно. Так что вот вам еще одна общая государственная проблема — борьба с хамством. Нет мелочей в наших контактах; все внове, и деталь порой приобретает та-акое значение! Ну вот, бюрократы, возвращаюсь к ним, родимым. Это ведь, понимаете ли, такое же хамство, но хамство канцелярское, в белых перчаточках, надо откровенно говорить о нем. К примеру, автомат спуско-подъемных операций, необходимый нам, буровикам, как воздух, обсуждался уже в пятнадцати секциях СЭВа, и конца нет обсуждениям, и нет у нас автомата...»

Иштван Рудински вытирает лоб, утомленный собст-

венной откровенностью, и говорит привычную в таких случаях фразу: «Вы не обиделись?»

А почему, собственно, мне обижаться? Радоваться надо, что достигнут уровень отношений, при которых мы умеем разделять не только материальные блага, в числе коих значится нефть, но и радость, боль — все, что наполняет жизнь и, собственно, является жизнью...

«Как поживаете?» — спрашивает у нас Имре Балла, подсаживаясь к столу. Товарищ Балла — начальник здешнего филиала научно-исследовательского института нефтяной промышленности, видный и опытный ученый.

«Ругаем хамов, бюрократов и курильщиков»,— говорит Дьердь Тот.

«Правильно делаете»,— серьезно соглашается Балла, закуривая. Мы еще немного толкуем о сельском хозяйстве, о том, как живут в кооперативах,— родной брат у руководителя здешних нефтяников руководит большим сельскохозяйственным кооперативом и только что гостил в Сольноке. Имре Балла говорит о том, как механизация, энергетический достаток преобразовали деревню,— там живет теперь гораздо меньше людей, чем прежде, а производят они больше, чем когда бы то ни было. Здесь ведь бывало голодно до войны; теперешняя Венгрия производит по тонне пшеницы на каждого из своих социалистических граждан, значит, имеется и хлеб, и мясо, и вся остальная еда. Дополняя и пересказывая наш разговор с Баллой, могу поручиться, что таких заваленных продуктами гастрономических прилавков, как в Венгрии, на белом свете немного. И при таком хлебовинно-мясном изобилии в своем доме венгры ежегодно экспортируют с полмиллиона тонн пшеницы, почти столько же яблок, больше двух миллионов гектолитров вина. Доля маленькой Венгрии во всемирном экспорте колбас составляет 13,9 процента (!), а в экспорте птичьих тушек — 11,9 ((!). И так далее. Одними лишь цифрами можно доказать преимущество социалистического сельского хозяйства. И еще как!

Благосостояние новой Венгрии очевидно. Недавно пришлось ввести специальные таможенные ограничения, потому что австрийцы, кичащиеся своим витринным благополучием, целыми караванами потянулись в Венгрию — заправить автомобиль под пробку здешним бен-

зином, набить багажник под крышку здешними продуктами. В таможнях визитеры виновато улыбаются и бурчат, что, мол, надо же делиться. Когда-то имперская Вена не спешила делиться с колонизированной Венгрией: у них-де было и дешевле и лучше! Теперь австрийцам даже выпить за старые порядки удобнее на венгерской стороне — бутылка «Советского шампаиского» продается в Будапеште за 70 форинтов, а в Вене — за 200...

«Конечно же надо делиться,— вмешивается Дьердь Тот.— Но, во-первых, дележка — процесс взаимный, во-вторых, надо уважать тех, с кем делишься или, обозначим по-деловому, с кем торгуешь. Если сводить государственные проблемы к бытовым, то скажу, что когда-то в Свердловске я жил у знакомых и вдруг увидал то, чего у нас, венгров, никогда не было в таком виде и чему позавидовал. Вдруг увидел, как просто, с улыбкой сосед ходит к соседу одолжить спички, яйцо, хлеб, и это считается нормальным, привычным. Люди живут по-братски, даже в подробностях жизни ощущается их единство. И народы должны жить как добрые соседи, так мы с вами живем. Только есть у нас и другие соседи, норовящие урвать побольше да подешевле; покупать у государства — не покупают централизованно, а тянуть — тянут, очереди создают в городах у границы. У нас многое в избытке, мы готовы делиться и делимся хлебом, вином, фруктами, но уважайте же нас...»

(Справка: ряд нефтедобывающих стран — Иран, Ирак, Ливия, Кувейт — подписали с ВНР долгосрочные соглашения о поставках венгерских пищевых продуктов на свои прииски...)

Имре Балла, начав разговор с консервированного перца, вина и колбасы салями, переходит к воспоминаниям о друзьях, с которыми особенно приятно посидеть у столов обеденных и рабочих; о том, как, бывая в командировках в Союзе, он накупает венгерских продуктов в гастрономах Москвы и устраивает для друзей обеды, «как в Сольноке». Рассказывает о советских конструкторских группах буровой техники, об исследователе-коллеге Анатолии Георгиевиче Калинине, вместе с которым доводилось работать, изучая прохождение наклонных скважин. И праздновать доводилось вместе с советскими людьми, и завтрашний день планировать — все вместе...

Маленький Сольнок, сосредоточивший в себе основные предприятия венгерской нефтедобычи (а в стране добывается все-таки около двух миллионов тонн «черной крови» ежегодно), переполнен достоинством. В 1919 году этот город (в дни Будапештской Коммуны Советская власть держалась в нем особенно крепко) контрреволюционеры пренебрежительно назвали «маленькой красной Москвой». Кличка, присвоенная когда-то врагами, стала предметом нынешней гордости: слишком уж многое воспринимается здесь неотъемлемо от Советской страны и советской столицы, в том числе большая нефть. В 1945 году в городе оставалось около трех тысяч жителей, рассеянных по развалинам, но одна из самых надежных организаций коммунистической партии действовала именно в Сольноке. Когда в 1956 году подняла голову всякая мразь, товарищ Янош Кадар провозгласил и возглавил революционное правительство Венгрии здесь, в Сольноке. Отсюда народная рабочая власть возвратилась в загаженный контрреволюционерами Будапешт и восстановила алый флаг над придунайской столицей. Мне в Сольноке много раз повторяли слова о «маленькой красной Москве», всегда как высшую характеристику города, едва ли не с той интонацией, с которой в Киеве произносят: «Мать городов русских».

Мы пьем палинку, громко провозглашая здравицу всем городам, объединенным духом братства, жизнью для мирного человеческого сообщества. Подвальчик, где собираются нефтяники, принимает новых посетителей и выпускает на улицу тех, кто устал. Иштван Рудински, начинавший беседу, ее и заканчивает: «Здесь выросли целые поколения друзей Советской страны и советского строя. Мы привыкли полагаться на вас и знаем, что можно надеяться на рабочих, на солдат, на ваших ученых, мы всех убедительно проверили общей жизнью и за братство наше спокойны. Только надо уходить вглубь в творении, осмыслении, укреплении этого братства, надо бороться за молодежь, особенно за ту ее часть, для которой все легко и очевидно уже вначале. Мы боремся за нефть, когда еще нет ее, когда еще не добурились до слоя; мы ведь все выстрадали, преодолели, добыли, а сейчас приходят люди, которые все получили в готовом виде. Передать им традицию и смысл братства — общая забота; ведь мы даже в понимании врагов наших объе-

динились, нас по отдельности уже унизить не пытаются. Коль хотят обидеть нашу сегодняшнюю жизнь, начинают унижать вас. Мы таки связаны с вами накрепко, говорю это не только потому, что у меня теща в Курске и диплом из Москвы. Наш народ связан с вами...»

«И ваш тоже,— как обычно, перебивает нас инженер Тот.— Был я в Москве, заблудился, искал улицу Гарибальди, где остановился у друзей. Таксист возил меня, возил, а затем увез ночевать к себе, угощал до утра, сам нашел моих знакомых, уговорил, успокоил; очень уж хотелось ему заполучить меня в гости, хоть на один день: таксист когда-то освобождал Сольнок...»

«Надо хранить и воспитывать доверие,— добавляет Имре Балла, подымая прощальную рюмочку абрикосовой палинки.— Мы уже привыкли полагаться на вас, не как нахлебники, конечно, а как соратники, коллеги, друзья — это важное уточнение. Только бы это не расслабляло нас, только бы не забывали мы о той самой поговорке, где слова «надейся» и «сам не плошай» стоят рядом! Но когда я встречаюсь с вашими специалистами по бурению или другими коллегами, мне кажется, что вы щедрее к другим, чем к себе. Мы на вас уверенно полагаемся, и вы откровенны с нами. Но порой думаю, что категориями СЭВ мы научились мыслить массово быстрее, чем вы. У вас немало еще специалистов, постарому полагающихся только на собственные силы и не поспешающих принимать наши разработки к немедленной реализации,— они словно боятся мистической заграницы, а почему — сами не знают... Не обижайтесь, но вы бываете скрытнее и сдержаннее нас, хоть и парадоксально это, потому что науке открытости и щедрости душевной мы ведь у вас, советских людей, учились...»

Вот так беседовали мы о здешней нефти, о подробностях ее добывания и подробностях жизни; нам легко разговаривалось, потому что и нефть и жизнь добывались не просто и не было несущественных подробностей в процессе этой добычи.

Начну со справки, связанной с прошлым.

Несколько засух и недородов первой половины столетия превращали целые районы Центральной Европы в зону сплошного бедствия. Кризис был глубок и тягостен — не могу судить о нем по статистике и по художественным свидетельствам. Искусство и наука одинаково точно фиксировали, насколько несчастны, беззащитны бывают люди, которым жизнь не подчинена. А ведь люди эти были добры. Трудящиеся люди Словакии, те самые, чья доброта едва могла воплотиться в конкретности добрых дел,— слишком уж была жизнь жестока к ним. Перечитываю очерк Ильи Эренбурга, написанный пять десятилетий назад именно в тех местах, по которым сегодня доводится ездить мне. «Это было на севере, в Оравском округе, который даже в нищей Словакии славился заведомой своей нищетой. Косая избенка. О достатке словацких крестьян обычно говорят: тарелки на стенах и горы подушек. Здесь не было ни подушек, ни тарелок — только дым, докучные мухи, настороженность летнего полдня и грустный грудной голос хозяйки: «Нех са вам пачи!» («Пожалуйста!») — угощала она нас кислым молоком. Мы хотели заплатить, если не за ласку, то за кринку; ведь мы твердо помнили, что такое денежное обращение, что такое крестьяне, что такое наш высокий век. Баба обиженно усмехнулась: «Не нужно». Голая изба, пустой хлев...»

Засуха, недороды были убийственны и с трудом преодолевались. В районах, которые последовательно принадлежали Венгрии, ни один из недородов не был преодолен по-настоящему ни урожаем, ни памятью.

Теперь короткая справка из современности.

В Чехословакии после страшной засухи 1976 года, когда сельскохозяйственная продукция снизилась на 2,7 процента, уже в 1977 году продукция возросла на 7,9 процента (планировалось увеличение только на 2,5 процента). Поголовье скота увеличилось на 104 ты-

сячи голов, свиней — на 690 тысяч. В Венгрии после 3-процентного снижения продукции в 1976 году наступил 9-процентный подъем 1977 года. Животноводство увеличило свою продукцию даже на 10 процентов.

Трактора заправлялись бензином, и еще множество раз — от удобрений до гербицидов — люди воспользовались нефтью, производя пищу для мира.

Сказав о пище для мира и приблизившись к разговору о будущем, я приведу еще одну справку из гамбургской «Цайт». Газета эта серьезная, и я знаю, что работы, упоминающиеся в ней, ведутся и в нашей стране. Заметка меня впечатлила, тем более что я поэт, а не ученый, и я с ужасом подумал об иных «писателях-почвенниках», от которых все дальше уходит бессмертный их герой с дудочкой за поясом и с козой на веревочке. Как-то будут они?

Цитирую: «В настоящее время в мире ежегодно производится 40 миллионов тонн белка — слишком мало даже на сегодняшний день. К концу нынешнего столетия ежегодная потребность человечества в протеине составит около 100 миллионов тонн. Пытаться достигнуть такого уровня производства белка, опираясь только на полеводство и животноводство,— безнадежное занятие. Моря и океаны также едва ли обеспечат достаточное количество протеина. Поэтому многие ученые наиболее перспективное решение проблемы видят в другом — в получении белка из нефти...

«Бритиш продактс» построила опытную установку вблизи нефтеперерабатывающего завода неподалеку от Марселя, которая сегодня дает до 20 тысяч тонн протеина в год... В Шотландии была построена опытная установка производительностью 4 тысячи тонн протеина в год...

Сырья для получения «протеина из реторты» предостаточно. Даже наибольшая часть добываемой сегодня нефти или природного газа, переработанная в белок, могла бы обеспечить им все население Земли на длительный срок».

Из очерка Ильи Эренбурга „1928 в Словакии"

«Страна без городов! Сознание никак не мирится с этой чуть ли не снобистской беднотой, националисты не могут надумать, из какого бы села сделать им столицу, а курьерские поезда (по-чешски как это ни чудно, «рыхлики»), разлетевшись из Праги, не знают, возле какого плетня им приличней остановиться...

Столица Словакии — Братислава. Слов нет, это почти европейский город, с театром, с ночными барами... столицу наняли; наняли немецких фабрикантов, еврейских биржевиков и венгерских журналистов. От Братиславы до Вены полтора часа — трамвай ходит,— это почти Пратер, и до войны в Братиславу приезжали сентиментальные парочки повздыхать или выпить «под вечами»... Отель «Карльтон» в Братиславе давно не ремонтировали, он опустился, оброс подозрительной щетиной,— чем не венгерский магнат после земельной реформы? Прогорели увеселительные заведения... Словацкие газеты быстро увозят из печати на вокзал, а газетчик, войдя в «приличный» ресторан, помахивает немецкими или венгерскими листками. С таким же успехом столицей Словакии могла бы стать любая «международная выставка», палуба трансатлантического парохода или кафе Монпарнаса...

Есть еще в Словакии большой городок — Кошицы, но он далеко на востоке... С виду Кошицы — заурядный губернский город средней России. Душа его, разумеется, базар, где грудятся сита и горшки, где божатся, набавляя крону на лук, и где торгуют до хрипоты иконами или жареной колбасой. Особняки с палисадниками. Ларьки с фруктовой водой. По городскому саду бродят разморенные жарой, страстью и военным оркестром местные Псише без подмышников. Пыль и заунывный романс влюбленного счетовода...

Словацкие города... вовсе и не города, это разросшиеся села. Одна длиннющая улица, базарная площадь, номера для приезжих, бильярд для чиновников, кожемятня или сыроварня, огороды, чтобы не переплачивать на укропе, две-три церкви, две-три школы, староста, а в кабаке портреты Масарика, какой-нибудь кинодивы...»

Хлеб

Советская государственная граница — в нескольких десятках километров отсюда, совсем рядом. Председатель кооператива «Триговиште», желая пояснить мне, как это близко, сообщает, что на комбайнах колхозники преодолевают межгосударственное расстояние очень быстро и, собрав хлеба по одну сторону границы, вместе скашивают и молотят их по другую сторону. Вот и в прошлом году советские механизаторы из Закарпатья, которыми руководил Иван Андреевич Кокотко, за две недели убрали у них в «Триговиште» весь урожай. А когда словацкие комбайнеры поехали на советскую сторону, то один из них, по фамилии Шкунда, женился в колхозе «Дружба народов» Ужгородского района и привез молодую супругу на сиденье комбайна, на котором убрал хлеб.

Этот район Восточной Словакии некогда был настолько безграмотен, беден и беззащитен, что казалось — никому и не нужен он со всеми своими болотами, предгорьями, дождями. Главный агроном кооператива Михаил Куруц говорит, что те, кому за одну лишь еду удавалось устроиться у помещика, считались счастливцами. «Здесь неподалеку проходит нефтепровод, кое-где над зарытыми трубами даже растет пшеница. Это как символ, потому что с газом и нефтью у нас преобразовалось многое: теплее стало, удобрений прибавилось, трактора заправлены под пробку... Да только ли в этом дело?»

«Не только в этом! — твердо говорит Иван Ковач, председатель кооператива.— Помню, как в 1939-м началась война и к нам сюда, через болота и поймы, пробились два польских офицера из разгромленной армии. «Как там? — спросил я.— Даст бог...» Поляк огрызнулся: «Бог? Вся надежда теперь на Советский Союз, только они могут что-нибудь сделать, только они...» Мы это знали без всяких разгромленных офицеров, но надо, чтобы вы поняли, как мы ждали вас в этих местах. Даже

земля наша никогда не давала таких урожаев до вас, до освобождения...»

«Что касается земли, то это не только эмоции, а наука. Мы здесь испытывали новые сорта, устраивали общие проверки посевного материала — академику Шпалдоню помогали и с Сельскохозяйственной академией в Нитре дело имели,— добавляет Михаил Куруц.— Вы непременно загляните в академию и, если удастся, поговорите со Шпалдонем. А у нас ведь в «Триговиште» — как всюду в Словакии».

У академика Эмила Шпалдоня тоже как всюду в Словакии. И все-таки чуточку по-другому.

Помещения Сельскохозяйственной академии в Нитре строились в разные времена, и в зданиях спаяны добротные старые стены из кирпича с железобетонными, а дубовые перила капитальной лестницы вдруг переходят в сосновое легкомыслие модерных панелей из сбитых гвоздиками планок. Впрочем, здесь полностью отражены стили, господствовавшие в административной архитектуре за последние тридцать с небольшим лет, никак не больше. Словацкая сельскохозяйственная академия начала функционировать с 1 сентября 1948 года. Академик Эмил Шпалдонь, один из крупнейших в мире авторитетов по зерновым, формировался как ученый одновременно со всей отечественной сельскохозяйственной наукой. На 15 центнерах с гектара, которые считались оптимальным урожаем пшеницы в довоенной Чехословакии, академический авторитет приобрести было нельзя. Впрочем, какие там академические авторитеты! Эмил Шпалдонь, получивший диплом о высшем сельскохозяйственном образовании в самом начале войны, был вообще пятидесятым по счету дипломированным агрономом в тогдашней Словакии. Академик говорит мне об этом и показывает в сторону высотного корпуса новых аудиторий и кафедр: «За последние тридцать лет мы только в Нитре подготовили больше 1100 специалистов. Только в Нитре...»

Шпалдонь внимательно оглядывает меня. Он моложав, строен, движется с тем достоинством, которое заставляет иногда предполагать человеческую значительность по самому характеру взгляда, шага, движения навстречу тебе. Все это, конечно, весьма относительно,— я знаю глупейших и чрезвычайно-претенциозных типов,

которые нахлобучили на себя манеры римских сенаторов или, точнее, замашки актера передвижного театра, играющего Юлия Цезаря.

Но сейчас все было вполне естественным. В Шпалдоне ощущалась такая острая и точная готовность пойти навстречу оппоненту, ответить ему и поспорить, если оппонент готов к спору, что само общение с академиком характеризовало уровень научного учреждения, где он сформировался и вырос. Бесспорно, что такой незаурядный человек и ученый мог вызреть только в незаурядном окружении.

«Не преувеличивайте,— улыбнулся он мне навстречу.— Когда в 1941 году я начал искать работу, оказалось, что зерновыми никто не занимается, и до 1946 года пришлось разводить на пустырях красный перец; диссертацию тоже сделал по красному перцу. Но потом устроился в Нитре на мельницах, начал знакомиться с технологией обработки пшеницы, а в 1947 году ушел в науку, стал заведовать кафедрой вначале в Кошице, затем в Нитре. Вам интересно?»

«Интересно...»

«Самое интересное в этой истории, что когда составляли первые учебные планы, то прежде всего без колебаний изучали методику Тимирязевской академии, приспосабливали...»

«Получалось?»

«Получалось. Не думайте, что мы такие уж были беспомощные, сами себе программ не могли придумать. Просто пшеница — это не фольклор, здесь не обязательно, чтобы все было своим, домашним, родимым, кондовым, патриотическим, национальным или как там еще. Из пшеницы надо выпекать хлеб хороший, и столько хлеба, сколько народу требуется. Поэтому мы примеряли к своим условиям множество сортов злаков и множество методик подготовки агрономов. Ваша методика подходила нам больше других, потому что сама организация сельского хозяйства была подобной. А сорта пшениц подходили, потому что наши климатические условия очень похожи».

Шпалдонь разговаривает, формулируя свои мысли немногословно и точно. Он размышляет о нефти, потому что я рассказывал о поездке на здешний завод «Пластика» и потому что приход нефти и продуктов ее пере-

работки в сельское хозяйство сразу многое изменил. «Еще бы,— говорит Шпалдонь.— Сельскохозяйственные кооперативы без индустриальной базы просто немыслимы; индустрия невозможна без нефти, тут одно с другим. У нас ведь, что кажется мне величайшим достижением, переход от мелкого хозяйства к крупному не сопровождался падением валового сбора зерна: в этом ваша техника — тракторы, комбайны, бензин — сыграла тогда важнейшую роль! А затем начали набирать темпы, прикасались к советской нефти постоянно, уже не говорю о ней как о топливе, прикосновения были многообразней. В природе, знаете ли, никто не отменял еще закон сохранения энергии; хочешь урожай — дай земле удобрений вдоволь! За тридцать лет мы в Словакии во много раз увеличили количество удобрений — с 50 до 250, а под некоторые пшеницы и до 330 килограммов на гектар. Поэтому у нас в среднем по Чехословакии урожаи ниже 40 центнеров с гектара почти не случаются. Вы столько удобрений не даете и такого урожая не собираете. А нефтехимия — это ведь даже синтетические мешки, в которые удобрения запакованы; это и вон те белые дренажные трубы, что делаются на «Пластике» в Нитре и столько нам помогают в спасении низинных земель. Столько уже говорилось о «нефти — хлебе промышленности», а она и к самому насущному, нормальному «съедобному» хлебу ой как причастна! Не только в радостях, но и в том, скажем, что когда дорожает нефть, возрастают в цене удобрения, тракторное топливо и еще много всего, что немедленно повышает цены на хлеб и на мясо. А вы как думали? Тут все одно к одному, я же вам говорю... Надо, чтобы все мы научились понимать это, считать научились. Хлеборобство — точная наука...»

По всей Чехословакии советскими сортами пшениц засеяно 76 процентов полей (Шпалдонь рассказывает о своих связях с лабораториями советских академиков Ремесло и Лукьяненко; в 1963 году его кафедра подписала договор о сотрудничестве со специалистами Украинской сельскохозяйственной академии в Киеве, они даже выполняли общую исследовательскую тему: «Интенсификация производства пшеницы в Словакии и на Украине»). Организация СЭВ была еще молода, но хлеб уже был переломлен на общем нашем столе; контур неф-

тепровода только еще вызревал в самых смелых проектах, но необходимость его становилась между тем все более насущной, логика нашего общества учила мыслить и работать по-новому, обязывала к широте.

«Пшеница — не фольклор,— повторяет академик Шпалдонь.— У нас уже есть свои собственные сорта, в которых стопроцентно советская кровь — результат скрещивания ваших пшениц, но в условиях Словакии, на наших полях, для общего нашего урожая. Зато чехословацкие сорта ячменя все более популярны у вас. В эксперименте мы уже получили урожаи, о которых мечтаем на будущее, ведь нам надо на том месте, где довоенный крестьянин выращивал один колос, получить три-четыре. Возле Трнавы, в кооперативе «Остров», собрали по 106 центнеров, а в селе Липава возле Нитры — по 109 центнеров с каждого из девяти засеянных гектаров. Ваш академик Ремесло очень гордится такими урожаями будущего, это ведь были его мироновские сорта.

Помните ли — наши люди любят поесть и очень успокоены тем, что голод им не грозит. Людей прибавляется, а пахотной земли убывает. Практически мы уже распахали в Чехословакии все что можно. Единственный путь — интенсификация; на корм скоту надо больше использовать травяные урожаи лугов и пастбищ, зерна ведь не напасешься...

Я родился в беднейшей части Северной Словакии, среди голода и безработицы прошло все детство, вся взрослая жизнь посвящена преодолению голода. И нефть ваша — это ведь тоже преодоление голода. В моем родном селе Кисуце простые люди сейчас живут, как раньше богачи не живали. Дома у них замечательно, но беззаботности, случается, тоже хоть отбавляй. Впрочем, я, может быть, на них наговариваю: вспомнил, что в мои молодые годы урожай в Словакии собирали месяца два, студентом подрабатывал на уборке, так запомнил даже, что в 1936 году был в поле с 5 июля по 30 августа, прямо с поля на учебу возвращался. Теперь в том же районе большой совхоз, урожаи куда больше, а управляются дней за десять. Нет, это я зря про беспечность сказал...»

«Какая там беспечность?! — восклицает Франтишек Кубовчак, председатель кооператива в селе Долна Кру-

па.— Мне шестьдесят лет, и больше тридцати из них я работаю в здешнем кооперативе. Всякое видывал, могу сказать разве что об избытке уверенности, которая иногда убаюкивает людей. Устали жить в напряжении, а хорошая жизнь избавляет от такой, знаете, волчьей бдительности; спокойнее живем. Мы вам еще расскажем про историю нашу; но, что вы должны усвоить уже вначале, это — другое качество жизни. Ведь был здесь известный граф Брунсвик; было еще четыре помещика, не шибко богатых, потому что больше 20—25 центнеров с гектара не собирали ни у одного из них. Были середняки со своими 10—15 гектарами каждый, работавшие от зари до зари. Были совсем бедные, нанимавшиеся за еду и малую плату. На всю нашу Долну Крупу набиралось едва 19—20 гимназистов. Чтобы учить сына, надо было землю продать, лошадь или корову, если таковые имелись. А корова с лошадью бывали в семье оплотом: падала рогатая или гривастая кормилица — всем становилось худо, вся семья могла погибнуть следом за лошадью или коровой. Это сейчас мы за государственный счет ежегодно определяем для учебы в вузах человек по двадцать, а то и больше. Это сейчас мы не берем меньше чем по 52 центнера пшеницы с гектара в среднем, а советская «юбилейная» давала и по 63 центнера, а югославская «сава» однажды уродила все 68.

Вы понимаете, как изменилась жизнь? Это не разделяется на части: изменения по нефти, по зерновым, по жилью. Вся жизнь стала другая. Причем изменилась она на памяти одного поколения. Мы приступили к реализации мечты, но пропущенной сквозь органы государственного планирования, становились из романтиков реалистами — это был гигантский психологический перелом...»

Франтишек Кубовчак — одна из легенд местной сельскохозяйственной кооперации. Все знают его, и он знает всех. Академика Эмила Шпалдоня он тоже знает, потому что академик приезжал и знакомился с теми, кто работал на его сортах, многое советовал, писал письма после. Академик вообще любит ездить по крестьянским хозяйствам. Даже это совершенно небывалое...

Кубовчак поглядывает на меня и гладит свой видавший виды председательский стол огромной ладонью.

Кабинет председателя в старом здании, рядом строится новое, с хитрым фигурным фасадом, с широким парадным входом; новое здание — для поликлиники, теперь кооператив может построить для себя все что угодно, даже поликлинику с фигурным фасадом.

Председатель кооператива — личность колоритнейшая, он здесь с первых лет коллективизации, а до этого — всю предшествовавшую жизнь — батрачил у помещика в этой же Долной Крупе.

«Дело в том,— глядит мне в глаза Кубовчак,— что когда ты бедный, а рядом с тобой кто-то ничего не делает и заставляет тебя гнуться на арендованной делянке, то хочется другой жизни и другой справедливости. Русофильство наше было всегда и защитой против германцев, и последней надеждой на правду, в том числе социальную. Мы настолько связывали свою судьбу с вашей, что когда в начале войны Красная Армия отступала, плакали от отчаяния. Потому что знали — фашисты нас уничтожат, если не будет вас.

Вы были как мечта о спасении. Затем пришли ваши солдаты, крестьянам была роздана земля; затем пришел ваш бензин (вы спрашивали!), пришла ваша техника, и следом за ней пошли ваши сорта зерна — это когда мы уже объединились в кооператив. Когда мы раньше тут бедовали, многие из Долной Крупы уходили на заработки в Трнаву или дальше — на заводы, в рабочие артели. Позже, когда создавался кооператив, нам эти люди с их пролетарской психологией очень нужны были. Многие из них возвратились. И мой отец, он был рабочим у графа, тоже хотел кооператива, и еще другие старики, которые помнили Республику 1919 года, были с ним».

(Здесь я добавлю от себя, от автора, так сказать, председатель Франтишек Кубовчак от кооператива не отрывается; только три года, в 1958—1960 годах, заведовал сельхозотделом в райкоме партии, откуда односельчане буквально отвоевали его обратно. Живет Кубовчак, как жил и при создании кооператива, в старой материнской хате. Приходит на работу в 5—6 утра ежедневно.)

Франтишек Кубовчак продолжает: «Мы читали «Поднятую целину» и пытались предвидеть, как будет у нас. Вначале в кооперативе было у людей всего 7 ко-

ров, 7 лошадей и 150 гектаров земли; затем стало 380 гектаров, а в начале пятидесятых годов — уже больше двух с половиной тысяч гектаров пахотной земли. Практически все хлеборобы к тому времени вошли в кооператив. Помещики потихоньку расползлись, исчезли из села — без стрельбы, без поджога усадеб, как бывало у вас, просто исчезли, будто ветер их унес. В 1968 году один вдруг объявился, так его наши кооператоры так турнули, что летел без оглядки. Вот, поверьте мне, приказало бы правительство распустить кооператив — не послушались бы, так привыкли и так народу понравилась эта жизнь. Не сразу получилось у нас, но что уж получилось, собственными руками сделано, с друзьями обсуждено...»

Это уже исторический опыт. Долна Крупа выстрадала свое отношение к социализму и всему, что с ним связано. Когда я позднее ходил из дома в дом и любовался всем этим двухэтажным великолепием — цветными телевизорами на полированных тумбах и черно-белыми автомобилями в гаражах, думать хотелось об одном: да станет память Франтишека Кубовчака всеобщей! Спрашиваю о прошлом у Йозефа Секоры, двадцатисемилетнего владельца только что построенной виллы. Молодой домовладелец не шибко информирован об истории. Он доволен собой и нынешней жизнью, не ведая почти никаких подробностей прошлого. Он честно работает, честно воспитывает детей и честно смотрит телевизионные передачи по приемнику, который сам умеет чинить,— специальность телемеханика он получил бесплатно в техникуме, в Трнаве. Мир этот до того естествен для Йозефа, он другого просто не знает, что на все мои вопросы по истории Секора снисходительно улыбается. Так владелец коробка спичек улыбается на предложение добыть огонь трением щепки о щепку — зачем?

...Неужели забудут когда-нибудь? Знаю, верю, что не забудут, верю в социальность памяти Франтишека Кубовчака — только ли его?

Председатель местного райисполкома Августин Богуницкий, когда мы обедаем, успокаивает меня: в кооперативе только процентов двадцать людей младше тридцатипятилетнего возраста, остальные помнят прошлое, собственной жизнью успев ощутить его уроки.

А когда создавали музей Долной Крупы, сколько люди принесли всего, сколько рассказали! Он, Августин Богуницкий, написал книгу по истории Долной Крупы. Весь тираж распродан вмиг, уже не достанешь. В местный бюджет включены деньги на музей, и как этот музей популярен! Проблема ослабления памяти, забвения путей к радости представляется ему неясной угрозой, но никак не реальной опасностью. Дай-то бог...

Совершенно верно, что в каждой большой проблеме есть маленькая проблемка, стремящаяся к освобождению. И еще правильно, что все старые бумаги ни для чего не нужны до тех пор, пока вы не решитесь их выбросить. И так же истинно правило айсберга, распространяемое на все случаи жизни,— семь восьмых всего на свете скрыто от поверхностных наблюдений.

Августин Богуницкий — человек вдумчивый, политичный и умный. Молодой еще мужчина — сорока нет,— избранный на ответственный пост в Совете и делающий для людей очень многое. Когда Богуницкий иронически формулирует мне правила, изложенные в предыдущем абзаце, я думаю, сколь точно задуман и выстроен местный музей; сколь необходим он именно теперь и здесь; молодец, Августин!

Председатель райисполкома толкает дверь (музей не заперт), и мы входим. «Нефть — хлеб для промышленности, музеи — хлеб для памяти, а пшеница — хлеб для обеденного стола»,— поучительно изрекает он, указывая на стенды.

Под стеклом фото из моего детства: женщина, идущая за плугом, в который впряжены две коровы. Это первая мировая война; двум упряжным коровам с фотографии еще повезло — большинство скота Долной Крупы реквизировали на мясо для австро-венгерской армии. Тогда на войну из Крупы ушло 237 мужчин, на стенде длинный перечень имен и данные о могилах, разбросанных от Италии до Сибири. Самому старшему, Йожефу Симоничу, было 43 года, самому молодому, Эристу Коташеку,— 18. Те, кто еще долгие годы после войны погибал или страдал от ран, в списки не внесены. Зато есть еще один список погибших для Долной Крупы — тех, кто навсегда ушел отсюда в эмиграцию; за первую треть столетия уехали 268 человек. В музейных реестрах — длинный перечень путей, по которым

народ уходил отсюда. Родина была мачехой, от нее уходили по-разному и по-разному исчезали в мире. Стефан Ярабек, например, был изгнан за революционную деятельность — так он и в эмиграции в США ее продолжал и там был арестован. Ян Казимир погиб, а Имрих Благо был тяжело ранен, сражаясь в испанских интербригадах. Винцент Галгоци был расстрелян при разгоне рабочей демонстрации в Буэнос-Айресе. На отдельной доске длинный список тех, кто погиб в Америке при шахтных обвалах, пожарах, в беде. (Августин Богуницкий стучит карандашом по доске: «Сюда надо привозить американских миллиардеров и тыкать их в доску носом — вот на чьей крови богатство ваше!») Читаю американский реестр: Д. Толарович, Ц. Вадович, С. Юнас, С. и Д. Богуницкие, Д. Кохайда...

На отдельных витринах выставлены доносы: вот один, свидетельствующий о том, что 25 сентября 1925 года сто двадцать человек собрались в Долной Крупе на партийное собрание коммунистов; рабочий Лишка говорил о том, что на 8—10 крон дневного заработка выжить нельзя. На выборах 1925 года компартия получила в Долной Крупе 246 голосов.

История логична, это следует даже из полицейских бумаг: в октябре 1939 года крестьяне провели здесь демонстрацию против клерикально-фашистского режима и войны. Тридцать человек отсюда сражались в Словацком национальном восстании; трое погибли во французском Сопротивлении...

Еще что-нибудь о красивой жизни в красивой деревне, близкой к таким живописным хребтам Карпат? В тридцатые годы тут случилось подряд четыре самоубийства; тридцать жителей Долной Крупы официально получили разрешения на попрошайничество, на жизнь с милостыни. Старый Людовит Недобрал, последний из сельских легальных нищих, жив до сих пор, он звонарь в местной церкви. Хотел увидеть его, но старый Людовит на день-другой куда-то уехал...

Когда Франтишек Кубовчак говорил мне о том, что крестьяне верят в кооператив и ни за что уже не отойдут от общего дела, я думал, как легко стала музейной вся их многострадальная память и сколь сложен феномен забывания, коль уже возникает он, затирая историческую перспективу хоть кому-то. Долна Крупа возник-

ла в тринадцатом веке, через нее прошло множество добрых и злых людей, но впервые ответственность за собственные судьбы, землю, будущее так серьезно обременила здешних жителей. Народная власть — это ведь не только то, что свершнлось; это еще н то, что будет завтра и послезавтра. Комбайны, трактора, нефть, пшеница, музей — все принадлежит долнакруповцам, но большинству населения это досталось уже готовым, и почти никто из жителей Долной Крупы ничего не помнит о графе Брунсвике.

А граф был знаменит на всю Европу. В замке Брунсвиков (там сейчас музей старинных музыкальных инструментов и Дом творчества композиторов) бывали Бетховен, Шуберт, Рубинштейн, Кодаи, Барток. В течение многих десятилетий в концертном зале на нижнем этаже замка звучала лучшая на свете музыка. Впрочем, говорят, Бетховена не пускалн в замок — музыканты должны знать свое место. Бетховен жил во флигеле. Если бы академик Шпалдонь приехал к Брунсвикам, его бы, разумеется, тоже далеко не пустили, очень уж демократическое у академика происхожденне (как ответнл некогда Ломоносов на вопрос о знатности своих предков: «А я сам — предок знатный!»). Отец Франтншека Кубовчака служил при последнем графе, так что у председателя кооператнва, можно сказать, имелнсь большие прндворные связн, жнзнн ему, впрочем, не облегчавшие.

«Поглядите, — говорит Богуннцкий,— здесь еще кое-что есть, спецнально для вас. Давайте-ка посетим Анну Полачек; тоже ведь аргумент об отношениях между народами...»

Уже по тому, как Анна Полачек начала говорить со мной, я понял, что она с Украины; н верно, с Украины, из Николаевской областн. Немцы угнали ее в 1942 году на каторгу вместе с другими девчатами. Попала Анна Николаевна в Линц, познакомилась там со словаком Йозефом Полачеком нз Долной Крупы н вместе с ним ушла от немцев. Поженились они с этим словаком уже в Долной Крупе, где жнли вначале тайно, а затем как положено, со свадьбой, это уже после освобождення. Когда пришла Красная Армия, Анна Нназаевна восстановила свое советское гражданство и до снх пор его сохраняет. Она горда тем, что в годы войны ее скрыва-

ли, а затем приняли после войны именно как советского человека, как человека о т т у д а, как свою. Полачек уже принимала в гостях у себя кого на две недели, а кого и на месяц — родичей из села Пересадовка, что под Николаевом. В этом году сама отправляется погостить в Советский Союз. Семеро детей Анны Николаевны выросли, выучились. («Вам за семерых детей специальная медаль у нас полагалась бы»,— говорю Анне Полачек. «А мне и здесь дом построили от кооператива, сейчас новый отстраивают»,— улыбается Анна Николаевна, разглаживая ладонями скатерть.) Она уже на пенсии, и муж ее на пенсии, все в доме есть, а больше всего внуков, восемнадцать новых жителей Долной Крупы зовут ее «бабичка», вот и самую маленькую внучку сейчас только искупали. Маленькую внучку разглядеть не удалось — в махровом полотенце в облаках пара и визга она исчезла в глубине дома. Анна Николаевна улыбается: «Самая младшая дочь — экономист колхозный, живет с мужем и ребенком пока при нас. И ей и нам веселее. Вот с моим старым Йозефом достраиваем себе новый дом, дочка в этом останется. Посмотрите, какой хороший дом, и гараж построен. И газ есть; это, говорят, приходит аж из Сибири...» Анна Николаевна добывает из буфета бутылку бренди и начинает сворачивать ей латунную шляпку; Августин Богуницкий берется ей помогать. «Хлеб попробуйте, хороший он у нас»,— говорит Анна Полачек и пододвигает мне деревянную миску с крупно нарезанными ломтями. В глубине дома радостно кричит внучка, на белой крахмальной скатерти стоит хлеб, мне было бы трудно сыскать более убедительный символ мира в этой деревне, которую столько раз унижали и грабили, которая выстрадала свои сегодняшние радость и достоинство, хорошо зная им цену...

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 13

Гостиницу «Киев», в которой жил я в Братиславе, открыли несколько лет назад, в канун первенства Европы по фигурному катанию на коньках. С тех пор в гостинице живали министры, знатные сталевары и актеры, сыгравшие весь шекспировский репертуар. Но тени фигуристов по-прежнему тревожат полированный уют лучшей гостиницы Братиславы; официанты рассказывают, что едали на завтрак великолепные исполнители пируэтов на одном коньке и чем «тройной сальхов» отличается от двойной сливовицы. Мне рассказывали о фигуристах так, словно репутация целых стран навсегда зависима от умения танцевать на искусственном льду под магнитофонную музыку. Для разнообразия я интересовался тем, что же выпускает «Словнафт» и чем он отличается от «Аполо». На меня глядели, как на анахорета, живущего в стороне от главных событий времени, и рассказывали, как шайба (сделанная, кстати, из нефтепродуктов, да простят мне эрудиты такой цинизм) врезается в сетку ворот команды с трудно произносимым названием. И еще мне рассказывали, как на днях вот здесь, в Братиславе, на стадионе, отныне прославленном на весь мир, некто ударил по мячу с такой силой, что испанский вратарь мяча не поймал. «Мы лучше Испании!» — восторженно сообщил мне собеседник. «Вам что, программа кортесов не по душе?» — деликатно осведомился я и снова почувствовал себя провинциалом, отсталым и невоспитанным — так на меня взглянули. Чтобы как-то спасти свою репутацию, я произнес фразу, усвоенную из классики: «А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?» Но, поскольку бей не играл ни в баскетбол, ни в водное поло, фраза впечатления не произвела.

Люблю бывать в цирке. Лошади ходят на дыбках, лев глотает канареек, а тюльпан заливается соловьем. Но когда я выхожу из цирка, реальная система ценностей восстанавливается неопровержимо: львы, канарейки и тюлени с лошадьми удаляются на места, надлежа-

щие им по всем правилам человеческой жизни. Постоянная жизнь вблизи арены была бы забавной, но истинный порядок вещей все-таки познается не там. Я не всегда могу воспринять интонации спортивного комментатора, когда он на полном серьезе верещит голосом монашки, проснувшейся в одной постели с дельфином. Я не соглашаюсь, когда престиж державы отождествляют с умением некоей пятиклассницы крутить сальто в углу синтетического ковра. Меня радует, что дети наши здоровее, чем когда бы то ни было (и чешские, и словацкие, и венгерские дети тоже), и я вижу престиж государства именно в этом. Если наши здоровые и ловкие дети еще и побивают мировые рекорды по плаванию, прыжкам и бегу с препятствиями,— честь им и слава. Слишком много видывал я на Западе закрытых клубов и частных теннисных кортов, где ребята в возрасте моих сыновей не могли пробраться дальше прихожей. И не надо все-таки забывать, что умение какого-то одного человека высоко подпрыгнуть или кататься на коньках означает всего-навсего, что человек этот умеет подпрыгивать или кататься на коньках. Ничего больше. Во всяком случае, оттого, что одна из латиноамериканских стран выиграет первенство мира по футболу, неграмотных и голодных в ней не убавится.

«Знаете,— сказал мне Ладислав Мартинак, мэр Братиславы,— иногда мы проглатываем чужие пропагандистские стереотипы, сами того не замечая, и на пользу это нам не идет. Ведь создаем, показываем всему миру самое ценное, самое неповторимое, что у нас есть,— образ человека труда, ставшего хозяином государства; часто ли мы делаем это убедительно? Зато все обложки журналов заняты портретами звезд эстрады и спорта. Сумели ли мы рассказать о героях труда столь же интересно, как рассказываем о тенорах и центрфорвардах? Даже взять наш вот Совет, не было такого в истории Словакии. Но ругаем, критикуем, «поправляем» его изо всех сил во всех органах массовой информации. Оно, собственно, и верно, надо нас критиковать, такая у нас судьба. Но нельзя же единственных положительных — стопроцентно положительных! — героев разыскивать на футбольных полях. Поглядите-ка, люди добрые: рядом «Словнафт», рядом поля, заводы и — главное — труженики новой Словакии. Какие люди!

Вот о них-то надо рассказывать как следует и на весь мир. И хватит демонстрировать, насколько мы усвоили приемы западной рекламы, обсасывая воспоминания детей среднего школьного возраста, словно народ не в состоянии красиво выразить себя иначе, чем через плавание или прыжки на батуте. А то случилось — удрал несколько лет назад на Запад хоккеист, ну и черт с ним, растворился он там, ничего не достигнув, так буржуазная пресса подняла шум именно по поводу бегства такого-сякого распопулярного нашего жителя. Обхохочешься. Но ведь и над собой надо смеяться иногда, и над вами, писателями и журналистами: о многом еще вы не рассказали как следует. Это наше общее дело — рассказать об удивительном мире, существующем вокруг. Мире, так трудно завоеванном, выстроенном и не похожем ни на один другой. Сколько еще добрых слов и добрых дел мы задолжали этому миру!..»

При всей дискуссионности иных мнений мэра Братиславы инженера Ладислава Мартинака я их здесь пересказываю, потому что они во многом совпадают с моими. Все это записал я в той самой гостинице «Киев», что стоит на бывшей Каменной площади рядом с универмагом «Приор» и была открыта к началу первенства Европы по фигурному катанию на коньках.

НАДЕЖДА

И память открутила фильм моей жизни ровно на тридцать три года назад, и вспомнил я развалины Киева 1946 года, когда на стадион «Динамо» надо было пробираться сквозь руины бывшей центральной улицы города, сквозь огарки деревьев бывшего бульвара, где странными выглядели предметы довоенного быта — ванны, мраморные плиты полов, позеленевшие медные краны, торчавшие в провалах умерших зданий моего города. Футбол фениксом возник в городе и для большинства из нас, тогдашних мальчишек, был свидетельством непрерывности и непобедимости жизни; все мы знали о ставшем уже легендой «матче смерти», в котором полегли многие из довоенных мастеров киевского «Динамо». Новая команда состояла из вчерашних фронтовиков, которых еще год назад могли убить на войне, да вот не убили; вот мы в футбол играем, вот он, мир!

Я вспомнил все это сразу, может быть, не так подробно, только сразу, одним махом восстановил в себе настроение тех лет, когда увидел мальчишек, играющих в футбол на лужайке возле одного из прокатных станов Восточнословацкого металлургического комбината в Кошице. Ребята играли очень плохо. Я поглядел на них издали и еще удивился, почему в наше футбольное время парни не умеют играть в мяч. Но, когда приблизился, понял: этим ребятам некогда было смолоду заниматься футболом, детство их сгорело под бомбами, даже самую последнюю весну сожгли китайские огнеметы. Ребята приехали в Кошице из Вьетнама; были они не так уж юны и очень серьезны — футбол пришел к ним признаком мира, а не спортивной игрой, и вьетнамцы, играя, радовались миру, а не футболу. Сорок три парня из Вьетнама осваивали профессию металлурга на комбинате в Кошице; они приехали на несколько лет, и у них еще будет время привыкнуть к миру.

Город Кошице тоже не сразу привык. Это он теперь

такой спокойный, что даже внушает свою уверенность окружающим. Недавно еще город был очень бедным, грязным, голодным, маленьким — я читал, мне об этом рассказывали. Сейчас в городе осталось уже немного мест, пропитанных его горьким прошлым. Сероватый, пыльный Кошице пахнет огромными предприятиями, он слегка прикопчен, придымлен, сосредоточен. К городу надо приглядеться, чтобы привыкнуть,— второй по величине центр Словакии вовсе не похож на Братиславу, склонную временами к подчеркиванию своего столичного великолепия. Кошице — город-рабочий; он и сам не забывает об этом и вам забыть не даст. Неподалеку от города энергетические реки из СССР впадают в Чехословакию, и первые капли советской нефти, киловатты электричества, кубометры горючего газа пересекают Карпаты, приходя по трубам и проводам в Словакию именно в районе Кошице, потому что все 98 километров государственной границы с нашей страной прочерчены по камням и земле этой области.

Я вам уже рассказывал, дорогой читатель, что Кошице пахнет дымом, это серый от пыли, очень сосредоточенный город, который знает смысл своего существования и живет достойно. Можно бы привести здесь (в других местах книги я привожу) множество свидетельств того, что жилось в Восточной Словакии очень трудно и очень бедно. Разрушаясь духовно, зона Кошице была и в самом прямом смысле взорвана, разгромлена, сожжена; из войны выходили целыми по одному-два дома из десяти, не больше. И здания и серый дымный налет на них — преимущественно послевоенные. Это уже связано со статистикой — одна лишь соседняя ТЭЦ в Воянах дает нынче электроэнергии больше, чем вся Чехословакия перед второй мировой войной; «Восточнословацкий металлургический комбинат выпускает продукции в два раза больше, чем вся довоенная Чехословакия, одна лишь жесть расходится в сорок с лишним стран мира. Так-то... Еще буквально несколько цифр для сравнения, чтобы не возвращаться к ним больше, но четко обозначить дистанцию изменений. Ведь край этот грабили все, кто мог, тащили столь энергично, что многим ворам уже недоставало краденого и они нервничали. Да что здесь было взять к началу войны, в конце тридцатых годов? Промышленность давала всего

2,2 процента всей продукции края; 90 процентов населения составляли безземельные крестьяне...

Довольно статистики? Думаю, что довольно на этот раз, тем более что, суммируя ее, я могу процитировать расхожее определение словацкого Закарпатья в европейской предвоенной журналистике: «Земля вымирающего народа». Только в двадцатые годы отсюда в поисках заработка эмигрировали больше двухсот тысяч человек.

Не знаю прямо, как рассказать вам обо всем, что кажется мне столь важным в разговоре о Кошице, которую нить из натянувшихся между восточной Словакией и нашей страной тронуть первой. Они ведь заплетены словно хорошая перепелиная сеть: притронешься к одной ячейке — оживут все. Знаете, что важно: на нас всегда здесь надеялись и надеются. Мы вначале даже не государство и не социальная система, а — народ. Мы были такой надеждой для Словакии, что казалось, утрать ее, и ничего не останется в жизни. Не утратили: любовь к русским (этим именем объединялись все народы из-за Карпат) столетиями вызревала в словаках, ненависть навязывалась им извне. Здесь царила ситуация, естественная для большинства стран предвоенной Западной Европы: огромные толпы людей, лишенных работы и хлеба, и огромная нехватка самых необходимых изделий и продуктов. То есть надо было открывать новые предприятия, благо рабочей силы в избытке, но оставались и нищета и безработица — минусы не могли соединиться в один плюс. Беспросветность сгущалась, в годы войны она стала совершенно невыносимой...

«Когда в начале сороковых было совсем безнадежно, здесь лютовали нацисты немецкие, венгерские и наши собственные,— рассказывает мне Юрай Падо, писатель из Кошице,— вдруг разнеслась весть о советской победе под Сталинградом. Я в школе учился, и мы, дети, шепотом передавали друг другу новости о приближении воли; у нашего учителя математики родилась дочь, и назвал он ее совсем не словацким и не венгерским именем — Надежда...» Народ, у которого было отнято все, жил, пока мог надеяться,— хлеба не было, работы не было, земли не было, не было свободы, надежда и песня оставались последними гарантами выживания...

«Война кристаллизировала взгляды,— говорит Юрай Падо.— Мы высчитываем в подробностях моральную рентабельность многих политических тезисов, а ведь аргументы бывают простейшими, особенно когда решаются самые сложные проблемы народной судьбы. Тотчас после войны был у нас голод — все сожжено, разрушено, ни хлеба, ни дома нет. Мы уже привыкли, что никто не поможет, нас так приучили; и вдруг — каплями нового опыта, еще до того, как Советский Союз начал с нами делиться нефтью, пошел в Словакию хлеб. Несколько сотен тонн хлеба через Дуклянский, через Дарговский перевалы, где недавно прошла армия освободителей, шел хлеб — спасение от нашего послевоенного голода. Может быть, и я сам выжил благодаря тому хлебу...»

Это было и вправду аргументом невиданным — хлеб. Их усмиряли, марали, пацифицировали, подавляли, но никогда не кормили досыта. Из Советского Союза, с востока, именно с главного направления надежды, пришел хлеб, которого и в Союзе-то не было вдоволь; навсегда помню квадратики, которые продавщица вырезала из продуктовых карточек, отпуская мне положенную норму ржаного спасения. Наверное, мы на пару дырочек туже затягивали пояса еще и потому, что думали не только о скатерти-самобранке в собственном доме. Недавно еще дымились пороги у нас, и у словаков, и еще у многих народов Европы дома были ограблены армией, на оловянных пряжках солдат которой красовалась надпись: «С нами бог». Мы пришли освободить и возвратить к жизни народы, неся на своем знамени куда более молодой, но, как выяснилось, человечнейший лозунг — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Оловянный призыв был страшен, потому что, ссылаясь на него, убивали, отделяли народ от народа, даже метафизического бога позорили, и это запомнилось навеки; так же, как то, что наш интернационалистский призыв был аргументирован добротой и человечностью. Я уже говорил — великое слово надежда, оживавшее в человеческих душах благодаря нам, воскрешало целый народ.

Просто накормили. Просто научили (еще в Конституции здешней Советской республики 1919 года была статья о всеобщем бесплатном образовании, но лишь после

освобождения статью реализовали). Просто дали работу всем. Просто?..

В 1958 году XI съезд КПЧ принял решение о строительстве Восточнословацкого металлургического комбината в Кошице. Здесь в то время не было ни квалифицированных кадров для этого, ни сырья, ни топлива. Вначале решился вопрос с энергией — нефть и газ пошли из СССР; коксующиеся угли тоже пришли сюда из Советского Союза; прямо из Донбасса, по специальному ответвлению железной дороги; железная руда пришла из Кривого Рога, тоже по железнодорожной линии.

Ощущение коллектива многообразно. Можно и надо сказать, пожалуй, о том, как на глазах одного-двух поколений формируется и крепчает ощущение общности. Я приводил здесь довоенную словацкую статистику, когда не было ни земли (куда она исчезла?), ни рабочих мест (при множестве безработных), промышленности фактически не существовало («Конго в сердце Европы...»). За послевоенные годы изменилась не только социальная структура Чехословакии, изменилось отношение к жизни; кроме того, большая часть населения вообще изменила, даже профессионально, условия своего существования. Сталь выплавляют потомки безземельных крестьян, постигнувшие науку коллективизма. Просто ли это? Нет. А сами уроки коллективизма, просты ли они? Я говорил уже о том, как доставляются в Кошице грузы из Донбасса и Криворожья; но грузят их при добыче в самых сложных разрезах и штреках на транспортеры, сделанные для нас в городе Пухове, на заводе имени 1 Мая, это неподалеку отсюда, в Татрах. Транспортеры производятся из продуктов переработки советской нефти. Трубы для части нефтепровода прокатывались на Восточнословацком металлургическом комбинате в городе Кошице. Нефть поступает по этим трубам и на ТЭЦ возле Воян, дающую энергию для многих предприятий Словакии, и на «Словнафт», который...

Замкнутый круг. Мне трудно определить начальную нить в клубке взаимополезности и взаимосвязи, да и нельзя, что самое главное, невозможно учесть во всей конкретности экономической статистики результаты душевного сближения народов. Я сложно говорю? Тогда еще одна-единственная статистика: в Восточнословацкой области — 246 тысяч членов Общества чехосло-

вацко-советской дружбы; работает 650 кружков по изучению русского языка; ежегодно около 150 тысяч школьников участвуют в конкурсах детских рисунков и сочинений о братстве наших народов. А знаете, сколько человек занято в аппарате областного отделения Общества чехословацко-советской дружбы? Четверо. Всего четверо на многие сотни тысяч энтузиастов нашей взаимосвязи. Геза Покорны, первый секретарь общества, говорит со мной именно об этом, о том, как люди сами, массово, добровольно принимают на себя заботы о дружбе с нашей страной. Есть в этом далеко не одна красивая демонстративность, в этом есть и некий общественный альтруизм или как там называть. Конечно же нас любят или не любят на принципах чисто классовых — как носителей очень определенных тенденций, на которых строится общество. Но в то же время нас еще массово любят и почитают как гарантов независимости, устроенности; я говорю о массовом восприятии нашей страны и ее политики. Кому-то мы мешаем своим существованием, а кому-то стабилизируем жизнь. У нас есть еще немало врагов, и мы никогда их не боялись. Но все больше становится друзей; столь же аргументирована любовь их, сколь понятна ненависть врагов нашей страны и нашего строя. Попросту говоря, никогда еще здешний народ не жил так определенно, как зажил он в дружбе с нами. Любовь и вражда конкретны и социальны; не надо все на свете вульгаризировать упрощением, но пора уже твердо понять и запомнить очевидное. И нам и всему миру...

Вьетнамцы учились играть в футбол на лужайке между цехами. Они хорошо видели, как по широкой колее железной дороги из СССР шли сюда без перебоев руда и уголь. Они знали, что по трубопроводам «Дружба» и «Братство» идут сюда нефть и газ, а по системе «Мир» — электричество. Можно было бы прочесть им сто тысяч лекций о том, что такое интернационализм, но никогда пропагандистский эффект рассказа не был бы таким очевидным, как конкретные иллюстрации к нему — жизнь завода, где они учатся (особенно в сопоставлении, скажем, с судьбой заводов вьетнамского Лангшона, размонтированных и украденных маоистами). Поучительность наших судеб недвусмысленна; факты убедительны, как ничто другое.

«Враги у нас общие и друзья одни и те же,— говорит мне Стефан Гудак, заместитель секретаря парткома Кошицкого комбината.— Это уже немало. Вы прекрасно знаете, что и враги наши поняли, насколько социализм притягателен для всех, кто трудится. Раньше, еще в начале шестидесятых, нас пытались убеждать с Запада, что нам не нужен такой строй. По радио кричали об этом, по австрийскому телевидению показывали. Сейчас врут осторожнее, по-другому, хитрее: сочувственно воркуют, что народный строй был бы, мол, хорош, если бы его изменить, «подправить маленько», так подправить, чтоб не осталось следа от нас, коммунистов (это подразумевается). Во всяком случае, уже не решаются выступать против социализма в открытую, знают, что не нужна людям другая страна и другая жизнь».

Мне думается, что любому хорошо понятно, насколько и любовь и нелюбовь к нам выдержали испытание временем. Недавно еще иные из нас впадали в крайности, объявляя, что все, кто к социализму плохо относится,— дегенераты, выродки и потенциальные конокрады, зато все, кто к нам относится хорошо,— ангелы во плоти. Постепенно все начало усложняться, стало ясно, что надо выстрадать, завоевать личное отношение к нам; мы убеждались, что хорошее отношение к Стране Советов может быть вызвано далеко не одной лишь бескорыстной симпатией, случались и любители поживиться на благородстве социализма, так же как среди неприятелей бывали люди дезинформированные, а то и попросту обманутые. Но за годы нашего недвусмысленного существования на планете мы уже многому научились и многому научили других. И все-таки, переставая быть резким, черно-белым, ортодоксальным, каким же стало наше классовое чутье? Столь же острым, как у шедших первыми, или стало немного иным? Каким?

Понимаю, что ответ на такой вопрос не может быть односложным. Больше того, я понимаю, что вопрос этот в разных воплощениях врастает в очень многие проблемы, в споры шуточные и вовсе не шуточные. Сейчас, чтобы отвлечь вас, читатель, от разговоров и размышлений, ведущихся уже очень впрямую, я расскажу о дискуссии почти иносказательной.

В Центральном Доме литераторов встретил я тбилис-

ского прозаика Нодара Думбадзе и рассказал ему, какую книгу пишу.

«Трудно это,— сказал Нодар.— Очень опасно давать соседу все, что ему необходимо. Для соседа опасно — он отвыкнет заботиться о собственном хозяйстве, поскольку усвоит, что у тебя уже есть лопата, керосин и топор, которыми он может распоряжаться как собственными. Моя бабушка всегда говорила, что соседа надо жалеть. Если много лет подряд одалживать ему одно и то же, он вовсе не разживется собственным имуществом...»

«Если у соседа нет воды, а колодец у тебя в саду...»

«Вода — другое дело; но хоть ведро у соседа должно быть собственное. Иначе разленится сосед, еще и приучит тебя носить воду прямо к его порогу...»

«Нодар,— сказал я,— просто как писатель я пытаюсь понять...»

«Вечно писатели вмешиваются,— пробурчал Думбадзе.— Писатель уже стал вроде участкового милиционера: что ни случится, везде нужен писатель. Про нефть — писатель, про историю — тоже писатель, про деревню — писатель. Никто еще ничего не понял, а писатель уже выступает, и его тогда принимаются колотить все, кто до сих пор молчал и чесал затылок. Я боюсь тебе что-нибудь посоветовать, кроме одного: раз ты уже решился писать — вспоминай мою бабушку. Она всегда, прежде чем одолжить соседке спички, громко советовалась со мной. Она считала, что соседка должна знать — спички не валяются на дороге; кроме того, бабушка была убеждена, что соседка станет нищей, если будет полагаться только на наши с бабушкой запасы».

«И не давали?» — засомневался я.

«Как не давали? — Нодар даже обиделся. — Это же соседка! Мы столько прожили рядом. У нас общий огород был и курица общая...»

«А если бы?..»

«Никаких «если бы». — Думбадзе стал категоричным.— С братом надо делиться. С соседом надо делиться, если это хороший сосед. Если сосед не очень хороший, но ему, не дай бог, неуютно, холодно или голодно, тоже надо делиться. Понимаешь ли, это твоя радость, репутация твоей души — поделиться...»

«А как же...» — спроснл я.

«Вот так! — продолжал Нодар. — Замечательно, что мы делнмся с людьмн, которым нужна наша помощь. Они запомнят нас н почему в доме у ннх тепло, тоже запомнят, на много лет вперед. Еще для того, чтобы у людей надежда была, перспектнва была, надо им дарнть...»

«А ты говорнл...»

«Что я говорнл? — уднвнлся Нодар. — Я сюжетные варнанты отрабатываю. Я тебе про бабушку, ты мне про нефть. Пнсатель стал как участковый мнлнцнонер, он все должен знать, обо всем нметь понятне, во все вмешнваться. Когда я служнл погранпчннком, охранялн мы устье нефтепровода в Аджарии. Тогда...»

Мы отправнлнсь пнть кофе, потому что Нодар приступнл к разработке совершенно другого сюжета. Но мой сюжет остался во мне, н я понимал, что притчевость повествованнй моего тбнлнсского друга тоже имеет довольно глубокнй смысл н, сколь бы ни была тема остра, надо говорить о ней, надо вмешнваться в нее с той вот самой «мнлнцнонерской настойчнвостью», которой сам Думбадзе наделен в нзбытке и которую ценнт в людях пншущих (что бы ни говорнли знакомые эстеты, правдами н неправдами бегущне из своих районных угодий в столнцы, дабы постанывать нз столнц о козявках, травках н прочнх давно забытых нмн деталях столь неизменной в тысячелетнях родимой прнроды). Нет, мы обязаны пнсать, по крайней мере думать вместе с быстротекущнм временем, потому что нет у нас другого времени н не будет.

Немногое остается незыблемым. Ступаю по застроенному железнымн монстрамн, заплетенному в сеть трубопроводов вчерашнему полю, где рослн кукуруза, подсолнухн, картофель, изменения в пейзаже фнкснруются с документальной точностью, нзменения в мышленнн куда более важны, но не так легко различнмы. Успеваем лн фикснровать нх?

«Многое у нас изменяется — нная жнзнь, нной и взгляд на нее. Ясность нлн кажущаяся ясность не только дарит уверенность, нным дарует беспечность, н это уже тревожно, — смотрнт на меня Степан Гудак. — О себе скажу. Я — второе поколенне коммуннстов в нашей семье; отец — член партии с 1932 года, за плечамн у

него подполье и Словацкое национальное восстание, все сложности борьбы за новое общество. Он давно на пенсии, но контрреволюцию 1968 года предсказал мне еще тогда, когда многие из нас (и я) даже не думали ни о чем таком и похохатывали над истериками иностранного радио. Старики чувствовали контрреволюцию так же, как чувствуют приближение слякоти по ломоте в суставах. Собственно, кости им охранка крушила весьма старательно, так что про «ломоту в костях» я не очень и преувеличиваю. Это еще один урок общения с вами, стариками он усвоен и выстрадан, ни за что нельзя терять классовое чутье, ни на миг. Социализм добр, но ни за что нельзя допустить, чтобы доброта эта привела хоть одного из нас к идейному размагничиванию. Вот, знаете, мой отец был лесорубом; он до сих пор говорит, как рубит — четко и нацеленно, много выстрадал в жизни. У меня уже было иначе, капитализм своего клейма на душе у меня не выжигал; жил я в достатке, учился в Ленинграде, Горный институт окончил там, поработал на знаменитых металлургических предприятиях, повидал свет. А дома сын вырос: все у него готовое, все иначе, все еще легче. Даже я спокойно относился к тому, что все у него иначе, пока сын однажды не перебил за столом моего отца, рассказывающего о безработице: «Что ты там байки выдумываешь, дед, не могло такого быть...» Это не просто невежливость, это был очень тревожный сигнал для меня; знаете, отцов наших в идейном отношении воспитывали труд и борьба, а многих детей, извините, лозунги. Дети все получили готовым, и не каждый из них понял, что почем...

Вскоре сын мой пожелал завести себе горные лыжи, тут-то я и сказал ему, что пусть попробует сам заработать на покупку. В сезон у нас платят косарям по 80 крон за центнер заготовленного сена. Отправились мой сын с дружком заготавливать сено, за три недели заработали по три тысячи крон, мозоли понатирали, что-то, надеюсь, поняли.

Поняли. Говорит мне сын: «Парень я здоровый, зачем столько учиться, если я на сенозаготовках заработаю больше...» Видите как, образование для них — само собой разумеется, работа — само собой разумеется. Ребята выросли без баррикад, на готовеньком — эх, как бы нужен был им такой объект, как ваш БАМ! Кстати,

тот, кто смог поработать в наших строительных отрядах на нефте- и газопроводах, что тянули к нам из Сибири и Оренбурга, мыслит куда шире. Очень важны эти уроки широкого интернационального мышления! Нельзя допустить душевного размагничивания, остановки в движении, только так в неустанности реализуется н а д е ж д а. И в этом тоже ваш опыт...»

Металлургический комбинат Кошице занимает 760 гектаров, они стали одной из главных территорий, где формируются будущее и престиж современной Словакии. Отрешение от прошлого — тоже здесь. Больше 23 тысяч рабочих, когда-то во всей Чехословакии едва ли можно было сыскать стольких мастеров. Металлургические заводы в Кромпахе, воплощавшие когда-то здешнюю металлургию, были закрыты еще в тридцатые годы — не хватало руды, угля, квалифицированных рабочих: короче говоря, всего. Сейчас Донбасс и Кривой Рог обеспечили беспрерывный поток металлургического сырья; первые домны и прокатные станы пришли с Урала; металлурги Магнитки, Запорожья, Днепропетровска приезжают сюда и работают вместе с кошицкими коллегами — это называется «от машины к машине». «Сотрудничество перестало быть строго официальным,— говорит Гудак.— Когда мы двадцатью или больше металлургами ежегодно обмениваемся с Запорожсталью, то это сближает нас куда убедительней и точнее, чем сто митингов с самыми пламенными речами. Братство по борьбе, братство по труду — это такая красивая и такая нужная нам повседневность, что, став обычной, она никого не удивляет. Как воздух, как вода, не помнишь уже, когда и привык... Кончилось одиночество — это одна из величайших побед социализма; с ним кончилось национальное одиночество наше! И к этому привыкли мы тоже, к тому даже, что в Болгарии, у моря, комбинат наш имеет собственный дом отдыха «Горизонт» на 1400 мест и что в Венгрии, в Союзе, в Польше отдыхают сотни детей металлургов ежегодно! Привыкли. Уверены, что надежды сбываются. Были романтиками, теперь многие стали прагматиками; не слишком бы... Ведь вправду никто подолгу не стоит в очереди на квартиру: проработал полгода — и получай. В рабочих общежитиях больше пяти тысяч мест в комнатах со всеми удобствами. Мы не всегда задумываемся вслух

о том, что качество жизни определено ее социалистической сущностью, новое качество при новом общественном строе. Вы начинали, нам поэтому было во сто раз легче; ведь были уже и есть на свете вы, советские люди. Долг чести нашей — помнить об этом...»

На Кошицком металлургическом комбинате старые специалисты говорили мне, что в желании учиться или приобретать надежную профессию всегда было что-то от инстинкта самосохранения. Так же как в желании утвердить свою национальную идентичность, многое шло от желания найти опору в таких же, как ты сам, товарищах по несчастью.

Быть товарищами по радости куда сложнее. Самое главное, что чувство страха исчезло напрочь, не родилась беззаботность бы... Впрочем, заходил я в замечательное профессионально-техническое училище имени Юрия Гагарина, действующее при комбинате (там учатся более двух тысяч молодых людей, в том числе и вьетнамцы, с упоминания о которых начиналась глава; и не только вьетнамцы — гости и учащиеся из-за рубежа в Кошице нередки). Училище с крытыми спортивными залами, бассейном, зимним садом, кинозалом, лабораториями, музеем. (Книга почетных гостей училища раскрыта под музейным стеклом на записи от 13 июля 1967 года. Списываю слова Юрия Гагарина, обращение к будущим металлургам: «Помните, что все прекрасное на земле создается руками трудящихся...» Он ведь сам начинал с ремесленного училища, первый космонавт...)

У входа в училище Кошицкого комбината стоит интересная скульптура — длинный столб кокона, из которого, словно большая бабочка или птица, появляется человек с лицом Гагарина.

Надежда. Человек надеется на взлет, на приближение к солнцу, приближение к будущему. Надежда.

Где-то в отдалении слышны голоса вьетнамцев, играющих в футбол. Пересменка, обеденный перерыв — и короткие минуты отдыха обрываются. Слышен резкий звонок. Бригадир трубопрокатчиков Ян Яцканин оглядывается в сторону автобусика, заканчивающего раздачу горячей пищи рабочим. Мы разговариваем об условиях труда, и Яцканин в этом деле компромиссов не терпит. «Вот у вас на Запорожстали, — говорит он, — есть в цехах уголки с пальмами в кадках. Там и поесть мож-

ио, и письмо иаписать. А иам вот в автобусике горячую пищу привозят...» — «А раиьше как было?» — вопрошаю риторически. Яцкаиин вопроса ие поиимает, ои полон созиаиия своей полезиости, и ему иекогда разглядывать стеиды со старыми фотографиями. Капитализм удалился во время иеопределеииое, в «когда-то», оио и хорошо, коиечио, да все-таки...

По территории комбината мечутся автобусики, осуществляющие траиспортную связь между цехами, — предприятие очеиь мобильио; в иазиачеииый час сто двадцать трамваев увозят всех, кто свободеи от дел, в цеитр Кошице и привозят новую смену. Восточиословацкий металлургический комбииат связан с Советским Союзом трубопроводом, рельсами и и а д е ж д о й иа будущее — пожалуй, в этом самое главное.

Гагарии, освобождающийся иа памятиике от своего моиумеитальиого кокоиа, пристально глядит иа дымы комбината, растворяющиеся среди туч. Неподалеку перекликаются вьетиамцы, закоичившие игру. Радио в музее училища передает одиу из песеи Пахмутовой, посвящеииых космоиавту. Я зиаю, что песня изазывается «Надежда»; запись старая, но слова хорошо слышны.

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 14

Старушка в Татрах, включая газовую плиту, чтобы вскипятить чайник, широко улыбнулась, показав на синее пламя: «Сибирский плин!» Старушка знала, что газ пришел из Сибири. Старушка помнила красноармейцев, штурмовавших здешние перевалы, и представление о моей Родине было связано для нее с памятью о тепле и свободе, пришедших к ней в дом. Всякий авторитет и всякое знание конкретны, и какие бы претензии старушка ни имела к моей стране и к любому из ее граждан, она знает главное. Она знает, откуда пришли тепло и свобода: значение этого знания было непреодолимо огромным, и это честное, объективное знание определяет авторитет моей страны и место ее в жизни старой словачки.

А ведь скольким на свете не разрешают о нас знать! Я не раз убеждался, сколь многое из того, что вправду поучительно для мира, остается неведомым многим людям на Западе. (Впрочем, что такое Запад? Уж где народ не знает о нас ничего совершенно — это в Китае, а Китай находится к западу разве что от Калифорнии, где, впрочем, о нас тоже не много знают.) Что ж, Запад так Запад: в каждом пункте может оказаться западная околица. Я процитирую западногерманского писателя Петера Шютта, хорошо понимая, что антисоветизм, с упоминания о котором мой западный коллега начинает рассказ, — это явление, простирающееся густой, как штемпельная краска, тучей над отношением одного социального мира к другому. Нас не любят и боятся с тех пор, как возникло Советское государство; уже совершенно точно известно, чья именно нелюбовь оказалась наиболее стойкой. Какие уж тут востоки да запады, при чем тут физическая география? Уже больше шестидесяти лет рассказывают всякие небылицы о нас (некоторые — очень хорошо можно видеть в Братиславе по венскому телевидению, фантазия, по-моему, иссякает, разве что упорства добавилось). Итак, я процитирую Петера Шютта из Бонна: «Понятие «Сибирь», и с этим мне при-

ходилось постоянно сталкиваться, для многих по-прежнему остается символом плена, нищеты, произвола.

Можно ли удивляться, что чаще всего на вечерах мне задавали одни и те же стандартные вопросы? Едят ли люди в Советском Союзе досыта? Правда ли, что свою машину может иметь только партийный работник? Действительно ли паспорт дается только членам партии и только они могут свободно ездить по стране?.. Хоть некоторые вопросы и звучат провокационно, они задавались без задней мысли и были продиктованы крайней неосведомленностью.

Авторы подобных вопросов ссылаются обычно на псевдодокументальные сообщения нашей печати, например, на клеветническую серию «Так живут русские», опубликованную в журнале «Шпигель».

В каждой дискуссии о Советском Союзе я ощущал внутреннюю взаимосвязь с борьбой в нашей собственной стране. Пока многие люди убеждены, что в странах реального социализма существует голод, духовная пустота, военная муштра и потогонная система, они неспособны сами задуматься над необходимостью серьезных перемен, над путями к социализму у себя дома... Нередко бывают ошеломлены, когда узнают, что Сибирь — это не мрак и серость, а новый край неограниченных возможностей, земля первооткрывателей».

Среди моих записей — информация, полученная от умнейшего и знающего человека, одного из тех, кто открывал и осваивал для нашей страны и человечества тюменские подземные кладовые, Юлия Ильича Боксермана, заместителя председателя Государственной экспертной комиссии Госплана СССР. Речь идет именно о тех районах Советской страны, что так не милы авторам шпрингеровских изданий. Итак, говорит Ю. И. Боксерман: «В 1964 году на Омский нефтеперерабатывающий завод поступили первые двести тысяч тонн нефти. Это, разумеется, мало. Теперь поставлена задача достигнуть добычи нефти (с газовым конденсатом) в 1980 году в объеме 315 миллионов тонн... Почти весь прирост нефти и газа в стране на длительную перспективу будет обеспечивать Западная Сибирь. Поиски новых месторождений продолжаются и в Западной и в Восточной Сибири. Поиски идут энергичные, широким фронтом, ибо потребности народного хозяйства в топливе и

сырье для химии с каждым годом увеличиваются». Миру нужна нефть. Миру — во всех значениях этого слова.

Я там был. Видел, как добывают нефть, и в Западной Сибири, видел, как добывают ее на Апшероне, на Северном Сахалине, в Средней Азии; знаю людей, которые добывают нефть, думая о тепле для всех, радости для всех, мире и свободе для всех. Разговаривал в Западной Сибири с интеллигентнейшими буровиками, которые выходят на работу в дни, когда работать нельзя,— такой мороз и такой ветер. Рукавицы примерзают к трубам; попримерзали бы авторучки к пальцам лжецов, пишущих неправду о таких людях! Но так или иначе три года назад, когда «Шпигель» готовил к печати очередную порцию антисоветчины, страна, где журнал этот издается, закупила больше 7 миллионов тонн советской нефти. Все-таки поразительно умение пить из колодца, в который ты же и наплевал! Старушка из Татр куда порядочнее...

КОММЕНТАРИЙ

В моем гостиничном номере радиоприемник стоял прямо в головах огромной кровати, на которой я легко умещался и поперек и вдоль. Огромные территориальные возможности, предоставленные мне великанской постелью, разрешали передвигаться по ней во всех направлениях, и первое, что я делал, просыпаясь ранним утром, подползал к радиоприемнику фирмы «Видеотон» и, еще не открывая глаз, нажимал на кнопку, от прикосновения к которой приемник начинал разговаривать. Несмотря на то, что «Видеотон» занимается выпуском оборудования для легковых автомобилей стран социалистического содружества, приемник, сделанный им для меня, был явно подкуплен идеологическими противниками — его рабочий день начинался с того, что тут же, при включении, аппарат дарил мне коль уж не передачу «Свободы», то «Немецкую волну» или, в крайнем случае, «Голос Америки». По воскресеньям, какую бы кнопку я ни нажал, неведомый мне дедушка из ватиканского радио повелевал задуматься о грехах. Если б я подчинился, мог бы испортить себе настроение на весь день. Впрочем, передачи всех антисоциалистических «Свобод» и «Волн» мой «Видеотон» навязывал мне и по воскресеньям. Уже с утра со множеством акцентов мне начинали растолковывать, до чего бестолково и бедно живу я сам и вообще все, кто решился строить общество, основанное на внимании к тем «простым людям», что не заканчивали ни оксфордов, ни сорбонн, не покупают нефти там, где ее покупает Америка, и меняют отношения в мире в ту сторону, в которую им никто на Западе ходить не разрешал. В крайнем случае, вопросы политической и экономической самостоятельности разделяли на совершенно самостоятельные темы, избегая говорить о них вкупе. С раннего утра, еще до восхода солнца, радиоголоса начинали нашептывать мне, что Будапешт, бывший некогда средоточием развлекательных предприятий центра Европы, многое утратил, обретя крупнейшие в мире предприятия другого рода, в частности нефтехимические.

Помните классическую новеллу Вашингтона Ирвинга о Рип ван Винкле?

Незадачливый Рип задремал в горах и проснулся через множество лет, вернулся в совершенно иную жизнь, где и люди и отношения между ними были не похожи на те, что он знал. Рип ван Винкль пытался рассказывать встречным, кто он такой и как жил он во время оно, только странного старика не очень слушали, посмеивались над его ружьецом и над его воспоминаниями. Но старик был незлобив, он лишь расстраивался от такого обращения, не понимая, что с ним произошло.

Люди из радиоприемника тоже не понимали, что с ними произошло. А может, и понимали. Главный редактор журнала «Фигуело» Иосиф Гарам сказал мне очень точно (я слышал и раньше это определение, многие пришли уже к тому же выводу): «Мы любим поворчать на порядки — того не хватает, это не так; порой даже анекдот про социалистическое содружество рассказать можем. Но мы по-сибаритски ворчим, не задумываясь над глубинностью и добротой устройства нашего мира, принимаем это как должное. Мы не понимаем иногда и не знаем — и потому ругаем себя сами, а на Западе нас поносят по радио и в газетах именно потому, что знают и поняли, встревожены нашей силой и примером нашим».

Доктор Иосиф Гарам — экономист, журнал, редактируемый им, занимается международной экономикой и многое знает о ней. Мы один за другим перебираем аргументы всех недобрых радиоголосов, которыми мой «Видеотон» наполнен поверх шкалы, и говорим о том, что для меня давно уже привычно и к чему венгры привыкли не сразу, — к активной, даже агрессивной чужой злости. Нам Революцию не прощают от первого ее дня до сегодняшнего; и Венгрии не прощают прежде всего те, кого народное восстание лишило богатств, замков и всего комплекса владельца жизни, вершителя судеб. Это уже не простая ненависть, это ненависть классовая, это уже не только ненависть, сжимающая горло, это готовность нажать на спуск автомата. В 1956 году она еще стреляла, эта ненависть. Современную Венгрию ненавидят те же, кто ненавидит нас, — со всей болью за утраченные имения и холопов, которых можно было пороть сколько угодно; со всем бессилием злобы, не-

способной повернуть народную жизнь вспять, сделать ее, как была, с адмиралом Миклошем Хорти на белом коне. Мои утренние радиопередачи несколько раз перебивались военными венгерскими маршами конца тридцатых — начала сороковых годов: очевидно, есть еще в Венгрии люди, отбивающие знакомый такт стершимися каблуками гусарских сапог. Те самые, родственнички известного Кисы Воробьянинова из ильфо-петровского романа; Киса всего боялся, но когда речь шла о деньгах, мог перегрызть глотку.

А речь идет о деньгах.

За последние четверть века Венгрия израсходовала на развитие химической промышленности около ста миллиардов форинтов и на две трети уже сама себя обеспечивает химическими изделиями, а бензином обеспечивает вполне. И никому не кланяется. И подписывает с Москвой равноправные договоры.

Наивный Рип ван Винкль, упомянутый мною, ни на что не претендовал, просто ему было очень обидно от ощущения ушедшего времени. Мы разговариваем с редактором «Фигюело» доктором Гарамом, и он, загибая пальцы, перечисляет передачи, статьи, выступления тех, кто претендует. Тех, кто твердит, что с Советским Союзом дружить не надо, ибо это-де все равно что есть с великаном черешни из общего блюдца. «Забывают сказать одно лишь, что черешни-то советские, — добавляет Гарам. — У нас в стране из всех полезных ископаемых вдоволь есть лишь бокситы. Остальное мы должны покупать, так или иначе. Если бы, допустим, не покупали у вас, оказались бы привязанными к экономической колеснице Запада (чего от нас и хотели бы), вынуждены были бы брать — за золото! — все, что нам надо. Что уж можно сказать наверняка — примеров без счета, вывернули бы нам карманы и души наизнанку. Больших предприятий мы б иметь не могли, такая, как у нас, Сосхаломбатта возникает из кооперации, такие заводы, как знаменитый «Икарус», тоже. Нам бы позволили иметь лишь нерентабельные маленькие фабрички, полностью привязанные к покупателям и поставщикам с Запада. Сельское хозяйство, производящее сейчас избыток продукции, даже организационно чуждо капиталистическому образу жизни, за что же им нас обожать?! Мы ведь были страной маленьких лавочек, маленьких заво-

диков, ресторанчиков на десять столов, ферм без механизации. Ах, как любили господа приезжать сюда на уикэнд, чтобы ущипнуть девочку из кордебалета, выпить токайского вина и послушать цыганско-гусарскую скрипочку! Перестройка промышленности, нефтехимической, скажем, — это ведь и колоссальная перестройка образа жизни, психологии; австрийцы, прорывающиеся на заправку к нашим бензоколонкам, сразу же ощущают это и начинают обижаться. Им еще надо научиться общению на равных. Помните, как в сказке у Киплинга звери, щипавшие и шлепавшие слоненка, начали удивляться, когда у того вырос хобот и слоненок наловчился давать сдачи. Мы порой слышим от визитеров: «Ах, как весело было когда-то в Будапеште!» Это уж, извините, кому как...»

Я продолжал выслушивать по утрам заграничные радиопричитания, потому что, наверное, злые диверсанты впаяли в мой приемник какой-нибудь вредоносный транзистор, и холодные радиоветры, пересекающиеся над центром Европы, заглядывали к транзистору на свидание. Тоскливые дикторы изнывали от заботы обо мне. Дикторам легко работалось; если бы в журнал, который я редактирую, приносили заметки, оформленные, как оформляется информация у них, я ни одной не подписал бы к набору. Ну, в самом деле, куда это годится, когда самые душераздирающие новости приправлялись ссылками на «из хорошо осведомленных кругов передают», «из Москвы сообщили», «как стало известно», «по некоторым сведениям». В порядочных изданиях такое не проходит, потому что тот, кто популяризирует информацию, должен за нее отвечать и ручаться за качество. Просто им очень не нравилось, как мы живем, и они очень бы хорошо заплатили — пробовали уже платить — за то, чтобы перестроить нашу жизнь по-своему. Так, как передает их радио, которое тоже очень дорого стоит. И при чем тут высокие материи, когда в 1956 году радиопередачи на Венгрию велись прямо из венского отеля «Регина», ближе к границам подкрасться не удалось. «Свободная Европа» объясняла, как закладывать мины, снимать часовых и вести уличные бои. Экзальтированные юноши, оравшие тогда на будапештских улицах, не знали, за какие веревочки дергают их заграничные дирижеры. Даже Би-Би-Си, кичащаяся бри-

танской уравновешенностью, оставила в будапештских анналах след своей невыдержанной откровенности — указание направления, куда контрреволюцией нацеливался главный удар: «Давно пора уже русским вернуться домой, но будет ли это означать, что Венгрии впредь предоставится больше свободы и что она сможет пойти своим путем? Это произойдет только в том случае, если одновременно с выводом советских войск будет низвергнут весь коммунистический государственный строй». Никто и никогда не отделял на Западе не только венгерскую нефть — всю венгерскую жизнь — от дружбы с нами: те, кто хотел бы перекусить магистраль нефтепровода, с удовольствием бы перегрызли глотку любому из нас. «Свой путь», который предлагается милостивыми непрошеными советчиками, — это прежде всего путь, уходящий в сторону от советского; и чем дальше уходит путь, тем больше советчики-антисоветчики его славят. Вы знаете, дорогой читатель, почему я возвратился сейчас к воспоминаниям двадцатитрехлетней давности? Потому, что и доктор Гарам, и многие знакомые мне венгерские журналисты и писатели рассказывали, как западные радиоголоса поливают их сегодня слезами по поводу того, что контрреволюция 1956 года, мол, была едва ли не подстроена некими злодеями с коммунистического Востока (!). Прямо как в том анекдоте про деятеля из «Свободной Европы», решившего искупаться в ноябрьском Рейне: вошел по колено в ледяную воду, задрожал и тоскливо обругал коммунистов — за холод. Впрочем, сейчас, когда никто не осмеливается возразить слишком очевидному факту, что Венгрия при социализме достигла невиданного расцвета, венграм стали ворковать вот что: «Вы так прекрасно живете, сотрудничая с Советским Союзом! Представляете, чего бы вы достигли без него!..» Обещание антисоветских алмазов в каменных пещерах замечательно слышно на Балканах и на Карпатах; каждый волен слушать и поступать как ему угодно. И все-таки венгры доказали, насколько угодно им дружить с нами, исторически угодно, если хотите. Это и есть самый конкретный революционный опыт. Массовое понимание того, насколько жизненно выгодно и важно сотрудничество именно с Советской страной, стало таким определенным и твердым в Венгрии, как немногие из принципов, усвоенных за минувшие сотни лет.

Есть ли проблемы? Ого-го! Мы лишь за несколько дней в журнале «Фигюело», а затем в Госплане, а еще затем в Министерстве тяжелой промышленности выделили немало и выделили искренне, потому что достигнут уровень откровенности, — каждый раз радуюсь ему! О чем говорили мы больше всего? Ну, понятное дело, поносили бюрократов, это вообще признак хорошего тона в интеллигентных беседах: поносить бюрократов. Но в данном случае мы говорили о том, что необходимо развивать многостороннее сотрудничество еще шире. В принципе оно так и развивается, и результаты его развития — от венгерских «Икарусов» до кошицких металлургических заводов и знаменитого ВАЗа, на чьи «Лады» очередь во многих странах Европы устанавливается на несколько лет вперед. Я назвал предприятия, прогресс которых связан с нефтехимией, мог бы назвать еще множество подобных, но не хочу проникать в область сугубой экономики, которая в наших странах исследуется внимательно и многосторонне людьми, хорошо разбирающимися в этом специальном предмете.

Попросту я радуюсь тому, как искренне и легко со мной откровенничали о сложностях ценообразования в СЭВе, о необходимости большей координированности в торговле наших стран с Западом и между собой, о наблюдении за судьбой своих товаров, попадающих за рубеж, о более убедительной и оперативной рекламе... Называют несколько проблем, о которых мы спорили особенно часто, даже не классифицирую их по важности — на то есть умные и знающие экономисты да теоретики. Просто радуюсь, как наряду с экономической интеграцией происходит интеграция моральная. Сохаломбатта выросла в чистом поле, это верно; но вырос и человек под стать современнейшему производству. Выросло много новых людей — и рабочие, и крестьяне, и министры; это воистину непонятно и неперевариމо для шептунчиков, резвящихся каждое утро в моем «Видеотоне». Собственно, в Венгрии всегда, и до войны, бывали изделия, находившиеся на мировом уровне: лампочки «Тунгорама», электропоезда, дизели. Хуже было с провинциальностью мышления, с одиночеством, с беззащитностью, от которых некуда было деться.

Как-то мы долго спорили с известным будапештским поэтом Габором Гараи о том, как национализм и собственное достоинство соотносятся между собой, и всякий раз приходили к выводу, что именно национализм, долгие годы бывший для венгров близким к чувству самозащиты, преодолевается в нашем содружестве успешнее всего. Умными людьми — в первую очередь. Сразу после войны и в психологии и в устройстве психики масс он преобладал, словно щит от Европы, изменявшейся до неузнаваемости, словно способ спасти себя в непривычном мире. Спорт подхлестывал национализм, это были годы славы венгерского спорта, и здоровенные парни в бутсах или боксерских перчатках возводились на геройские пьедесталы, не всегда осмысливая собственную популярность. Национализм ворочался в сознании, мурлыкал чужими голосами в радиоприемниках, лютовал в дни контрреволюции 1956 года и проиграл. Проиграл, потому что сквозь столетние предрассудки мучительно прорастала и навсегда проросла, утвердилась традиция Будапештской Коммуны 1919 года; высокие слова и точный смысл «Интернационала» день ото дня становились понятиями все более массово.

Не раз я ловил себя на прямо-таки рефлекторном желании упростить процессы, бурно идущие в жизни социалистических стран. Как ведь просто и мило представить себе все общественное развитие, словно праздничную демонстрацию на проспекте с красивыми лозунгами! Но это не столь картинно, и тем ценнее преобразования, убедительно происшедшие в жизни Венгрии, что они выстрадались, выболели, проросли естественно и естественно же стали неотделимыми от народной души.

Знаете, что еще мне кажется показательным: во многих внешнеторговых организациях Венгрии мне рассказывали, как к ним зачастили китайцы. Люди со значками на синих кителях непременно ходили группами и группами же декларировали свою готовность купить у Венгрии что-нибудь такое, что очень хочет купить Советский Союз. Они даже заплатили бы побольше — только б Советский Союз на венгров обиделся (если возможна такая формулировка в серьезных международных делах). Я же вам говорил, дорогой читатель, нас

воспринимают как части единого целого и — наивно ли, коварно ли — действуют против всех сразу. Больно уж хорошо повсюду усвоили, что нас нельзя победить, если не удастся разделить. Суверенитет Венгрии гарантирован именно ее содружеством, и слабенькая, разорванная на клочки (духовно и территориально) страна в центре Европы была бы послушной, беспомощной и галантерейно вежливой с каждым, кто приходил бы сюда попить вина или почистить сапоги. По крайней мере на это надеялись чрезвычайно, самые твердые лбы надеются до сих пор.

«Конечно, надеются, — сказал мне Шимон Пал. — Еще и как! Вижу я ностальгические глаза, устремленные нам в спину. «Ностальгические», возможно, и не то слово, но я прямо-таки физически ощущаю чужую тоску по моей родине. Ведь моя судьба и еще многие миллионы венгерских судеб напрочь перечеркнули несколько тысяч жизненных планов, ничего хорошего нам не суливших.

В прежние времена был бы я самое большее священником, — продолжает Шимон Пал. — Это я не к тому, что семья у меня была очень религиозная или еще что. Просто должность священника была вершиной общественной карьеры, на которую мог рассчитывать сын простого рабочего, такой, как я. То, что я стал министром, обычное дело сегодня, и даже в его обычности — результат множества изменений, происшедших в народной жизни. Сейчас и ответственным работникам, и писателям, и журналистам повторяют беспрестанно: «Не отрывайтесь от масс, изучайте жизнь рабочих...» А знаете, как я изучал рабочий быт в детстве? Сколько помню себя маленьким, вертелся у отца под ногами в цеху, носил ему из дома судки с обедом. Ни детского сада для меня, ни рабочей столовой для отца не было и в помине».

Министр тяжелой промышленности Венгерской Народной Республики Шимон Пал принимает меня в темноватом от дубовых панелей и приспущенных штор кабинете, в окружении книг, среди которых немало с русскими надписями на корешках. Поймав мой взгляд, хозяин кабинета оглядывается и показывает на одну из полок: «Вон там даже есть книги, по которым учился я сам, несколько моих московских пособий. С 1955 по

1959 год учился в аспирантуре и защищал там диссертацию; это как вторая родина для меня, Москва». Шимои Пал делает паузу и качает головой. «Вторая родина... хорошая формула. И смысл в ней замечательный — родина души моей и ума, вернее, та земля, где ум и душа мои формировались и крепли. И все-таки первая, единственная, самая изначальная родина всегда напомнит о себе, всегда пульсирует, как единственное сердце. Когда в 1956 году в Венгрии начиналась контрреволюционная заваруха, я пошел к военному атташе в наше московское посольство, даже точную дату помню, 24 октября 1956 года, пошел и сказал, что хоть сейчас готов возвратиться с учебы и бороться за народную власть с оружием в руках. Атташе покачал головой и велел позвонить завтра. Я позвонил. «Тебя кто послал сюда, в Москву? — спросил атташе. — Народная власть. Вот и отстаивай ее здесь, учись. А с винтовкой от тебя куда меньше проку. У нас уже власть надежная, это не девятнадцатый год...» Не забывайте, что Венгрия усвоила уроки девятнадцатого года накрепко — вешатели Хорти да Салаши тоже не смогли выжечь из нас дух Будапештской Коммуны. И, что важно, народ отлично понял, откуда свобода у нас и откуда у нас неволя. Мы очень повзрослели за несколько десятков лет. Мы привыкли к новому своему достоинству, подчеркните это слово и напишите его в разрядку: д о с т о и н с т в о. Вот здесь, вдоль Дуная, рядом с министерством, где мы с вами беседуем, пролегал променадный бульвар, и еще относительно недавно простых людей туда не пускали, в сороковые годы по нему ехал адмирал Хорти на белом коне, помахивал ладошкой в белой перчатке, и дамы салютовали ему белыми зонтиками. А я, сын венгерского рабочего, не имел права ходить по некоторым улицам венгерской столицы, даже на возмущение не имел права — все было регламентировано, вплоть до наказаний за мое возможное ослушание. Когда в 1956 году убийцы вопили о том, что коммунистов надо перевешать на фонарях, они вовсе не были оригинальны, они продолжали линию, начатую с расстрелов народных восстаний в начале века. Историческая память, исторический опыт живы и в нас и в них. Нас уже нельзя было подавить и расстрелять: очень уж стали мы сильными. Духовно сильными. А нефть, пришедшая из Союза, ваши машины,

помощь в подготовке специалистов вросли в нас частью не просто экономической — духовной силы. Об этом мне говорить еще легче, я с нефтью советской работаю едва ли не всю свою взрослую жизнь, знаю. Понимаете, народу можно советовать, можно агитировать народ, но невозможно сделать так, чтобы люди массово, по доброй воле, принимали решения, которые им не по душе. Мы делом, поступками, решениями очень точно определились в современности. А ведь малые народы очень зависимы от круга своих друзей. Нам же легко с вами, надежно; это честная жизнь...»

Шимон Пал был директором нефтеперерабатывающего комбината в Сосхаломбатте в течение одиннадцати лет и двух месяцев. Начинал он свое директорство с того самого кукурузного поля, на котором начал возводиться комбинат. Пришел он на стройку прямо из лабораторий Московского нефтегазового научно-исследовательского института, расставшись с академической карьерой и начав путь организатора производства. «Было, когда назначили меня, сорок работников на всю Сосхаломбатту, а я стал сорок первым. Самые первые наборы рабочих производил сам и первых триста человек всех знал в лицо и по имени», — вздохнув, говорит министр тяжелой промышленности ВНР Шимон Пал, которому с тех пор не всегда удается запомнить имена всех людей, с которыми он работает. Сосхаломбатта в нем как школа собственного формирования, школа, с которой начиналась большая и красивая жизнь.

Мы привыкли и к этому; Венгрия тоже привыкла, но первые директора из рабочих, и первые министры из рабочих, и первые новые рабочие на новых заводах — этому ещё надо было научиться. Научились. Шимон Пал рассказывает мне, как Сосхаломбатта размечалась и строилась по типовым советским проектам. Похожие предприятия одновременно разворачивались в болгарском Бургасе, советском Новополоцке, польском Плоцке, словацкой Братиславе, вместе росли, сразу же почувствовали себя причастными к такому большому и такому красивому сообществу.

Шимон Пал считает, что лишь случай сделал директором и министром именно его, — столько людей равноправно раскрывалось в общем труде для общего буду-

щего. Надлежащим образом оцениваю руководительскую скромность, ибо репутация у министра тяжелой промышленности республики очень высока; я согласен с ним в том, что огромное социалистическое предприятие — все нефтеперерабатывающие заводы Сосхаломбатты — вправду стало школой нового мышления, а не только нового производства. Шимон Пал называет мне дипломатов и работников Госплана, начинавших на стройке с ним вместе. Роль Сосхаломбатты, школы формирования личностей, со многими приближениями и скидками в воспитании венгерской молодежи была такой же, как у нашей — роль Днепрогэса или Магнитки. Просто, когда мы строили свои первые Турксибы, никого не было рядом как реальной и вспомогающей силы. Мы все в социализме начинали самыми первыми и первыми построили его. Когда я говорил с Шимоном Палом об изобилии, то подумал, что товарищ Цюрупа, нарком продовольствия в ленинском правительстве революционной России, падал в обмороки от голода, а в послереволюционном нефтяном Баку почти не было грамотных рабочих. И потому, что мы осилили такой гигантский шаг, Сосхаломбатте шагалось легче...

Вспоминаю две бетонные ладони сосхаломбаттского памятника Дружбы и Вечный огонь, пылающий между ними. Когда-то сюда пришли окрестные крестьяне и стали первыми рабочими. Теперь Сосхаломбатта уже разборчиво принимает будапештцев, знающих, что с нефтехимией связано множество самых интеллигентных профессий завтрашней Венгрии. Твердость бетонных ладоней памятника — от силы, а не от мозолей, по трогательной инерции воспеваемых поэтами, считающими, что пишут они о рабочем классе. Большинство людей в Сосхаломбатте работает в чистых цехах или за столами в аккуратных синих, белых и коричневых халатах, они пользуются личными дезодорантами и читают книги в обеденный перерыв. А знаете, какое место занимает химическая промышленность, в основном нефтехимия, в жизни Венгрии? Так вот, в 1975 году за пятнадцать дней выпускалась производственная норма всего 1950 года, и это, как заметил министр тяжелой промышленности ВНР Шимон Пал, этап давно уже пройденный. Год назад почти шестая часть дохода страны,

получаемого от всей промышленности, была связана с химией и с нефтью. Это я все о нефтепроводе, роль которого в том, как люди учатся, работают, живут, и в том, как будут они жить завтра и послезавтра, огромна.

Торжественному общению в кабинете с панелями из темного дерева пришел конец, потому что у министра достаточно дел, куда более важных, чем воспоминания о времени, когда он был директором строящейся Сосхаломбатты. Нефтеперерабатывающий комбинат выглядит сейчас так, будто он был всегда. И Шимон Пал выглядит так, будто его с детства готовили к правительственной работе, а не поручали носить обеды отцу в цех. Это восстановление исторической и моральной справедливости. Прекрасно знаю, что такая справедливость не всем по душе, взбрыкивались против нее в 1919, 1939, 1956 (называю годы контрреволюции), взвыли против нее на множестве радиоволн, до сих пор воют. Но справедливость, историческая, классовая логика ее все-таки непреодолимы, и это прекрасно! Вы знаете, дорогой читатель, по-моему, каждому нормальному человеку должно быть приятно, когда рабочим живется умнее и легче, когда люди труда выходят в министры, а страна развивает современное производство; впрочем, может, и во мне говорит логика чисто классовая, и я не могу поэтому додуматься до тех абстрактных приятностей, которые обещаны радиоволнами, воркующими из Кельна, взамен всего выше упомянутого. Каждое утро встречаю в гостиничном ресторане тирольского туриста в коротких замшевых штанишках. Турист, как положено, пьет пиво, и глаза у него такие, словно глядит он на знакомый пейзаж и не может узнать его. Помните историю о Рип ван Винкле?..

Я тоже сижу за стеклянной витриной «Астории», перебираю дневниковые записи, думаю, что на всех угодить невозможно и ни за что не надо стараться угождать всем. Есть на свете множество других стран и людей, некоторым из них не нравятся Венгрия, Советский Союз, и это в конце концов естественно, как естественно и то, что никогда еще уклад жизни в наших краях не был столь надежен и определенен. Если бы я сказал это своему «Видеотону», он бы меня, наверное, укусил.

Но не только несознательный приемник виноват, что в моем гостиничном номере блуждают, словно привидения или сквозняки, потусторонние голоса, которым велено убедить меня в том, что жизнь, совершающаяся вокруг, недостойна почтения. Турист в замшевых штанишках, пьющий пиво за соседним столиком, чем-то очень расстроен. Туристу не повезло. Но вчера я был в Сосхаломбатте и знаю, насколько перспективна и добра к людям эта жизнь в любом из проявлений своих. Жизнь так складывается, что никогда не бывает легко всем сразу. Я знаю, кому в сегодняшней Венгрии жить хорошо, и мне самому становится от этого легче и радостнее.

Из армейских записных книжек Семена Гудзенко

16 февраля.

Через Дунай на лодке переправились в Буду. Еще горят, взрываясь, дома в Пеште и Буде. Дунай мутный и стремительный, льда нет, глыбы громоздятся только на правом берегу. Крутые склоны каменистых гор. Древняя цитадель — поднимались туда, тяжело дыша, проваливались в снег, мимо красных полотнищ парашютов и разбитых самолетов... Спустились в подвалы — жидкая грязь, брошенное оружие...

Ночуем в Буде. Паром не пришел за нами, захожу в квартиру, беру книгу Петёфи. Все удивлены. Утром несу ее под мышкой. Мадьяры оглядываются. Удивлены.

Ночью заходили в квартиру. Старик что-то объясняет: пролетарий, коммунист. И потом поет «Интернационал» по-мадьярски.

25 февраля.

Сегодня в Будапеште день совсем майский. Никто из нас не знал, что готовится демонстрация. И вдруг — оркестр, колонны с красными флагами и портретами вождей. Девушки, опоясанные трехцветными лентами — зеленая, белая, красная. Крики: «Да здравствует мир!», «Смерть Салаши!», и все это троекратно, как-то не по-русски. С колонной иду через весь город. Двигаются тысячи рабочих и интеллигенции, организованных компартией. Все идут в спортплац, где должен состояться митинг. На тротуарах толпы...

Утром 8 апреля в Братиславе.

Братислава. Чудно. Залит солнцем город. Напоминает курорты Крыма. Горы и горы.

Дунай чудесен — набережная, гуляют. Памятник у театра Гвездославу — поэту-классику...

Рингштрассе — парламент, опера, городской театр... Баррикады. Отсюда до центра 10 минут ходьбы.

Здесь же орудие на прямой наводке... Дунай стремительный и серый. Он сейчас, весною, какого-то стального цвета, как немецкие кожаные пальто...

Старухе 94 года. Она дряхла. Но с кухни уходить не хочет:

«Я приготовлю первый обед для русских солдат».

Слова

Имре Добози бывал в Советском Союзе раз сорок, но не знает русский язык настолько, чтобы уверенно говорить на нем; беседуем по-венгерски, но русские слова нет-нет и вкрапляются в речь председателя Союза венгерских писателей, потому что очень уж много связано у Добози с нашей страной. Имре Добози — член ЦК. Он вдруг переходит с обсуждения литературных проблем на воспоминания о недавнем пленуме ЦК ВСПР и поднимает указательный палец вертикально вверх, желая сообщить нечто важное. «Знаете,— говорит Добози,— на пленуме товарищ Кадар вдруг вгляделся в зал и называет двух людей по фамилиям. «Давно вы, говорит, сидите здесь, больше года, и ни разу еще не высказывались ни по одному вопросу...» Надо, чтобы мы высказывались на самых острых обсуждениях. Даже тех, что еще только назревают. Вы понимаете, как важно это? У нас общество обязано не бояться самых острых проблем и ставить их до того, как враги за рубежом уловят те проблемы, переврут и с радиопомоями на головы нам же и выльют. А? Хорошо, что вы решились писать о нефти, но все это очень сложно». И Добози в задумчивости прикоснулся растопыренной пятерней к собственному затылку. Наши глаза встретились. «Голова болит,— сказал Добози.— Просто болит голова: кто это первый изрек, что писать легко и что музы на шнурочке спускают вдохновение с потолка. Голова болит...»

Голова у него болела и тогда, в конце сорок четвертого, когда четырнадцать офицеров венгерской армии отказались принять присягу фашистскому режиму и пошли навстречу красноармейцам. В спину им стреляли. Головная боль пришла тогда к Добози вместе с твердой убежденностью в том, что необходимо выжить, ибо настоящая жизнь будет завтра. Под Секешфехерваром (Имре Добози элегантно выдыхает труднопроизносимое имя города) он уже сражался против немцев, ибо наступающие части Красной Армии приняли всех четырнадцать венгерских

офицеров, возвратили каждому оружие и направили в бой. Венграм оставались еще самые трудные полгода.

В разгар войны будущему председателю Союза венгерских писателей было 27 лет; он работал в банке, был достаточно независим материально и, когда уходил, призванный в армию разбитого государства Хорти, не все еще представлял себе как следует. Процесс познания бесконечен, в том числе процесс познания своей родины и себя самого. Несколько миллионов венгров — все, которые были,— высчитывали в то время пути, на которых послевоенная Венгрия начнет возрождаться. Не все были уверены, что доживут до мира, но все хотели дожить; не все точно и четко представляли себе круги новых своих знакомств и лица новых знакомых. Несомненно было, что в центре Европы устанавливается новая жизнь и немногое в ней останется по-прежнему...

«Я вжался в нишу, выбитую в скале крутого берега Буды. Бой шел страшный, каждый сантиметр пространства был навылет прошит свинцом, немецким и нашим,— говорит Добози.— Вдруг кто-то меня потыкал автоматным стволом в спину, и я услышал вопрос, который мог уже перевести с русского: «Эй, кто ты?» И надо же случиться такому, что автоматным стволом в спину мне тыкал Борис Николаевич Полевой, человек, ставший с того времени моим другом на всю жизнь. Так я познакомился с первым советским писателем; проводил его в штаб мимо горящих нефтесборников — так я познакомился с первой нефтью в своей жизни; в штабе увидел, как генерал бросился обнимать Полевого. Так я начал узнавать новый тип интеллигента, способного не только брюзжать и впадать в патриотическую задумчивость, но и уничтожать врагов в открытом бою. Каждый день приходилось узнавать так много...»

У Добози было уже несколько инфарктов — узнавание не только бесконечно, но и беспокойно. Он очень умный человек, и очень намучившийся человек, и очень убежденный человек, потому что выстрадал каждый свой шаг и каждую декларацию. Я видел в Союзе писателей, и не только в нем, как верят Имре Добози, блестящему прозаику (военная тема, военная судьба, пишет только о том, что пережил, и хорошо пишет), члену ЦК, человеку, не склонному к упрощениям ни собственного пути, ни пути своего народа. Добози — сторонник того взгляда, что

история очень логична, и когда мы с ним разговорились о нефти, о морали, позволяющей строить нефтепровод так, словно руку друзьям протягивать, он сказал мне истину очевидную, но сформулированную точно: «Есть в стране силы, которые хотели бы жить иначе, которые умеют жить иначе и которые в конечном счете иначе жили. Они, эти силы, скомпрометированы самим ходом общественного развития. Очень упрощая, можно попросту сказать, что при социализме живется лучше, чем при капитализме, и миллион тому доказательств». Дальше я процитирую два места из статьи Добози, напечатанной в мае 1979 года. Статья официальна, подписана всеми высокими титулами автора, и формулировки ее суховаты; но мне важны именно эти формулировки, потому что ими объяснено многое в жизни Венгрии так, как понимает это одна из светлейших интеллигентских голов современной нации, руководитель писательского Союза, эссеист и прозаик с европейским именем.

Итак, Имре Добози подытоживает: «...буржуазия, землевладельцы, офицеры, мещане манипулировали тезисом о «модификации прошлого» в стране. Молодая партия венгерских коммунистов, взяв на вооружение опыт Великого Октября, сразу же отвергла этот тезис. Не «модификация» устоев старого мира, а классовая борьба... Я часто задавал себе вопрос: из каких источников почерпнул наш народ силы, что после белого террора, после страшной хортистской ночи, длившейся четверть века, он с такой неимоверной энергией взялся за строительство новой жизни, когда в 1945 году части Советской Армии освободили Венгрию? Что помогло нашим людям понять необходимость исторических преобразований на пути социализма? Конечно, прежде всего решающую роль сыграли здесь само освобождение страны от фашистского ига, беспримерный подвиг в Великой Отечественной войне советского народа, принесенные им жертвы в борьбе с коричневой чумой. Вместе с тем огромное значение имели здесь наши революционные традиции, пример отцов и старших братьев, кто шел в первомайских колоннах по улицам Будапешта весной девятнадцатого года, испытывая радость за Венгерскую советскую республику, кто был готов отдать за нее самое дорогое — жизнь».

Я уже вам говорил, дорогой читатель, и скажу еще:

история великих народов беспрерывна, а венгры — великий народ. Умение несуетливо найти определяющую линию собственной истории избавляет от неожиданностей в последующем ее комментировании. Здесь важно еще одно: ощущение не только определенности мира своего народа, но и причастности его к судьбам других наций и ответственности за те судьбы. Нефтепровод нефтепроводом, но мир сшит в одно целое не только трубами, есть великая соединенность идеей, объединяющей все остальное. Это ведь легче легкого — раздергать по страничкам и главам: туда — нефть, туда — память, а туда — охрану природы.

«Понимаете,— кивает головой Добози, снова прикладывая ладонь к затылку,— в истории народов есть возможности такие и есть иные. Вот через дорогу от Союза писателей китайское посольство; шлют они нам и всем остальным толстые альбомы, информационные бюллетени, выставки; на каждом фото — руководители Китая с военными из ФРГ, с американскими политиками-антисоветчиками, с чилийскими генералами. Пришла у них к власти братия, продолжающая политику тех самых мандаринов, что еще в двадцатые и тридцатые годы устраивали провокации на вашей границе. Тоже логично развиваются — историческая логика всегда классова; если бы у нас победили те, кто в 1919-м вешал коммунаров на фонарных столбах, наверное, и с китайцами и с чилийцами страна поддерживала бы отношения потеплее, «основанные на общности целей и взаимном понимании», как пишут в дипломатических протоколах. История Венгрии сейчас на очень хорошем, на честном витке; хоть не всегда нам легко и просто, но с каждым годом лучше и легче. Я помню, как в прошлой войне американские солдаты могли не пойти в бой, если недополучали, скажем, порцию шоколада. У нас другая война и другой мир, во всех смыслах другой мир...»

Добози наливает в рюмки молдавский коньяк и показывает на бутылку: «Тоже из нефти?» — «Нет, из винограда», — с полным знанием ответствую я и рассказываю о белом аисте, приносившем виноградные грозди в осажденную крепость и ставшем геральдической птицей. «Какие красивые легенды были в старину! — улыбается Добози. — Спокойно жилось им, было время сказки слагать про аистов. Античный интеллигент слыхивал о се-

ми-восьми странах, не больше, да и то в самых общих чертах. А сейчас только в ООН сколько государств? Сто восемьдесят? Двести? Надо мыслить широко и не только о себе самих — это ваш урок, мы его уже хорошо усвоили. Вот вы о нефти пишете; а как вы думаете, если бы нефть была у нас, а у вас ее не было, все ли венгры так же щедро отнеслись бы к строительству трубопровода в вашу сторону? Думаю, что большинство бы уже поняло все правильно, а те, кто не понял, откровенно сказали бы. Еще один урок нового образа жизни — люди научились высказываться безбоязненно, это важно! Стали мыслить шире и государственней.

Вот мы сидим с вами и разговариваем. Строим однотипные общества, но я пришел на свою стройку из страны капиталистической, причем довольно развитой. А вы родились в социализме, и даже родители ваши таких рекламно-привлекательных капиталистических витрин, как я в молодости, не видели сроду. Да, мы братья, мы рядом, но не следует упрощать, забывая, что в нас с вами закладывалась разная аксиоматика, разная система координат. Мы должны подольше общаться, откровенно спорить, добиваться до сути. Вот хотите вы написать о предприятиях, связанных с нефтью, а знаете, о чем спросите у рабочих? Что такое международная солидарность, все ли они это понимают и знают. Знают ли они, где находятся Ангола и Мозамбик? Готовы ли люди жертвовать своим сегодняшним благополучием для того, чтобы незнакомым людям в другой стране жилось легче? Это очень важные вопросы и очень связанные с интересующим вас нефтепроводом. Вон, по нитке «Адриатика» мы можем докупать арабскую нефть. Время от времени докупаем, если возникает очень уж внезапная надобность. Почему же к вашей нефти и к той столь разное отношение? А какое отношение молодежи ко всему этому? Нет, уж трогать так трогать, писатели не о нефти должны писать, а о душе. Нефть когда-то кончится, душа остается...»

Добози прав. Он рассказывал мне, как выступал недавно с лекциями в Париже и все видавшая аудитория спокойно воспринимала его откровения. Аудитория вздрогнула лишь однажды, недоверчиво загудела и не смогла уже успокоиться до конца. Это когда Добози сказал, что венгерские крестьяне получают государствен-

ную пенсию. Слушатели не верили; они отказывались понять, что нечто, чего у них в государстве нет и в помине, может столь успешно реализоваться в другой стране. Когда Добози отвечал на вопросы, слушатели тоже не поверили о нефти; как раз очередной танкер истекал черной кровью, вспоротый острыми скалами Бретани. Слушатели не верили, что так вот просто, обыкновенно, по трубе в несколько тысяч километров длиной может спокойненько струиться нефть, необходимая другому народу. И цены можно согласовать на годы вперед, и поставки...

Даже слова несли в себе энергию той самой нефти, что стала аргументом в беседе о новой жизни.

Научились говорить предметно, по делу. Слова стали куда весомей, государственней, когда из них ушла плакатная эйфория; и еще одно: при всей своей независимости, достоинстве люди стали меньше доказывать сами себе и друг другу, в чем они неизмеримо выше других личностей и народов. Появилось точное ощущение своей взаимосвязи с бытием всего человечества, с судьбой всего мира социализма. «Мы стали сильнее и взрослее от этого,— говорил Добози.— Но как же необходимо уважать и прослеживать путь, на котором достигли мы зрелости духовной! Если что-то меня и беспокоит, то насколько же мало многие молодые знают о междувоенной Венгрии, насколько же день сегодняшний способен заслонить им образ провинциальной, несчастненькой родины, который мы стряхнули с души, но не должны вытряхивать из памяти. Все мы продолжаем историю, выводя ее на новый виток, и тут очень многое соединено; на древе нашей судьбы наросли новые кольца, корни его еще больше зарылись вглубь, а ветви стали еще заметнее в нашем общем саду... Прошу прощения, я прозаик и официальное лицо, а заговорил, как гривастый поэт-лирик на творческом вечере...» Имре Добози доливает нам коньяка и закуривает, поглаживая ладонью затылок. Он устал.

В этой главе мне хочется объединить беседы с людьми, занимающими одинаковое общественное положение в своих странах. Несколько раз на протяжении книги я делаю это, когда мне кажется, что необходимость такого объединения очевидна. Именно сейчас, после бесед с Имре Добози, мне хочется вспомнить о многом из

переговоренного с Андреем Плавкой, председателем Союза словацких писателей. Кроме всего прочего, дело и в том, что оба руководителя писательских организаций, люди не очень молодые, все делают для того, чтобы народы их полноценно чувствовали себя именно в атмосфере сотрудничества и дружбы. Не было ведь еще такой атмосферы — ни в центре Европы вообще, ни между венграми и словаками в частности. Многое здесь на крови — земли, переходившие из рук в руки, унижавшиеся национальные языки и культуры, военная форма, в которую наряжали представителей разных народов, натравливая их друг на друга.

«Нефтепровод, которым вы так интересуетесь, а вернее, мораль этого нефтепровода, интернационализм, преобразовывающий само качество жизни,— это перестройка не только энергетического баланса, это перестройка баланса отношений между нациями,— говорит Плавка.— И в этом самое важное. Нефть как нефть, везде она черная; но вы преподаете нам науку межнациональных отношений, которые черными быть не могут. Вы учите нас жить вместе и широко мыслить; прошлое уходит на дно реки, времени, легко ли прощаться с ним? Я пишу, заканчиваю уже, пьесу о моей деревне (вы проедете мимо нее по пути в Татры). Деревня затоплена огромным водохранилищем, и на месте моего дома покачивается синий поплавок-буй. Электростанция, построенная у водохранилища, пошлет ток и венграм и нам; а мой дом, как воспоминание, обозначен синим поплавком на поверхности моря. Здесь и моя личная жизнь и метафора, показавшаяся мне достаточной, чтобы организовать ими пьесу.

Мы устали от национализма. У так называемых маленьких наций, которым всегда выкручивали руки и души, национализм бывал средни чувству самозащиты, но чаще он оживлялся, насаждался, воскрешался, подталкивался как сила надменная и жестокая, а самое главное, самоубийственная. Если бы народы умели учиться массово, учитывать, продумывать все уроки и все ошибки прошлого, они бы многое поняли из истории собственных смертей и воскрешений; запомнили бы навсегда, наизусть выучили. А так ведь стравят тебя со всеми соседями, и ты становишься беззащитным и маленьким, и можно с тобой творить все что угодно. Как при-

блудный щенок в темной комнате, бегает национализм, стуча коготками, вырастает в большого пса, от которого уже и смердит, и кормить его нечем. Потом этот же пес тебя и съест, как сожрали швейковские дворняги глупого сыщика Бретшнейдера...

В конце первой мировой войны народ Словакии уже погибал — во всей нации оставалось 500—600 интеллигентных семей. Хранила ориентацию на восток словацкая Матица, наши просветители говорили о дороге в Россию как о единственном пути спасения. Официальные политики, воинственные захватчики стращали нас, утверждали, что придут русские и все растопчут. И вот здесь уже оживала историческая память народа (до чего же она важна!) — отовсюду ведь нас топтали, только не с вашей стороны Карпат. Вся история народа учит, что в национализме мы не выживем как современная нация: история народа, народная память обращены к вам, словно к надежде. Народ продолжает свою историю, усваивает ее уроки; если представить себе невозможное, что тогда, в сороковых, мы не пошли бы по общему с вами пути, все равно когда-нибудь пришли бы к союзу с вами. Все равно. Это историческая логика народной судьбы, усвоенная и понятая народом. Общение наше всегда было интенсивным. Сейчас нефть пришла сквозь Карпаты, это прекрасно, но сто лет назад простые лудильщики кастрюль ходили в Россию и возвращались к нам; они тоже были пропагандистами сотрудничества и дружбы, хотя на своем уровне. Народ сделал выбор. Притом не единицы сделали этот выбор, а массы. В войну словаки массово переходили на сторону Красной Армии. Когда чехословацкий корпус сражался против фашистов, это были не только такие герои, как генерал Свобода, или капитан Ярош, или Ян Налепка,— это был выбор, сделанный массово. Вот брешут через границу по телевидению или по радио, что нас принудили, мол, навязали — брешут и брешут! А то, что в 1968 году, когда контрреволюция поднялась на все свои лапы, ни один кооператив (колхоз, по-вашему), в Словакии не распался — ни один! — так про это брехуны помалкивают! Да, я верю в социализм, верю в его нормы отношений между народами и людьми; никакая другая власть за всю нашу историю не могла кардинально решить главные пробле-

мы общества, кроме Советской власти. Никакая другая власть. И для меня главное не только в том, что я лично верю,— народ поверил, вы же видите. Хотя — не настраивайтесь на идиллию — великие повороты вызывают и великое сопротивление тех, от кого в сторону поворачивается жизнь. Да что могут они, общие наши противники? Это ведь тоже важно, что и друзья и враги у наших народов общие. Все пополам. Это называется общая судьба...»

Андрей Плавка завершает свою пьесу в Доме творчества в Будмерице, в старинном замке в сорока километрах от Братиславы. Предков Плавки не пускали даже на подворье таких замков, потому что были его предки самыми что ни на есть бедными крестьянами. Замок стоит на горе в старом парке. Плавка помнит, как в 1961 году здесь был устроен прием в честь Л. И. Брежнева и он, Плавка, говорил тост на приеме. Председатель Союза писателей привык уже к делам и проблемам самого высокого уровня, он причастен к народной судьбе повседневно и во многих ее пунктах; жизнь Плавки — весьма характерная и заметная часть этой судьбы; слова Луговского «раньше тридцать бы жизней в такую вошло» относятся к ней полностью.

«Я разных словаков повидал,— говорит Андрей Плавка.— Не потому, что стар, а потому, что я — одна из крошек из народного каравая. Кто нас только на моей памяти не клевал! В течение всего детства, например, мне было вообще запрещено разговаривать по-словацки; меня палкой по спине били за родную культуру, так и вбили ее в меня — от противного. Понимаю, вас интересует нефть. Казалось бы, это часть экономики; но всегда помните, что хозяйственная политика — лишь часть общенациональной; мы всегда были угнетены, и нам никто ничего не давал, только забирали у нас. Люди уходили в миграцию, нация вымирала и разбегалась. Вот брат у меня тоже уехал на шахты в Бельгию да там и остался. Даже когда с 1919 года в некоторых гимназиях разрешили разговаривать по-словацки, легче жить не стало — общего языка с правителями народ все равно не находил. Знаете, что дает веру в родину? Возможность *реализовать себя дома*; знание, что на земле своих отцов ты можешь быть человеком!

Мы испытали все варианты гнета и все пути поиска

выходов из него. Причем за мою жизнь нами вертели и так и этак; масариковская буржуазная республика начала века, мюнхенское предательство и распад Чехословакии, фашистско-клерикальная диктатура Тисо... История учила нас многому; по крайней мере, мы твердо усвоили, откуда не приходится ждать добра и что надо бороться за свою судьбу. То, что наши парни, мобилизованные в фашистское войско, разбегались, едва попадая в СССР, шли в партизаны,— это результат осмысленного исторического опыта, никто ведь их особенно не агитировал за уход в советские партизаны, сами шли. Внутри Словакии поднялось Словацкое национальное восстание; то, что и я и моя жена Анна были с восставшими от первого до последнего дня,— урок души, решение, принятое самостоятельно и твердо. Я же вам говорю — мы крошки из народного каравая...»

В парке старого будмерицкого замка днем бродят писатели, приехавшие сюда поработать, а по ночам — духи прежних владельцев, оскорбленные столь демократическим обществом. Ежегодно в Словакии выходит больше двух с половиной тысяч книг, и треть из них — художественная литература; работает шестнадцать театров (до войны было два). В коридорах будмерицкого замка на сквозняках покачиваются ставшие пылью голоса тех, кому принадлежали когда-то эти стены, эти деревья и эта жизнь; голоса уже не слышны. В парке роют канаву, подтягивают к замку ответвление магистрали, по которой еще одна порция сибирского газа придет в Будмерице. «Слова,— медленно выговаривает Андрей Плавка гамлетовскую реплику.— Слова, слова, слова... А все-таки прежде, чем пришла нефть, мы поверили в слова, сказанные из вашей страны; нам столько лет было тепло от вашего соседства, от надежды на вас, что нефть, пришедшая из Советского Союза, пролилась в уже горящую топку...»

АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 15

Это все было красиво, как жизнь в фильмах Киевской киностудии. И женщины были женственны, и мужчины были мужественны, и костюмы были яркие, у лыжника с плаката и лицо и одежда были прекрасны непередаваемо, а, судя по плакатному тексту, душа и мысли у лыжника были еще лучше.

Вокруг меня в гостиничном вестибюле, быстро передвигались орды колоритнейших личностей, могущих довести обычного смертного до комплекса неполноценности, до мировой скорби и желания писать стихи о неудавшейся жизни. Дело в том, что Высокие Татры проводили у себя очередной этап розыгрыша Кубка мира по лыжам. В гостинице «ФИС» (это сокращенное название Международной федерации лыжного спорта) собралась элита спортсменов и руководителей, любой из которых, кроме своей привязанности к лыжному спорту, был еще подвержен любви фирм, выпускающих модные спортивные костюмы из эластика. Фирмы жаловали костюмы знаменитостям направо и налево, видя в этом хороший способ рекламы своих изделий. Обитатели гостиницы «ФИС» носили костюмы конкурирующих фирм, не очень переживая от того, что производители костюмов между собой не ладили. Спорт, несомненно, развивал отношения между странами; только что приехали около десяти лыжников из ФРГ, и седенький руководитель с выправкой офицера в отставке искал гостиничное начальство; подчиненным руководителю спортсменам не хотелось жить в номерах, которые им предоставили. Им хотелось жить совсем в других номерах.

«Вот на что уж советские лыжники выигрывают все гонки,— пробурчал мне директор «ФИС»,— так не капризничают никогда. Западные немцы ничего не выигрывают, но гонору хоть отбавляй».

Директор отеля Здено Банко строен и красив; спортивное прошлое подарило ему замечательную фигуру

и жену — лыжницу из Свердловска, с которой Банко познакомился на соревнованиях в 1962 году. Сейчас директор гостиницы сидит на высоком табурете у стойки бара, растянувшегося вдоль одной из стен вестибюля, и время от времени по-дирижерски взмахивает руками: это он здоровается со всеми, потому что со всеми знаком лично. Номер, занимаемый семьей самого Здено Банко в подчиненном ему отеле, увешан необрамленными картинами. Это сын директора рисует все, что угодно, кроме гор. Горы ему надоели, гор у него сверх нормы, сын директора хочет рисовать море и пальмы, которые совсем не похожи на мачтовые сосны, обступившие отели в районе Высоких Татр, начиная прямо от райсовета и прилежащих к нему гостиниц в Штрбске Плесо. Сын директора рисует симпатичное оранжевое солнце и женщин, одетых по-летнему, и зеленую траву, которая нравится ему больше, чем снег. Впрочем, в прихожей директорского номера стоят узенькие модные лыжи из пластика и лежит аккуратно сложенный спортивный костюм. Парня нет дома, ему еще учиться и учиться — до самых весенних каникул...

Здено Банко рассказывает о том, как в годы Словацкого национального восстания он был связным у партизан. Бедный паренек из деревни, как раз в нынешнем возрасте собственного своего сына. Разве что Банко-старший в ту пору ничего в жизни не видел, кроме татрских мачтовых сосен, между которыми умел отыскать любую дорогу. А рисовать ему было некогда, да и нечем, во всяком случае, не до пальм было, когда 86-я дивизия СС, переброшенная из соседней Польши, пошла в атаку на партизанские базы — черными мундирами по белому снежному склону. Черными мундирами и желтыми огоньками у автоматных стволов. Из большинства здешних старых сосен корабельных мачт сделать нельзя, их опасно спиливать, эти сосны, потому что рвется полотно электропил и травмирует лесорубов. В толщу древесных стволов вросли осколки и пули. Железо в дереве — автогеном такие деревья срезать надо...

Когда освобождали этот район и, не утихая с осени 1944 года, здесь кипели бои, словацкие горцы запомнили много советских имен. Мне рассказывали о командире партизанской бригады «За свободу славян» Евге-

нии Волянском, о партизанах Василии Ахмадуллине, Леониде Леонове — на памятниках у братских могил вперемежку имена представителей многих советских народов, они падали в этот красивый снег, созданный для горнолыжников и туристов. Красен был снег и таял от крови; столбики, которыми обозначаются братские погребения, стоят вдоль любой дороги, куда бы ты ни пошел.

«Здесь бывают советские люди,— говорит мне Банко.— Жаль, что мало их отдыхает здесь. Как-то познакомился с Иваном Николаевичем Феданом из Харькова. Оказывается, он был ранен вблизи здешнего перевала. Татры освобождала 18-я армия, та самая, где служил Леонид Ильич Брежнев. Никогда еще в истории нашего народа не было, чтобы люди, пришедшие из другой страны, так самоотверженно шли в бой и гибли за нас. Теперь жизнь тут совсем другая, даже у сосен раны позаживали, ушли в глубину. Приезжают богатые туристы из Австрии, ФРГ, похаживают, поглядывают на склоны, а я, как увижу туриста о т т у д а, лет под шестьдесят туриста оттуда, вспоминаю себя, прижавшегося к сосне. Из сосны живица течет, ствол ранен,— и черные мундиры на снежном склоне, желтые огоньки у автоматных стволов...»

Здесь были санатории для богатых туберкулезников; после войны туберкулезников стало совсем немного, санатории в основном перестроены для лечения больных бронхиальной астмой. Много отелей для горнолыжников, и много богатых туристов со всего мира. Бывший партизанский разведчик глядит в сторону военного обелиска, перечисляет мне наизусть имена, написанные на нем,— советские и словацкие. Зеленым обелиском врастает в небо сосна, которую нельзя спилить электропилой, потому что сосна ранена.

Задунайская радуга формировалась у меня перед глазами. Она изгибалась где-то высоко в небе, и нельзя было так сразу определить, на австрийской или словацкой земле заякорились ее семицветные опоры. Я пытался проникнуть взглядом сквозь арочный мост радуги; есть примета, что к человеку, прошедшему под ним, приходит немилосердный и необходимый дар обостренной памяти...

Что запомнилось этой земле, Словакии? Сколько уроков из усвоенных ею были ей необходимы? Что именно из огромного опыта избирает народная память и каждая из памятей человеческих, чтобы хранить в себе?

Братислава помнит о многом; я хочу сказать, что Братислава обязана помнить о многом, и этот долг памяти существует в ее бессмертном сознании, не каменея. Мне очень важно было выбрать из бесконечности мозаик древнего города те искорки смальты, в которых отразились лица и жизни людей, пришедших сюда «оттуда», из-за Карпат, с той стороны, что испокон века звалась здесь Россией, а позже стала называться Советским Союзом. Собственно, это является смыслом всей моей книги — возвращение по следу, возвращение по памяти, возвращение к истокам, прикосновение к ситуациям и жизни, определявшим наши отношения с давних времен до нынешних, до того самого сегодняшнего дня, в котором фиксируются судьбы целых народов и стран, вызревшие на полях, засеянных в годы сытые и голодные, мирные и военные. Сколько было этих лет в судьбах наших!

Бывали здесь кельты, германцы и даже турки. Здесь, под Братиславой, в старинной крепости Девин жили легендарные Кирилл и Мефодий; славянские поселения были здесь неведомо с каких лет — археологи классифицируют времена, копаясь в камнях развалин, нагроможденных на эту землю захватчиками, которые вопреки всем Кириллам и всем Мефодиям приносили сюда не азбуку, а смерть. Так и разделялось в истории народа и в истории города — серый, пепельный, смертный слой чередовался с белым цветом надежды и воскрешения.

Сейчас у Девина, где сливается Морава с Дунаем, разгуливают пограничники в зеленых курточках — на другом берегу Австрия, на другой стороне растут чужие ивы и чужая трава на иностранном заливном лугу.

Корявый ствол дерева со вздетыми к облакам ветками плывет по Мораве, не ведая, к чьему берегу приплывает. Пограничник на всякий случай пристально следит за стволом; я опять подумал, что жили здесь и в каменном, и в бронзовом, и в железном веках — с четвертого тысячелетия до нашей эры. Живут и в атомном. Строили дома. Разрушали дома. В начале прошлого века крепость капитально развалили наполеоновские войска. Они, как большинство захватчиков, не думали тогда ни о поражении, ни о плене.

А когда армия трех монархий разгромила Наполеона под Лейпцигом, в Братиславу привели пленных французов. Ян Коллар вспоминает, как они плакали, как просили воды и хлеба. Победоносные монархи вскоре собрались на Венский конгресс, и многим из них весело было съездить в соседнюю Братиславу. Трамвай между Братиславой и Веной пойдет еще через сто с лишним лет (в тридцатые годы XX века трамвайный рейс между городами займет полтора часа). Монархи приезжали в каретах, а русский царь Александр, к удовольствию братиславцев, разъезжал по их городу на дрожках, которыми правил сам. Запомнили даже то, что царь был светлоглаз и рыжеволос. Рассказывают о старых паромах и бродах: всезнающий и очень популярный в Словакии журналист Владимир Жабкай водит меня вдоль австрийской границы у развалин Девинской крепости, мы смотрим на дерево, плывущее по Мораве, и говорим о том, как рухнул Наполеон, а Братислава еще раз выжила; и когда во время Венского конгресса 1815 года случился перерыв — был канун пасхи, и монархи беззаботно гуляли по братиславским церквам, наблюдая разлив Дуная; одно из прекраснейших столетий — девятнадцатое — было так молодо! Пушкин еще учился в лицее; год назад родился Шевченко; целых десять лет и несколько месяцев оставалось до того дня, когда декабристы выйдут на Сенатскую площадь. Дунай тревожил паромную переправу — после изобретения кино такие разливы будут снимать как аллегорию перемен; в начале XIX века ни за что б не додумались до такой

утонченности... Сколь суровы реки без мостов над водой! По крайней мере — без моста в поле зрения; сколь много значит — метафорически и реально — мост.

На речном пограничье вижу лишь катера, пригодные для переправы с берега на берег, из страны в страну. Мосты расположены где-то дальше, где-то в другом месте. Вот, например, из центра Братиславы видны сразу два. Один — великолепный плод фантазии архитектора, все знающего о бетоне и современных несущих конструкциях. Мост на тягах, расходящихся от бетонного восьмидесятиметрового столба с бетонной лепешкой ресторана, насаженной на столб. Лихие съезды с моста закручиваются штопорами над набережной, и все это очень современно, очень красиво, разве что никто не мог толком рассказать мне, кем был архитектор, откуда он родом и кто по национальности. Мост был молод, история не приросла еще к его бетонному телу, натянувшемуся над стальным дунайским разливом. А если стать спиной к этому мосту и к старой крепости, возвышающейся над ним, оставляя по левую руку от себя собор с золотой короной, нахлобученной на шпиль (в соборе святого Мартина короновались семнадцать венгерских монархов), то прямо по Дунаю, перечеркивая черной массой его течение, тяжело протянулся другой мост. Этот мост не очень красив, он похож на деловитые железнодорожные мосты через Днепр, через Волгу или через Двину, я и в Киеве едва ли не ежедневно видел такие. Мост работает с беспрерывной нагрузкой с 1945 года. Его хотели снести, выстроить новый, пора уже, да жаль моста, потому что все знают его историю.

...Был когда-то на этом месте красивый мост через реку. Строили его при Франце-Иосифе, том самом правителе Австро-Венгрии, что красовался в короне святого Стефана дольше всяких приличных сроков; поизносилась при нем корона, так поизносилась, что никто после Ференца-Йожки (так запечатлелось монархово имя в фольклоре) ее больше не надевал. Короной пугали, корону похищали, но об этом я рассказывал в другом месте книги; здесь о мосте. Мост был построен при Франце-Иосифе, а финансировал стройку знаменитый Ротшильд. Люди эти символизировали богатство и власть в Австро-Венгрии; мост как результат их совместных усилий удался на славу. Красивое полотно переправы свя-

зало дунайские берега капитально: словацкие рабочие возвели мост всего за несколько лет, к тому же задешево,— не было тогда в Австро-Венгрии рабочей силы более добросовестной и более бесправной...

Когда в апреле 1944 года Братислава должна была пасть и фашисты уже хорошо знали, что не удержат столицу Словакии, они заминировали город и мост. Город удалось спасти — это поразительно, как советским саперам и чехословацким патриотам в последний миг удавалось обрывать провода и шнуры, ведущие к взрывчатке. Город спасли, а мост был взорван и рухнул в Дунай, потому что лишь в сказках и плохих детективах удается спасти все. Мост погиб, прослужив людям полстолетия, на тридцать лет пережив империю, именем которой был возведен.

Я не уверен, что капитан Карпушенко знал в то время историю моста в подробностях и внимательно пролистал книгу бытия Австро-Венгрии. Капитан знал другое: у одних задание разрушать — у других строить. Капитан противостоял разрушению. Он оставлял на стенах историческую расписку: «Проверено. Мин нет» — и шел по следу вражеской армии, спасая дома и людей от заканчивавшейся мировой войны, от фашистов, от всей нечисти, которая невесть откуда бралась и столько зла натворила. Саперы капитана Карпушенко выстроили новый мост через Дунай ровно за девять месяцев. Вся Братислава следила за тем, как строят они мост, похожий на железнодорожные мосты через Волгу, Днепр или Двину.

Вначале было дело. Был мост. Еще не выстроили на горе Славин мемориал 6845 красноармейцам, павшим здесь, погибшим за месяц до падения Берлина (какие страшные, горькие какие потери — в самом конце войны!), еще не были проведены самые впечатляющие митинги, не были зажжены еще самые яркие из Вечных огней, но саперы капитана Карпушенко строили мост через Дунай, и пятьдесят тысяч жителей Братиславы пришли на его открытие. Маршал Конев говорил капитану что-то приятное, играла музыка, мальчишки, взобравшись на холодные деревья, размахивали шапками — в Братиславу пришел мир; по черному железнодорожному мосту, по пеплу, по свежим еще могилам — мир пришел с востока. Мир был очень конкретен, в этом еще

одно из впечатлений от Советской страны, накрепко запомнившихся народу впечатлений от первого дня воли, от первых усилий освободителей.

Мост. Сращивание берегов реки. Сращивание времен. Сращивание судеб народных.

«Боже мой! — говорит Карол Томашчик, отодвигая от себя кипу белой бумаги и коробку с фломастерами.— Словно вчера был этот мост, как сейчас вижу его и слышу стук колес по железу...»

Томашчик почти совершенно глух; Томашчик слеп; те несколько процентов зрения, которые сохранились еще на дне светлых, выгоревших глаз Карола Томашчика, не позволяют ему читать и смотреть телевизионные передачи. Уже ослепнув, Томашчик освоил стенографию и яркими фломастерами записывает на больших листах бумаги все, что хочет запомнить. Сквозь несколько процентов сохраненного зрения стенографические яркие знаки приходят к нему, и тогда Томашчик читает собственные стенограммы. Он написал так несколько книг о войне, так он пишет и приказы по предприятию, которые точно расшифровывает его всезнающая секретарша. Я не сказал вам, что Карол Томашчик руководит одной из самых больших продуктовых баз словацкой столицы. Тридцать один год заведует, хотя после 1952 года не прочел уже самостоятельно ни строки. Все, что он узнал, выучил, все, что скопилось в памяти,— будто его собственные мосты к свету. Томашчик читает мне наизусть Пушкина, Тютчева — он знает около шестидесяти русских стихотворений наизусть. Не забыл: мост памяти, по которому легко возвратиться в Белоруссию и на Украину, в партизанские отряды, где Томашчика знали по конспиративному имени Данко. Красивый этот псевдоним — от знания русских классиков, особенно Горького, которого Томашчик начал читать еще перед войной.

Война оказалась мостом в мир, прежде неведомый. Когда его, крестьянского сына, родившегося возле Жилины и ставшего батраком очень рано, забрали в армию, был он еще так молод, что в том проклятом тысяча девятьсот сорок втором году не мог еще и представить, что идет такая война, какой не бывало, а жизнь может оборваться от первой же, самой глупой, самой случайной пули. Батрака Карола Томашчика одели в форму словацкой армии Тисо и направили на Восточный фронт: ар-

мия Тисо была гитлеровской союзницей и обязалась оплачивать словацкой кровью тевтонские военные планы.

Томашчика перебросили в Белоруссию по чужим мостам, воздушному, а затем железнодорожному, действовавшим с большим напряжением: гитлеровцы спешили. Томашчик был уже подпольно в компартии и знал, что перейдет на сторону Красной Армии при первой возможности. Так же точно знал он, что возможности может и не представиться; убедился на белорусской земле, потому что был одет в чужую шинель и никто не верил ему. Томашчик учил русский язык, учебник носил с собой постоянно; когда забывал его в казарме, то солдаты шутили, что сегодня Томашчик не дезертирует, потому что учебник русского языка не при нем.

«Какие первые уроки Советской страны, пусть частично оккупированной, в том числе и вами, словаками, не обижайтесь,— какие первые уроки получили вы в стране, куда пришли вместе с захватчиками?»

«Уроки ненависти,— серьезно отвечает Томашчик и глядит светлыми зрачками прямо перед собой.— Уроки отношения к фашизму. Уроки сплоченности. Люди ненавидели нас. Многие словаки ругали фашистов в открытую, искали путь в партизаны, но вокруг словно глухая стена была, никто не верил ни нашей ругани, ни поискам нашим. В городе Хойники я жил по улице Зеленой, 9, на квартире у местного ветеринара, пытался ухаживать за его дочерью, произносил за столом антифашистские речи, но было это напрасно. Однажды мне подарили все-таки фотографии членов Политбюро, не то чтобы подарили, а сделали так, чтобы фотографии у меня оказались. Но сколько я ни выспрашивал о пути в партизаны, никто и не собирался мне помогать. Я же вам говорю, это были уроки великой ненависти. Через Хойники шли партизаны Ковпака, шли отряды Сабурова, но нам, словакам, никто не показывал, где они. У советских людей была своя война, и у нас — своя. Для того чтобы оказаться по справедливую, по советскую сторону баррикад, надо было доказать свой антифашизм делом. На слово не верили никому...»

Размышляли серьезно, я именно так себе это и представлял. Я так и хотел представлять себе это; мне не очень верится, когда на безжалостной и принципиальной войне противники тут же, на поле боя, бросаются в

объятия, отбрасывая автоматы подальше. Не бывает такой войны и не бывает такой дружбы. Да, на словаков против их воли напяливали форму враждебной нам армии, отправляя их на восточный фронт. Да, душа и мысль каждого порядочного словака противились такой форме, такой войне и такой отправке. Но тем не менее словацкие дивизии пришли на советскую землю. И при встрече с фашистскими офицерами солдаты этих дивизий обязаны были выбрасывать правую руку вперед и вверх, гаркая «хайль Гитлер!», что они и делали. Карол Томашчик показывает мне, как это выглядело в натуре,— клацает каблуками, посылая правую руку вперед-вверх.

Томашчику пришлось демонстрировать это движение множество раз — проклятое приветствие наци. Он избил начальника полиции, ушел в партизаны и стал связным, ходил по дорогам оккупированной страны, выдавал себя за словацкого солдата, разыскивающего лазарет. Приветствовал офицеров армии, из которой давно уже дезертировал, и очень боялся встретить знакомых. Он честно сражался против фашизма, и только советских орденов и медалей у него целых шесть. Он рассказывает о женщинах — Софье Николаевне Зенюк, Ольге Степановне Курень, которые привели его в партизаны; ах, какое бы это было кино или приключенческий роман с небанальными поворотами, такого ведь не выдумаешь! Нельзя выдумать историю о том, как Ольга Курень уводила Томашчика в партизаны и вдруг заплакала, опершись на угол старого дома. «Что с вами?» — «Там дети — трое детей моих. Они еще маленькие и остаются совсем одни. Если фашисты узнают, что это я повела вас в отряд, они сожгут и дом и детей». (Томашчик показал мне свежие письма от Ольги Курень — она живет в Караганде и переписывается с ним.) Он рассказывает мне, как лежал, спрятавшись под кровать, а словацкий патруль проверял документы у всех обитателей дома, бывшего партизанской базой. Документы оказались в порядке, а под кровать патрульные заглянуть не догадались. (После войны Томашчик встретился с человеком, который командовал тем патрулем, и рассказал обо всем ему; они посмеялись, хотя если бы патруль слазил туда, под кровать, они могли бы убить друг друга.)

Томашчик подрался на перроне с белорусскими полицаями, угонявшими девушек на фашистскую каторгу.

С этого начал выстраиваться его собственный мост в советские партизаны. До конца войны из части, где он служил, на сторону Красной Армии перешло больше тысячи словаков: уроки каждого перехода были очень предметны: убивали полицаев, приводили пленных фашистов, прикатывали штабной сейф. Карол Томашчик улыбается, перелистывая на окаменевшем дне своих глаз фотоальбомы памяти. Вдруг говорит: «Знаете, вижу многое; словно на фотографиях, будто окаменели там люди из моей молодости. Вспомнилась женщина, первая моя связная из партизанского отряда; у нее такой забавный пароль был: «Я вам принесла настоящую русскую водку!»

Он партизанил в очень славных соединениях, в знаменитых отрядах (рассказывает о соединении генерала Сабурова, о своем командире отряда Григории Дмитриевиче Селивоненко; показывает письмо от сына Селивоненко, Бориса,— письмо пришло по такому адресу: «Братислава. Томашчику». Здесь его знают все).

Я видел, как этого человека любят. Бывают люди, создающие вокруг себя атмосферу тревоги, атмосферу организованности, атмосферу заговора; Томашчик иррадировал уверенность. И, кроме того, найдя свой собственный мост к советскому миру, Томашчик стремится провести по нему побольше людей — он переписывается с очень многими, организовывает экскурсии, рассказывает о своих уроках любви и ненависти, усвоенных в Советской стране. Он был приговорен к смерти там же, в Минске, когда предатель отдал Томашчика фашистам в руки. Четыре месяца ожидал казни в минской тюрьме, мечтая о спасении, но очень спокойный, потому что, хоть жить хотелось, он уже много раз видел, с каким достоинством идут на смерть советские люди. Он считал себя советским — это было тоже социальным уроком, потому что важнее всего в жизни обрести такую идею, за которую не страшно и умереть.

Из Минска перевели в камеру смертников у Монте-Кассино в Италии, откуда передали словацким «черным гардистам» для назидательного исполнения приговора. От гардистов Карол Томашчик бежал и снова пошел навстречу Красной Армии, встретил ее, был разведчиком, вел освободителей по Словакии, и здесь уже, на родине, одна из последних фашистских мин взорвалась в нескольких метрах от его окопчика. Томашчик сразу же

и навсегда оглох на правое ухо, а затем начал слепнуть. Видел еще Прагу в первый день свободы, вошел туда 9 мая. Но последние двадцать семь лет Карола Томашчика черны от военного дыма, набившегося в глаза. Его лечили — и у нас, в Москве,— но он все равно ослеп.

За двадцать семь лет слепоты его ни разу не обманули. Томашчик при мне кричит по телефону, требуя дать такому-то магазину партию красного вина, стенографирует полученные ответы фломастерными каракулями, шутит с бухгалтером, которая принесла для подписи длинную какую-то ведомость. Бухгалтер берет директора за руку и прикладывает его перо к той строке ведомости, где надлежит расписаться. Его любят и верят ему, я же вам говорю, что Томашчик двадцать семь лет подписывает товарные накладные огромной братиславской базы, и его ни разу не обманули.

Входит секретарша, неся на подносе единственную чашечку кофе, которую ставит передо мной. «А вы?» — спрашиваю у Томашчика. Думал услышать о врачах, о запрете кардиолога, но директор базы улыбается светлыми невидящими глазами: «Я тридцать один год работаю здесь и не выпил за это время ни одной казенной рюмки сливовицы, ни чашечки казенного кофе». В этом нет ни грана позерства. Такой он, Карол Томашчик; такими были, наверное, люди корчагинского покроя у нас в стране, когда Ленин учил их отправлять подарки, адресованные им лично, в детские дома, потому что там все это нужнее.

В кабинете у Томашчика нет портретов; у входа стоят небольшие бюсты Маркса, Ленина, Готвальда. Он прикасается к бюстам людей, воплотивших для него идею народной справедливости и революции; он так долго шел к этой идее, так долго искал ее воплощения, и всегда с Советским Союзом, что уже может на ощупь идти по своему мосту без перил.

«Мы, словаки, романтики,— улыбается Томашчик.— Любим, чтобы все было красиво». У него в жизни все красиво — такая жизнь. Я спрашиваю о мостах; последним из виденных Каролом Томашчиком был мост, возведенный саперами капитана Карпушенко. «Каждый человек должен построить свой мост»,— говорит Томашчик и глядит в лицо мне синими большими глазами.

1979—1980

СОДЕРЖАНИЕ

Виталий Алексеевич Коротич

МОСТ

КУБАТУРА ЯЙЦА

М., «Советский писатель», 1982, 368 стр.
План выпуска 1982 г., № 312

Редактор *И. В. Киреёнко*
Худож. редактор *Е. М. Дробязин*
Техн. редактор *Н. В. Сидорова*
Корректор *Л. Н. Морозова*

ИБ № 2958

Сдано в набор 07.09.81. Подписано к печати 12.04.82. А09085. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 19,39. Тираж 150 000 экз. Заказ № 728. Цена 1 р. 40 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Боровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109